



Бубен  
Нижнего Мира

«ТЕРРА» - «TERRA»





БОЛЬШАЯ  
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Виктор Пелевин



СОЧИНЕНИЯ  
В ДВУХ ТОМАХ

Том первый



Бубен  
Нижнего Мира

*Роман  
Рассказы*



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1996

ББК 84.Р7  
П24

Художник  
*С. Соколов*

**Пелевин В.**  
П24 Сочинения: В 2 т. Т. 1: Омон Ра: Роман; Бубен  
Нижнего Мира: Рассказы. — М.: ТЕРРА, 1996. —  
368 с. — (Большая библиотека приключений и научной  
фантастики).

ISBN 5-300-00509-6 (т. 1)  
ISBN 5-300-00508-8

В первый том Сочинений русского фантаста, лауреата  
Букеровской премии Виктора Пелевина включен переведенный на  
множество языков роман «Омон Ра» — фантазмагория на тему  
истории советской космонавтики — и 20 фантастических рассказов.

П 4703010000-291 Подписное  
А30(03)-96

ББК 84.Р7

ISBN 5-300-00509-6 (т. 1)  
ISBN 5-300-00508-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

---

# ОМОН РА

роман







1

Омон — имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь прослужил в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

— Пойми, Омка, — часто говорил он мне, выпив, — пойдешь в милицию — так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы — не для того, чтобы продавать их на рынке или съесть, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее — Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание — как пьяный папа в форме пытается вытянуть из

кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватается за руки и кричит:

— Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

— Фамилия твоя как? — спрашивал он.

— Кривомазов, — отвечал я, подделывая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего — она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня — кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь — еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по которым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашеного гипса во дворе и многое другое. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим рай-

оном господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком — по негласному дворовому соглашению, этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными — если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающийся крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помахал мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полушубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

— «Ме—сто девять», — сказал один летчик другому. — Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

— Зла на тебя не держу, — сказал он, видимо продолжая прерванный разговор. — Но запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране — меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), — о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов. «Значит, — думал я, — можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще не важно, откуда глядишь, — важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел *его*.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость — поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных

солженицынов; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, — но, поняв, что мира и свободы на земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.

Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно — на нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше; войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом.

Его звали Митёк. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митёк сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну.

Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть, и больше того — уже тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего. А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, — на самом деле семя этого будущего, падающее в почву в тот самый момент, который потом, издали, кажется прилетавшим из будущего эхом.

Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полугоночного «Спорта» я ставил специальную трещотку из куска сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикрепленной к раме прищепкой, — когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя, просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова: «Мой «Фантом», как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту... Где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец, и мать,

и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия.

К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть даже немного лучше других. Я хорошо запомнил только первые дни, которые мы там провели, но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти, — они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное полотно и неслышно лопались; привязавшаяся ко мне песенка придавала этой простой процедуре привкус борьбы за свободу Вьетнама. На следующий день всю смену, ехавшую одним поездом, выгрузили на мокром вокзале южного города, пересчитали и посадили в грузовики. Мы долго ехали по дороге, петлявшей между гор, потом справа появилось море и к нам поплыли разноцветные домики. Нас выгрузили на асфальтовый плац, построили и повели вверх по обрамленной кипарисами лестнице к плоскому стеклянному зданию на вершине холма. Это была столовая, где нас ждал холодный обед, хотя пора было ужинать, — мы приехали на несколько часов позже, чем ожидалось. Обед был довольно невкусный — суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот.

С потолка столовой на нитях, облепленных какой-то липкой на вид кухонной дрянью, свисали картонные космические корабли. Я загляделся на один из них. Неизвестный оформитель потратил на него много фольги и густо исписал его словом «СССР». Корабль висел перед нашим столом, и на его фольге оранжево сияло закатное солнце, которое вдруг показалось мне похожим на прожектор поезда метро, зажигающийся в черной дали тоннеля. Отчего-то мне стало грустно.

Митёк, наоборот, был разговорчив и весел.

— В двадцатых годах были одни космические корабли, — говорил он, тыча вилкой вверх, — в тридцатых другие, в пятидесятых вообще третьи, и так далее.

— Какие еще в двадцатых годах космические корабли? — вяло спросил я.

Митёк на секунду задумался.

— У Алексея Толстого были такие большие металлические яйца, в которых через крохотные промежутки времени происходили взрывы, дававшие энергию для движения,— сказал он. — Это основной принцип. Ну а вариантов может быть много.

— Так они же никогда на самом деле не летали,— сказал я.

— А эти тоже не летают, — ответил он и показал на предметы нашего разговора, которые чуть качались от сквозняка.

Я понял наконец, что он имел в виду, хотя вряд ли сумел бы четко это выразить в словах. Единственным пространством, где летали звездолеты коммунистического будущего — кстати, встречая слово «звездолет» в фантастических книгах, которые я очень любил, я почему-то считал, что оно связано с красными звездами на бортах советской космической техники, — так вот, единственным местом, где они летали, было сознание советского человека, точно так же как столовая вокруг нас была тем космосом, куда жившие в прошлую смену запустили свои корабли, чтобы те бороздили простор времени над обеденными столами, когда самих создателей картонного флота уже не будет рядом. Эта мысль наложилась на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у меня пионерлагерный компот из сухофруктов, и мне пришла в голову странная идея.

— Я раньше очень любил клеить пластмассовые самолеты, — сказал я, — сборные модели. Особенно военные.

— Я тоже, — ответил Митёк, — только давно.

— Гэдээровские наборы мне нравились. А в наших часто не было летчика. Тогда такая лажа получалась. Когда кабина пустая.

— Точно,— сказал Митёк.— А чего это ты об этом заговорил?

— Я вот думаю, — сказал я, показывая вилкой на висящий перед нашим столом картонный звездолет, — есть там внутри кто-нибудь или нет?

— Не знаю, — сказал Митёк. — Действительно, интересно.

Лагерь был расположен на пологом склоне горы; его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митёк исчез, и я пошел туда один; через несколько минут я оказался в длинной и пустой кипарисовой аллее, где было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щи-



ты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором — тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем — он же, так же глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный — метра, наверно, в три. Он был двухцветным: справа, откуда я медленно шел, — красным, а дальше — белым, и делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом; у Ленина не было затылка — было только лицо, вся красная поверхность за которым уже была Лениным; он походил на бесплотного бога, как бы проходящего рябью по поверхности созданного им мира.

Я споткнулся о выбоину в асфальте и перевел взгляд на следующий щит — это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке; на шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последним был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой; у него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах, но из-за того, что вся остальная часть лица была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски.

Сзади долетели быстрые шаги — я обернулся и увидел Митька.

— Точно, — сказал он, подходя.

— Что — точно?

— Смотри. — Он протянул ко мне ладонь, на которой было что-то темное. Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой.

— Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел, — сказал Митёк.

— Ты что, ракету из столовой разобрал? — спросил я.

Он кивнул.

— Когда?

— А только что. Минут десять назад. Самое странное, что там все... — Он скрестил пальцы, образовав из них решетку.

— В столовой?

— Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном.

Митёк показал мне обрывок картонки. Я взял его и увидел очень тщательно и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене.

— Но самое интересное, — задумчиво и как-то подавленно сказал Митёк, — что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте — стена с какими-то циферблатами.

Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая Земля.

— Найти бы того, кто эту ракету склеил, — сказал Митёк, — обязательно бы ему по морде дал.

— А за что? — спросил я.

Митёк не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне. Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляра.

Эхо этого странного открытия настигло нас на следующий день, во время тихого часа. Открылась дверь, и Митька позвали; он вышел в коридор. Долетели обрывки разговора, несколько раз прозвучало слово «столовая», и все стало ясно. Я встал и вышел в коридор. Митька зажимали в углу усатый худой вожатый и рыжая низкая вожатая.

— Я тоже там был, — сказал я.

Вожатый одобрительно смерил меня взглядом.

— Вместе хотите ползти или по очереди? — спросил он.

Я увидел у него в руке зеленую сумку с противогоазом.

— Ну как же они вместе поползут, Коля, — застенчиво сказала вожатая, — когда у тебя противогоаз один. По очереди.

Митёк, чуть оглянувшись на меня, шагнул вперед.

— Одевай, — сказал вожатый.

Митёк надел противогоаз.

— Ложись.

Он лег на пол.

— Вперед, — сказал Коля, щелкая секундомером.

Коридор был длиной во весь корпус, поверхность пола была затянута линолеумом, и когда Митёк пополз вперед, линолеум тихо, но неприятно завизжал. Конечно, Митёк не уложился в три минуты, которые назначил вожатый, — он не дополз за них даже в один конец, — но когда он подполз к нам, Коля не заставил его повторить маршрут, потому что до конца тихого часа оставалось всего несколько минут. Митёк снял противогаз. Его лицо было красным, в каплях слез и пота, а на ступнях успели вздуться натертые о линолеум волдыри.

— Теперь ты, — сказал вожатый, передавая мне мокрый противогаз. — Приготовиться...

Загадочно и дивно выглядит коридор, когда смотришь в его затянутую линолеумом даль сквозь запотевшие стекла противогаза. Пол, на котором лежишь, холодит живот и грудь; дальний его край не виден, и бледная лента потолка сходится со стенами почти в точку. Противогаз слегка сжимает лицо, давит на щеки и заставляет губы вытянуться в каком-то полупоцелуе, относящемся, видимо, ко всему, что вокруг. До того, как тебя слегка пинают, давая команду ползти, проходит десятка два секунд; они тянутся томительно медленно, и успеваешь многое заметить. Вот пыль; вот несколько прозрачных песчинок в щели на стыке двух линолеумных листов; вот покрашенный сучок на планке, идущей по самому низу стены; вот муравей, ставший после смерти двумя тончайшими лепешечками и оставивший после себя маленький мокрый след в будущем — в полуметре, там, куда нога шедшего по коридору ступила через секунду после катастрофы.

— Вперед! — раздалось над моей головой, и я весело, искренне пополз вперед. Наказание казалось мне скорее шуткой, и я не понимал, чего это вдруг Митёк так скуксился. Первые метров десять я прополз мигом; потом стало труднее. Когда ползешь, в какой-то момент отталкиваешься от пола тыльной частью ступни, а кожа там тонкая и нежная, и если на ногах ничего нет, почти сразу же натираешь мозоли. Линолеум прилипал к телу, и казалось, что сотни мелких насекомых впиваются мне в ноги или что я ползу по свежeproложенному асфальту. Я удивился тому, как медленно тянется время, — в одном месте на стене висела большая пионерская акварель, изображавшая крейсер «Аврору» в Черном море, и я заметил, что уже довольно долго ползу мимо нее, а она все висит на том же месте.

И вдруг все изменилось. То есть все продолжалось по-прежнему — я так же полз по коридору, как и раньше, — но боль и усталость, дойдя до непереносимости, словно выключили что-то во мне. Или, наоборот, включили. Я заметил, что вокруг очень тихо, только под моими локтями скрипит линолеум, словно по коридору катится что-то на ржавых колесиках; за окнами, далеко внизу, шумит море, и где-то еще дальше, словно бы за морем, детскими голосами поет репродуктор:

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко,  
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...

Жизнь была ласковым зеленым чудом; небо было неподвижным и безоблачным, сияло солнце — и в самом центре этого мира стоял двухэтажный спальный корпус, внутри которого проходил длинный коридор, по которому я полз в противогазе. И это было, с одной стороны, так понятно и естественно, а с другой — настолько обидно и нелепо, что я заплакал под своей резиновой мордой, радуясь, что мое настоящее лицо скрыто от вожатых и особенно от дверных щелей, сквозь которые десятки глаз глядят на мою славу и мой позор.

Еще через несколько метров мои слезы иссякли, и я стал лихорадочно искать какую-нибудь мысль, которая дала бы мне силы ползти дальше, потому что одного страха перед вожатым было уже мало. Я закрыл глаза, и настала ночь, бархатную тьму которой изредка пересекали вспыхивающие перед моими глазами звезды. Опять стала слышна далекая песня, и я тихо-тихо, а может быть и вообще про себя, запел:

От чистого истока в прекрасное далеко,  
В прекрасное далеко я начинаю путь.

Над лагерем пронесся светлый латунный звук трубы — это был сигнал подъема. Я остановился и открыл глаза. До конца коридора оставалось метра три. На темно-серой стене передо мной висела полка, а на ней стоял желтый лунный глобус; сквозь запотевшие и забрызганные слезами стекла он выглядел размытым и нечетким: казалось, он не стоит на полке, а висит в сероватой пустоте.

Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было четырнадцать лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митёк, — его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем. Гараж помещался на большой обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами, и мы с Митьком довольно долго лазили по ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит. К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным, неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд — словом, если бы не бутылки из-под сушняка и заледеневшие потеки мочи, вокруг был бы космос.

Митёк предложил пойти погреться, и мы направились к алюминиевой ребристой полусфере гаража, в которой тоже было что-то космическое. Внутри было темно; смутно виднелись контуры машин, от которых пахло бензином. В углу стояла дощатая будка со стеклянным окном, как бы пристроенная к стене; там горел свет. Мы с Митьком протиснулись внутрь, сели на узкой и неудобной лавке и молча напились чаю из облезлой жестяной кастрюли. Брат Митька курил длинные папиросы, разглядывал старый номер «Техники—молодежи» и совершенно никак не реагировал на наше присутствие. Митёк вытащил из-под лавки бутылку, со стуком поставил ее на цементный пол и спросил:

— Будешь?

Я кивнул, хоть мне и стало не по себе. Митёк до краев

наполнил темно-красной жидкостью стакан, из которого я только что пил чай, протянул его мне; словно войдя в ритм какого-то процесса, я подхватил стакан, поднес его ко рту и выпил, удивившись, насколько мало усилий надо приложить для того, чтобы сделать что-то впервые. Пока Митёк с братом допивали остальное, я прислушивался к своим ощущениям, но со мной ничего не происходило. Я взял освободившийся журнал, наугад раскрыл его и попал на разворот с крохотными рисунками летательных аппаратов, названия которых надо было угадать. Один понравился мне больше других — это был американский самолет, крылья которого могли служить пропеллером на время взлета. Еще там была маленькая ракета с кабиной для пилота, но ее я не успел толком рассмотреть, потому что Митьков брат молча и даже не подняв глаз вытянул журнал из моих рук. Чтобы не показать обиды, я пересел к столу, на котором стояла банка с торчащим кипятильником и лежали полузасохшие очистки колбасы. Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплыванной каморке, где пахнет помойкой, противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн, от того, что вся огромная страна, где я живу, — это много-много таких маленьких заплыванных каморок, где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн, а самое главное — обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба пронесит меня мимо какого-нибудь высоко расположенного над вечерней столицей окна. И особенно обидным мне это показалось по сравнению с красивым американским летательным аппаратом из журнала. Я опустил глаза на газету, которой был застелен стол, — она была в жирных пятнах, в пропалинах от окурков и в круглых следах от стаканов и блюдец. Заголовки статей пугали какой-то ледяной нечеловеческой бодростью и силой — уже давно ведь ничто не стояло у них на пути, а они со страшным размахом все били и били в пустоту, и в этой пустоте спяну (а я заметил, что уже пьян, но не придавал этому значения) легко можно было оказаться и попасть замешкавшейся душой под какую-нибудь главную задачу дней или привет хлопкоробам. Комната вокруг стала совершенно незнакомой; на меня внимательно глядел Митёк. Поймав мой взгляд, он подмигнул и спросил чуть заплетающимся языком:

— Ну что, полетим на Луну?

Я кивнул, и мои глаза остановились на маленькой колонке с названием «Вести с орбиты». Нижняя часть текста была оборвана, и в колонке оставалось только: «Двадцать восьмые сутки...», напечатанное жирным шрифтом. Но и этого было достаточно — я все сразу понял и закрыл глаза. Да, это было так — норы, в которых проходила наша жизнь, действительно были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам — но в синем небе над нашими головами среди реденьких и жидких звезд существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, — построенные из стали, полупроводников и электричества и теперь летящие в космосе. И каждый из нас — даже синелицкий алкоголик, жабой затаившийся в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька́, и уж конечно, Митёк и я — имел там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство.

Я выбежал во двор и, долго-долго глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар Луны в прозрачном зимнем небе.

Не помню момента, когда я решил поступать в летное училище. Не помню, наверно, потому, что это решение вызрело в душе и у меня и у Митька задолго до окончания школы. Перед нами на некоторое время встала проблема выбора — летных училищ было много по всей стране, — но мы решили все очень быстро, увидев в журнале «Советская авиация» цветной разворот-вклейку про жизнь Лунного городка при Зарайском краснознаменном летном училище имени Маресьева. Мы сразу словно оказались в толпе курсантов, среди покрашенных желтой краской фанерных гор и кратеров, узнали будущих себя в стриженных ребятах, кувыркающихся на турнике и обливающихся застывшей на снимке водой из большого эмалированного таза такого нежно-персикового оттенка, что сразу вспоминалось детство, и этот цвет почему-то вызывал больше доверия и желания ехать учиться в Зарайск, чем все помещенные рядом фотографии авиационных тренажеров, похожих на кишащие людьми полуразложившиеся трупы самолетов.

Когда решение было принято, остальное оказалось несложным. Родители Митька, напуганные непонятной судьбой его старшего брата, были рады, что их младший сын окажется при таком уверенном и надежном деле; мой же отец к этому времени окончательно спился и большую часть времени лежал на диване лицом к стене, под ковром с пучеглазым оленем; по-моему, он даже не понял, что я собираюсь в летчики, а тетке было все равно.

Помню город Зарайск. Точнее, нельзя сказать ни что я его помню, ни что я его забыл — настолько в нем мало того, что



можно забыть или помнить. В самом его центре высилась белокаменная колокольня, с которой когда-то давно прыгнула на камни княгиня, и хоть прошло уже много веков, ее поступок в городе помнили. Рядом стоял музей истории, а неподалеку от него — отделения связи и милиции.

Когда мы вышли из автобуса, шел неприятный косой дождь и было холодно. Мы забились под навес подвала со словом «Агитпункт» и полчаса ждали, пока дождь пройдет. За дверью, кажется, пили; оттуда долетал густой луковый запах и голоса; кто-то долго предлагал спеть «мерси ку-ку», и, наконец, немолодые мужские и женские голоса затянули:

Пора-пора-порадуемся на своем веку...

Дождь перестал, мы пошли искать автобус и нашли тот самый, на котором приехали. Оказалось, что нам не надо было выходить и мы могли переждать дождь в салоне, пока водитель обедал. За окнами потянулись маленькие деревянные домики, потом они кончились и начался лес. В этом лесу, уже за городом, и было расположено Зарайское летное училище. До него надо было добираться пешком километров пять от конечной остановки автобуса, называвшейся «Овощной магазин» — магазина рядом не было, а это название осталось, как нам объяснили, с довоенных времен. Мы с Митьком сошли с автобуса и пошли по дороге, присыпанной размокшими осиновыми сережками; она вела все дальше в лес, и когда мы уже стали подумывать, что идем не туда, вдруг увидели сваренные из стальных труб ворота с большими жестяными звездами; по бокам лес упирался в высокий забор из некрашенных серых досок, по верху которого змеилась ржавая колючая проволока. Мы предъявили сонному солдату на проходной направления из райвоенкомата и недавно полученные паспорта, и нас пустили внутрь, велел идти к клубу, где скоро должна была начаться встреча.

В глубь небольшого поселка вела асфальтовая дорога, справа от которой сразу же начался тот самый Лунный городок, который я видел в журнале, — он состоял из нескольких длинных одноэтажных барачков желтого цвета, десятка врытых в землю шин и участка, изображавшего панораму лунной поверхности. Мы прошли мимо и оказались у гарнизонного клуба — там у колонн толпились приехавшие поступать ребята. Вскоре к нам вышел офицер, назначил кого-то старшим и

велел зарегистрироваться в приемной комиссии, а потом идти получать инвентарь.

Из-за жары приемная комиссия сидела в решетчатой беседке китайского вида во дворе клуба — это были три офицера, которые пили пиво под негромкую восточную музыку по радио и выдавали картонки с номерами в обмен на документы. Потом нас повели на край стадиона, заросшего высокой, в пояс, травой (видно было, что никто на нем уже лет десять ни во что не играл), и выдали две сложенных общевоинских палатки — в них нам предстояло жить во время экзаменов. Это были свернутые полотнища тяжелой резины, которые нам пришлось натягивать на врытых в землю деревянных шестах. Мы перезнакомились, таская в палатки койки, которые потом установили внутри в два яруса, — койки были старые, тяжелые, с никелированными шариками, которые можно было накрутить на спинку, если она не соединялась с койкой наверху. Эти шарики нам дали отдельно, в специальной мешочке, и когда экзамены кончились, я тайком свинтил один такой и спрятал его в ту же сигаретную пачку, где хранился пластилиновый пилот с головой из фольги — единственный свидетель далекого и незабываемого южного вечера.

Кажется, мы провели в этих палатках совсем немного времени, но когда их сняли, оказалось, что под резиновым полом успела вырасти отвратительно бесцветная, толстая и густая трава. Самых экзаменов я почти не запомнил. Помню только что они оказались совсем не сложными, и даже было немного обидно, что не удалось поместить на экзаменационном листе все те формулы и графики, в которые впитались долгие весенние и летние дни, проведенные над раскрытыми учебниками. Мы с Митьком набрали нужные баллы без труда; потом было собеседование, которого все боялись больше всего. Его проводили майор, полковник и какой-то дедок с кривым шрамом на лбу, одетый в потертую техническую форму. Я сказал, что хочу в отряд космонавтов, и полковник спросил меня, что такое советский космонавт. Я долго не мог найти правильный ответ; наконец по тоске на лицах экзаменаторов я понял, что сейчас меня отправят в коридор.

— Хорошо, — заговорил молчавший до сих пор дедок, — а вы помните, как вам в голову пришла мысль стать космонавтом?

Я ощутил отчаяние, потому что совершенно не представлял, как надо правильно отвечать на этот вопрос. И, видимо

от отчаяния, принялся рассказывать про красного пластилинового человечка и картонную ракету, из которой не было выхода. Дедок сразу оживился, заблестел глазами, а когда я дошел до того, как нам с Митьком пришлось ползти в противогазе по коридору, вообще схватил меня за руку и захохотал, отчего шрам у него на лбу стал совсем багровым. Потом он вдруг посерьезнел.

— А ты знаешь, что это непростое дело — в космос летать? А если Родина попросит жизнь отдать? Тогда что, а?

— Это уж как водится, — насупившись, сказал я.

Тогда он уставился мне в глаза и смотрел минуты три.

— Верю, — сказал он наконец, — можешь.

Услышав, что Митёк, который с детства хотел на Луну, поступает тоже, он записал его фамилию на листе бумаги. Митёк потом рассказывал, что старичок долго выяснял, почему именно на Луну.

На следующий день после завтрака на колоннах гарнизонного клуба появились списки с фамилиями поступивших; мы с Митьком в списке стояли рядом, не по алфавиту. Кто-то поплелся на апелляцию, кто-то прыгал от радости на расчерченном белыми линиями асфальте, кто-то бежал к телефону, и над всем этим, помню, тянулась в выцветшем небе белая полоса инверсионного следа.

Зачисленных на первый курс позвали на встречу с летно-преподавательским составом — преподаватели уже ждали в клубе. Помню тяжелые бархатные шторы, стол во всю сцену и сидящих за ним официально-строгих офицеров. Вел встречу молодежавый подполковник с острым хрящеватым носом; пока он говорил, я представлял его в летном комбинезоне и гермошлеме, сидящим в кабине пятнистого, как дорогие джинсы, МиГа.

— Ребята, очень не хочется вас пугать, очень не хочется начинать нашу беседу со страшных слов, так? Но вы ведь знаете: не мы с вами выбираем время, в которое живем, — время выбирает нас. Может быть, с моей стороны и неверно давать вам такую информацию, так, но все же я скажу...

Подполковник замолчал на секунду, нагнул к сидящему рядом с ним майору и что-то сказал ему на ухо. Майор нахмурился, постучал, раздумывая, по столу тупым концом карандаша и потом кивнул.

— Значит, — заговорил подполковник тихим голосом, — не-

давно на закрытом совещании армейских политработников время, в которое мы живем, было определено как предвоенное!

Подполковник замолчал, ожидая реакции, но в зале, видимо, ничего не поняли — во всяком случае, ничего не поняли мы с Митьком.

— Поясняю, — сказал он тогда еще тише, — совещание было пятнадцатого июля, так? Значит, до пятнадцатого июля мы жили в послевоенное время, а с тех пор — месяц уже целый — живем в предвоенное, ясно или нет?

Несколько секунд в зале стояла тишина.

— Я это говорю не к тому, чтоб пугать, — заговорил уже нормальным голосом подполковник, — просто надо помнить, какая на наших с вами плечах ответственность, так? Вы правильно сделали, что пришли в наше училище. Сейчас я хочу сказать вам, что мы тут готовим не просто летчиков, а в первую очередь настоящих людей, так? И когда вы получите дипломы и воинские звания, будьте уверены, что к этому времени вы станете настоящими Человеками с самой большой буквы, такой, какая только бывает в советской стране.

Подполковник сел, поправил галстук и поймал губами край стакана — руки у него тряслись, и мне показалось, что я услышал тихий-тихий звон зубов о стекло. Встал майор.

— Ребята, — певуче сказал он, — хотя правильнее уже называть вас курсантами, но все же обращусь к вам так — ребята! Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым! Того, в чью честь названо наше училище! Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался, а, встав на протезы, Икаром взмыл в небо бить фашистского гада! Многие говорили ему, что это невозможно, но он помнил главное — что он советский человек! Не забывайте этого и вы, никогда и нигде не забывайте! А мы, летно-преподавательский состав, и лично я, летающий замполит училища, обещаем: мы из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время!

Потом нам показали наши места в казарме первого курса, куда нас перемещали из палаток, и повели в столовую. С ее потолка свисали на нитях пыльные МиГи и Илы, казавшиеся громадными воздушными островами рядом с эскадрильями быстрых черных мух. Обед был довольно невкусный: суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. После еды очень захотелось спать; мы с Митьком еле добрались до коек, и я сразу уснул.

На следующее утро я проснулся от стоа, полного боли и недоумения. На самом деле я уже давно слышал эти звуки сквозь сон, но полностью очнулся только от особенно громкого и страдальческого вскрика. Я открыл глаза и огляделся. На койках вокруг происходило какое-то непонятное медленно мычащее шевеление — я попытался приподняться на локте, но не смог, потому что был, как оказалось, пристегнут к койке несколькими широкими ремнями наподобие тех, которыми стягивают распухшие чемоданы; единственное, что я мог, — это чуть поворачивать голову из стороны в сторону. С соседней койки на меня смотрели полные страдания глаза Славы, паренька из поселка Тында, с которым я вчера успел познакомиться, а нижняя часть его лица была скрыта под какой-то натянутой тряпкой. Я открыл было рот, чтобы спросить его, в чем дело, но обнаружил, что не могу пошевелить языком и вообще не чувствую всей нижней половины лица, словно она затекла. Я догадался, что мой рот тоже чем-то заткнут и перемотан, но удивиться этому не успел, потому что вместо удивления испытал ужас: там, где должны были быть Славины ступни, одеяло ступенькой ныряло вниз и на свеженакрахмаленном пододеяльнике проступали размытые красноватые пятна — такие оставляет на вафельных полотенцах арбузный сок. Самое страшное, что собственных ног я не чувствовал и не мог поднять голову, чтобы взглянуть на них.

— Пятый взву-уд! — загремел в дверях необыкновенно богатый интонациями, полный множества намеков сержантский бас. — На перевязку!

И сейчас же в палату вошло человек десять — это были второкурсники и третьекурсники (правильнее сказать — кур-

санты второго и третьего года службы; об этом я догадался по нашивкам на их рукавах). Раньше я их не видел, а офицеры говорили, что они на картошке. Они были в странных сапогах с негнушимися голенищами и ступали не очень уверенно, держась то за стены, то за спинки кроватей. Еще я заметил нездоровую бледность их лиц, на которых застыл отпечаток многодневной муки, словно переплавленной в какую-то невыразимую готовность; как ни неуместно это было, но в этот момент я вспомнил слова пионерского заклинания, которые мы с Митьком вместе со всеми повторяли в пионерлагере, на асфальтовой площадке, — вспомнил и понял, в чем именно, крича «Всегда готов!», мы обманно уверяли себя, товарищей по линейке и прозрачное июльское утро.

Одну за другой курсанты выкатили в коридор койки, на которых мычали и извивались примотанные первогодки, и в комнате осталось только две — моя и стоявшая у окна, на которой лежал Митёк. Ремни не давали мне повернуть голову, но краем глаза я видел, что он лежит спокойно и вроде бы спит.

За нами пришли минут через десять, развернули ногами вперед и покатали по коридору. Один из курсантов толкал койку, а другой шел спиной вперед и тянул ее на себя; выглядело это так, словно он пятился по коридору, отталкивая несущуюся за ним койку. Мы зарулили в длинный узкий лифт с дверями с обеих сторон и поехали вверх, потом второкурсник пропятился от меня еще по одному коридору, и мы остановились возле обитой черным двери с большой коричневой табличкой, которую я не смог прочесть из-за своей неудобной позы. Дверь открылась, и меня вкатили в комнату, где под потолком висела огромная хрустальная люстра в виде авиабомбы, а по верхней части стены шла полоса выпуклого орнамента из серпов, молотов и увитых виноградом ваз.

С меня сняли ремни, и я приподнялся на локтях, стараясь не глядеть себе на ноги; передо мной в глубине комнаты стоял массивный письменный стол с зеленой лампой, освещенный косо падающим из высокого узкого окна серым светом. Сидящий за столом был от меня скрыт развернутым номером «Правды», с первой страницы которой глядело морщинистое лицо с добрыми лучистыми глазами, наведенными прямо на меня. Заскрипел линолеум пола, и рядом с моей койкой затормозила койка Митька.

Газета несколько раз прошуршала переворачиваемыми

страницами и легла на стол. Перед нами сидел тот самый старичок со шрамом на лбу, который во время собеседования хватал меня за руку. Сейчас на нем был мундир генерал-лейтенанта с золотыми венниками на петлицах, волосы были тщательно приглажены, а взгляд был ясным и трезвым. И еще я заметил, что его лицо как бы повторяло лицо с обложки «Правды», которое глянуло на меня минуту назад; получилось совсем как в фильме, где вначале долго показывали одну икону, а потом на ее месте постепенно возникла другая — изображения были похожие, но разные, и из-за того, что момент перехода был размазан, казалось, что икона меняется на глазах.

— Поскольку нам с вами, ребята, предстоит еще довольно долгие отношения, можете называть меня «товарищ начальник полета», — сказал старичок. — Хочу вас поздравить: по итогам экзаменов и особенно собеседования, — тут старичок подмигнул, — вы зачислены сразу на первый курс секретной космической школы при первом отделе КГБ СССР. Так что настоящими людьми станете как-нибудь потом, а пока собирайтесь в Москву. Там и встретимся.

Смысл этих слов дошел до меня только в пустой палате, куда нас отвезли по тем же длинным коридорам, линолеум которых пел под крошечными стальными колесиками койки что-то тихое и исполненное ностальгии, заставившее меня непонятно почему вспомнить давний июльский полдень у моря.

Весь день мы с Митьком проспали — кажется, за прошлым ужином нас накормили каким-то снотворным (спать хотелось и на следующий день), — а вечером за нами зашел веселый желтоволосый лейтенант в громко скрипящих сапожках и, хохоча и балагурия, отвез по очереди наши койки на асфальтовый плац перед бетонной раковиной эстрады, где за столом сидело несколько высших генералов с интеллигентными добрыми лицами, и среди них — товарищ начальник полета. Мы с Митьком могли, конечно, дойти и сами, но лейтенант сказал, что это общий порядок для первого курса, и велел нам лежать тихо, чтобы не смущать остальных.

Из-за множества стоящих вплитирку друг к другу коек плац был похож на двор автомобильного завода или тракторного комбината; над ним по сложной траектории порхал придавленный стон: исчезая в одном месте, он возникал в другом, в третьем — словно над койками носился огромный не-

видимый комар. По дороге желтоволосый лейтенант сказал, что сейчас начнется выпускной вечер, совмещенный с последним госэкзаменом.

А вскоре он сам, первый из полусотни таких же лейтенантов, волнуясь и бледнея, но с неподражаемым мастерством танцевал перед приемной комиссией «Калинку» под скупую на лишний перебор гармонь летающего замполита. Фамилия лейтенанта была Ландратов — я услышал ее, когда начальник полета вручил ему раскрытую красную книжечку и поздравил с получением диплома. Потом тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них. Я повернулся к начинавшемуся сразу за плацем полю стадиона и вдруг понял, почему над ним стелется такой высокий бурьян.

Я долго глядел, как его стебли качаются под ветром. Мне казалось, что серый, растрескавшийся от дождей забор с колючкой, начинающийся сразу за развалившимися футбольными воротами, — это и есть Великая Стена и, несмотря на все отодранные и покосившиеся доски, она, как и тысячи лет назад, тянется с полей далекого Китая до города Зарайска и делает древнекитайским все появляющееся на ее фоне — и решетчатые беседки, где в жару работает приемная комиссия, и списанный ржавый истребитель, и древние общевойсковые шатры, на которые я гляжу со своей койки, сжимая под одеялом свинченный на память никелированный шарик.

На следующий день грузовик провез нас с Митьком по летнему лесу и полю; мы сидели на своих рюкзаках, прислонясь к прохладному стальному борту. Помню качающийся край брезентовой полости, за которым мелькали стволы деревьев и усохшие серые столбы давно оборванного телеграфа. Время от времени деревья расступались и вверху мелькал треугольник задумавшегося бледного неба. Потом была остановка и пять минут тишины, перемежавшейся только далеким тяжелым стуком; вышедший по нужде шофер объяснил, что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Александра Матросова. Опять началась долгая тряска в кузове; я заснул, а проснулся на несколько секунд уже в Москве, когда в брезентовой щели мелькнули — будто из какого-то далекого школьного лета — арки «Детского мира».



Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнувший свежей краской, с моим большим портретом посередине (я в шлеме и улыбаюсь) и подписью: «Космонавт Омон Кривомазов чувствует себя отлично!» Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей — через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное — мне хотелось самому стать одним из других людей; уставиться на собственное, составленное из типографских точек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, — а потом вдруг вспомнить, что этот Омон Кривомазов и есть я. С тех пор, постепенно и незаметно, я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал: до меня другим все равно не будет никакого дела и думать они будут не обо мне, а о моей фотографии, с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей. Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому не известным, не была для меня ударом; ударом была новость, что придется совершать подвиг.

К начальнику полета нас с Митьком водили по очереди, на следующий день после приезда, сразу после того, как одели в черную форму вроде суворовской — только погоны были ярко-желтыми, с непонятными буквами «ВКУ». Сперва пошел Митёк, а часа через полтора вызвали меня.

Когда передо мной раскрылись высокие дубовые двери, я даже оторопел — до того увиденное напоминало сцену из какого-то военного фильма. В центре кабинета был накрытый большой желтой картой стол, за которым стояли несколько

человек в военной форме: начальник полета, три генерала, совершенно не похожие друг на друга, но все очень похожие на писателя и драматурга Генриха Боровика, и два полковника, один — низкий и толстый, с малиновым лицом, а другой — худенький и жидковолосый, напоминающий пожилого болезненного мальчика; он был в темных очках и сидел в инвалидном кресле.

— Начальник ЦУПа полковник Халмурадов, — сказал начальник полета, указывая на толстяка с малиновым лицом.

Тот кивнул.

— Замполит особого отряда космонавтов полковник Урчагин.

Полковник в кресле повернул ко мне голову, чуть наклонился вперед и снял очки, словно чтобы лучше меня разглядеть. Я непроизвольно вздрогнул — он был слепым; веки одного его глаза срослись, а между ресницами другого чуть поблескивала беловатая слизь.

— Можешь звать меня Бамлагом Ивановичем, Омон, — сказал он высоким тенором. — Надеюсь, мы с тобой подружимся.

Почему-то начальник полета не представил мне генералов, а они никак своим поведением не показали, что хотя бы видят меня. Впрочем, я, кажется, видел одного из них на экзамене в Зарайском летном.

— Курсант Кривомазов, — представил меня начальник полета. — Ну что, можем начинать?

Он повернулся ко мне, сложил руки на животе и заговорил:

— Ты, Омон, наверное, читаешь газеты, смотришь фильмы и знаешь, что американцы высадили на Луну несколько своих космонавтов и даже ездили по ней на мотоколяске. Цель вроде бы мирная, но это как посмотреть. Представь себе простого человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, в Центральной Африке...

Начальник полета наморщил лицо и сделал вид, что засучивает рукава и вытирает пот со лба.

— И вот он видит, что американцы высадились на Луне, а мы... Понимаешь?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант! — ответил я.

— Главная цель космического эксперимента, к которому тебя начинают готовить, Омон, — это показать, что технически мы не уступаем странам Запада и тоже в состоянии отправлять на Луну экспедиции. Послать туда возвращаемый

пилотируемый корабль нам сейчас не по силам. Но есть другая возможность — послать туда автоматический экипаж, который не потребует возвращать назад.

Начальник полета наклонился над рельефной картой с выступающими горами и маленькими лунками кратеров. По ее центру шла ярко-красная линия, похожая на свежепроко-рябанную гвоздем царапину.

— Это фрагмент лунной поверхности, — сказал начальник полета. — Как ты знаешь, Омон, наша космическая наука преимущественно исследует обратную сторону Луны, в отличие от приземляющихся на дневной стороне американцев. Вот эта длинная полоса — так называемая трещина имени Ленина, открытая несколько лет назад отечественным спутником. Это уникальное геологическое образование, в район которого в прошлом году была отправлена автоматическая экспедиция по получению образцов лунного грунта. По предварительным результатам исследований сложилось мнение о необходимости дальнейшего изучения трещины. Тебе, наверно, известно, что наша космическая программа ориентирована в основном на автоматические средства — это американцы рискуют человеческими жизнями. Мы подвергаем опасности только механизмы. И вот возникла мысль об отправке специального самоходного транспортного средства, так называемого лунохода, который проедет по дну трещины и передаст на Землю научную информацию.

Начальник полета открыл ящик стола и, не отводя от меня глаз, стал шарить там рукой.

— Общая длина трещины — сто пятьдесят километров, а ширина и глубина крайне незначительны и измеряются метрами. Предполагается, что луноход проедет по ней семьдесят километров — на столько должно хватить энергии в аккумуляторах — и установит в ее центре вымпел-радиобуй, который передаст в космос преобразованные в радиоимпульсы слова «МИР», «ЛЕНИН» и «СССР».

В его руке появилась маленькая машинка красного цвета. Он завел ее ключом и поставил в начале красной линии на карте. Машинка зажужжала и поползла вперед. Это была детская игрушка: напоминающий маленькую консервную банку корпус на восьми маленьких черных колесах, со словом «СССР» на борту и двумя похожими на глаза выступами впереди. Все напряженно провожали ее взглядом; даже полков-

ник Урчагин поворачивал голову синхронно с остальными. Машинка доехала до края стола и свалилась на пол.

— Где-то так, — задумчиво сказал начальник полета и вскинул на меня глаза.

— Разрешите обратиться! — услышал я свой голос.

— Валяй.

— Но ведь луноход автоматический, товарищ генерал-лейтенант!

— Автоматический.

— Так зачем тогда я?

Начальник полета опустил голову и вздохнул.

— Бамлаг, — сказал он, — давай.

Тихонько зажужжал электромотор кресла, и полковник Урчагин выехал из-за стола.

— Пойдем прогуляемся, — сказал он, подъехав и взяв меня за рукав.

Я вопросительно поглядел на начальника полета. Он кивнул головой. Вслед за Урчагиным я вышел в коридор, и мы медленно двинулись вперед — я шел, а он ехал рядом, регулируя скорость рычагом, на конец которого был насажен самодельный шарик из розового плексигласа с резной красной розой внутри. Несколько раз Урчагин открывал рот и собирался заговорить, но каждый раз закрывал его, и я уже подумал, что он не знает, с чего начать, когда он вдруг метко схватил меня за запястье чуть влажной узкой ладонью.

— Слушай меня внимательно и не перебивай, Омон, — сказал он задушевно, словно мы только что вместе пели у костра под гитару. — Начну издалека. Понимаешь ли, в судьбе человечества много путаного, много кажущейся бессмыслицы, много горечи. Надо видеть очень ясно, очень четко, чтобы не наделать ошибок. В истории ничего не бывает так, как в учебниках. Диалектика в том, что учение Маркса, рассчитанное на передовую страну, победило в самой отсталой. У нас, коммунистов, не было времени доказать правоту наших идей — слишком много сил отняла война, слишком долгой и серьезной оказалась борьба с эхом прошлого и врагами внутри страны. Мы не успели технологически победить Запад. Но борьба идей — это такая область, где нельзя останавливаться ни на секунду. Парадокс — и, опять же, диалектика — в том, что обманом мы помогаем правде, потому что марксизм несет в себе всепобеждающую правду, а то, за что ты отдашь

свою жизнь, формально является обманом. Но чем сознательнее...

У меня под ложечкой екнуло, и я рефлекторно попытался вырвать свою кисть, но ладонь полковника Урчагина словно превратилась в маленький стальной обруч.

— ...сознательнее ты осуществишь свой подвиг, тем в большей степени он будет правдой, тем больший смысл обретет короткая и прекрасная твоя жизнь!

— Отдам жизнь? Какой подвиг? — дурным голосом спросил я.

— А тот самый, — тихо-тихо и словно испуганно ответил полковник, — который уже совершило больше ста таких же ребят, как ты и твой друг.

Он помолчал, а потом заговорил прежним тоном:

— Ты ведь слышал, что наша космическая программа основана на использовании автоматики?

— Слышал.

— Так вот, сейчас мы с тобой пойдем в триста двадцать девятую комнату, и тебе расскажут, что такое наша космическая автоматика.

— Товарищ полковник!..

— «Товарищ полковник!» — передразнил он. — Тебя ведь в Зарайском летном ясно спросили — готов жизнь отдать? Ты что ответил?

Я сидел на железном стуле, привинченном к полу в центре комнаты; мои руки были пристегнуты к подлокотникам, а ноги — к ножкам. Окна комнаты были плотно зашторены, в углу стоял небольшой письменный стол с телефоном без диска. Напротив меня сидел в своем кресле полковник Урчагин; говорил он посмеиваясь, но я чувствовал, что он абсолютно серьезен.

— Товарищ полковник, вы поймите, я ведь совсем простой парень. Вы меня принимаете за кого-то... А я совершенно не из тех, кто...

Кресло Урчагина зажужжало, он тронулся с места, подъехал ко мне вплотную и остановился.

— Подожди, Омон, — сказал он, — подожди-ка. Вот мы и приехали. А как ты думаешь, чьей кровью полита наша земля? Думаешь, какой-то особенной? Какой-то специальной кровью? Каких-то непростых людей?

Он протянул ко мне руку, ощупал мое лицо и ударил меня сухим кулачком по губам — несильно, но так, что я почувствовал вкус крови во рту.

— Вот такой же точно и полита. Таких ребят, как ты..

Он потрепал меня за шею.

— Не сердись, — сказал он, — я теперь тебе второй отец. Могу и ремнем выдрать. Чего жмешься, как баба?

— Я, Бамлаг Иванович, не чувствую, что готов к подвигу, — слизывая кровь, ответил я. — То есть чувствую, что не готов... Лучше уж назад в Зарайск, чем так...

Урчагин наклонился ко мне и, поглаживая меня по шее, заговорил совсем тихо и ласково:

— Вот ты дурачок-то какой, Омка. Ты пойми, милый, что в этом и суть подвига, что его всегда совершает не готовый к нему человек, потому что подвиг — это такая вещь, к которой подготовиться невозможно. То есть можно, например, наловчиться быстро подбегать к амбразуре, можно привыкнуть ловко прыгать на нее грудью, этому всему мы учим, но вот самому духовному акту подвига научиться нельзя, его можно только совершить. Чем больше тебе перед этим хотелось жить, тем лучше для подвига. Подвиги, даже невидимые, необходимы стране — они питают ту главную силу, которая...

Я услышал громкое карканье. За шторой мелькнула черная тень близко пролетевшей птицы, и полковник замолчал. Минуту он размышлял в своем кресле, включил двигатель и укатил в коридор. Дверь за ним хлопнула, а через минуту снова открылась, и в комнату вошел желтоволосый лейтенант ВВС с резиновым шлангом в руке. Его лицо показалось мне знакомым, но я не мог сообразить, где я его видел.

— Узнаешь? — спросил он.

Я помотал головой. Он подошел к столу и сел на него, свесив ноги в блестящих черных сапогах гармошкой, глянув на которые я вспомнил, где его видел, — это был тот самый лейтенант из Зарайского летного, который вывозил наши с Митьком койки на плац. Я даже помнил его фамилию.

— Лан... Лан...

— Ландратов, — сказал он, сгибая шланг. — С тобой поговорить послали. Урчагин послал. Ты чего, правда назад в Маресьевское хочешь?

— Я не то что туда хочу, — сказал я, — я на Луну не хочу. Подвиг совершать.

Ландратов хмыкнул и хлопнул себя ладонями по животу и по бедрам.

— Интересно, — сказал он, — не хочешь. Ты думаешь, они тебя теперь в покое оставят? Отпустят? Или в училище вернут? А если и вернут даже — ты хоть знаешь, что это такое, когда встаешь с койки и делаешь первые шаги на костылях? Или как себя перед дождем чувствуешь?

— Не знаю, — сказал я.

— А может, думаешь, когда ноги заживут, малина пойдет? В прошлом году у нас двух человек за измену Родине суди-

ли. С четвертого курса занятия начинаются на тренажерах — знаешь, что это такое?

— Нет.

— В общем, все как в самолете: сидишь в кабине, ручка у тебя, педали, только смотришь на экран телевизора. Так эти двое на занятии, вместо того чтоб иммельман отрабатывать, пошли, суки, на Запад на предельно малой. И не отвечают по радио. Их потом вытаскивают и спрашивают — вы чего, орлы? На что рассчитывали, а? Молчат. Один, правда, ответил потом. Хотел, говорит, ощутить, говорит. Хотя на минуту...

— И что с ними было?

Ландратов сильно ударил шлангом по столу, на котором сидел.

— Да какая разница, — сказал он. — Главное что — ведь их тоже понять можно. Все время надеешься, что в конце концов летать начнешь. Так что когда тебе потом всю правду говорят... Думаешь, ты кому-то без ног нужен? Да и самолетов у нас в стране всего несколько, летают вдоль границ, чтоб американцы фотографировали. И то...

Ландратов замолчал.

— Чего «и то»?

— Не важно. Я что сказать хочу — думаешь, после Зарайского училища облака рассекать будешь в истребителе? В лучшем случае попадешь в ансамбль песни и пляски какого-нибудь округа ПВО. А скорее всего вообще будешь «Калинку» в ресторане танцевать. Треть наших спивается, а треть — у кого операция неудачно прошла — вообще самоубийством кончает. Ты, кстати, как к самоубийству относишься?

— Так как-то, — сказал я. — Не думал.

— А я думал раньше. На втором курсе особенно. Особенно один раз, когда по телевизору Уимблдонский турнир показывали, а я в клубе дежурил с костылями. Такая тоска взяла. А потом ничего, отошел. Тут, знаешь, надо про себя что-то решить, а потом уже легче. Так что ты смотри, если у тебя такие мысли появятся, не поддавайся. Ты лучше подумай, сколько интересного увидишь, если на Луну двинешь. Все равно ведь эти суки живым не отпустят. Соглашайся, а?

— Ты их, похоже, не очень любишь, — сказал я.

— А за что их любить? Они же правды слова не скажут. Кстати, ты когда будешь с начальником полета говорить, ты ничего не упоминай про смерть или про то, что ты вообще на Лу-



ну летишь. Говорить только про автоматику, понял? А то опять в этой комнате беседовать будем. Я ведь человек служебный.

Ландратов покачал в воздухе шлангом, вынул из кармана пачку «Полета» и закурил.

— А друг твой сразу согласился, — сообщил он.

Когда я вышел на воздух, у меня слегка кружилась голова. Внутренний двор, отделенный от города огромным серо-коричневым квадратом здания, очень напоминал кусок подмосковного поселка, вырезанный точно в форме двора и перенесенный сюда: была тут и деревянная беседка с облупленной краской, и сваренный из железных труб турник, на котором сейчас висела зеленая ковровая дорожка — видно, ее выбивали да и забыли; были огороды, курятник и спортивная площадка, несколько теннисных столов и круг наполовину врытых в землю раскрашенных автомобильных шин, сразу же напомнивший мне фотографии Стоунхеджа. Митёк сидел на лавке возле выхода; я подошел, сел рядом, вытянул ноги и поглядел на черные форменные штаны, заправленные в сапоги, — почему-то после беседы с Ландратовым мне казалось, что в них не мои ноги.

— Неужели все это правда? — тихо спросил Митёк.

Я пожал плечами. Я не знал, что именно он имеет в виду.

— Ладно, насчет авиации я поверить еще могу, — сказал он. — Но вот насчет атомного оружия... Допустим, в сорок седьмом еще можно было заставить подпрыгнуть два миллиона политзаключенных. Но сейчас-то их у нас нет, а атомное оружие ведь каждый месяц...

Открылась дверь, из которой я только что вышел, и во двор выехало кресло полковника Урчагина; он затормозил и несколько раз обвел двор ухом. Я понял, что он ищет нас, чтобы добавить что-то к сказанному, но Митёк затих, и Урчагин, видно, решил нас не тревожить. Зажужжал электромотор кресла, и оно поехало к противоположному крылу здания; проезжая мимо нас, Урчагин с улыбкой повернул голову и словно заглянул нам в души добрыми впадинами глазниц.

Думаю, что большинство москвичей отлично знает, что́ находится глубоко под их ногами в те часы, когда они стоят в очередях «Детского мира» или проезжают через станцию «Дзержинская». Поэтому не буду повторяться. Скажу только, что макет нашей ракеты был выполнен в натуральную величину и рядом с ним мог поместиться еще один такой же. Интересно, что лифт был старым, еще довоенным, и ехал вниз так долго, что можно было успеть прочитать две-три книжные страницы.

Макет ракеты был собран довольно условно, местами даже просто сколочен из досок, и только рабочие места экипажа точно повторяли настоящие. Все это предназначалось для практических занятий, которые у нас с Митьком должны были начаться еще не скоро. Но, несмотря на это, нас перевели жить глубоко вниз, в просторный бокс с двумя картинами, изображавшими окна с панорамой строящейся Москвы. Там стояло семь коек, и мы с Митьком поняли, что скоро нас ждет пополнение. Бокс был отделен от учебного зала, в котором стоял макет ракеты, всего тремя минутами ходьбы по коридору, и с лифтом произошла интересная вещь: совсем недавно он долго опускал вниз, а теперь оказалось, что на самом деле он очень долго поднимает вверх.

Но вверх мы ездили довольно редко и бóльшую часть свободного времени проводили в учебном зале. Полковник Халмурадов читал нам краткий курс теории ракетного полета и делал пояснения на макете ракеты. Когда мы проходили матчасть, ракета была просто учебным экспонатом, но когда наступал вечер и гасло основное освещение, в свете тусклых настенных ламп макет иногда превращался на несколько секунд

во что-то забытое и удивительное и словно посылал нам с Митьком последний привет из детства.

Мы с ним были первыми. Остальные ребята из нашего экипажа появлялись в училище постепенно. Первым пришел Сема Аникин, невысокий крепыш из-под Рязани, служивший раньше моряком. Ему очень шла черная курсантская форма, которая на Митьке висела как на вешалке. Сема был очень спокойным и немногословным и все свое время тратил на тренировки, как полагалось бы и всем нам, хотя его задача была самой простой и наименее романтической. Он был нашей первой ступенью, и молодая его жизнь, как сказал бы Урчагин, любивший для торжественности менять порядок слов в предложении, должна была прерваться уже на четвертой минуте полета. Успех всей экспедиции зависел от точности его действий, и ошибись он чуть-чуть, скорая и бессмысленная смерть ждала нас всех. Видимо, Сема очень переживал и поэтому тренировался даже в пустой казарме, доводя свои движения до автоматизма. Он садился на корточки, закрывал глаза и начинал шевелить губами — считал до двухсот сорока, потом начинал поворачиваться против часовой стрелки, через каждые сорок пять градусов замысловато перебирая руками, — хоть я знал, что он мысленно открывает защелки, крепящие первую ступень ко второй, каждый раз его движения напоминали мне сцену из гонконгского боевика; проделав эту сложную манипуляцию восемь раз, он мгновенно падал на спину и сильно ударял ногами вверх, отталкиваясь от невидимой второй ступени.

Нашей второй ступенью был Иван Гречка, пришедший месяца через два после Семы. Это был светловолосый и голубоглазый украинец; к нам его взяли с третьего курса Зарайского летного, поэтому ходил он еще с некоторым трудом. Но была в нем какая-то душевная ясность, какая-то постоянная улыбка миру, за которую его любили все, с кем он встречался. Особенно Иван подружился с Семой. Они подшучивали друг над другом и постоянно соревновались в том, кто быстрее и лучше выполнит всю операцию отстрела ступени. Конечно, Сема был проворнее, но Ивану надо было открыть только четыре замка, поэтому у него иногда получалось быстрее.

Наша третья ступень, Отто Плуцис, был румяный задумчивый прибалт, который ни разу на моей памяти не присоединился к Ивану с Семой, когда они тренировались в казарме, — он, казалось, только и делал, что решал кроссворды из «Красного воина», лежа на своей койке (он всегда скрещивал на сверкающей никелированной спинке ноги в тщательно начищенных сапогах). Но стоило посмотреть, как он управляется со своей частью защелок на макете, и становилось ясно, что уж если есть в нашей ракете надежная часть, так это система отделения третьей ступени. Отто был немного странный — он очень любил рассказывать после отбоя idiotские истории вроде тех, которыми дети пугают друг друга в лагерях.

— Вот раз полетела экспедиция на Луну, — говорил он в темноте. — Летят, летят. Почти подлетают. И вдруг открывается люк, и входят какие-то люди в белых халатах. Космонавты говорят: «Мы на Луну летим!» А эти, в белых халатах: «Хорошо, хорошо. Волноваться только не надо. Сейчас укольчик сделаем...»

Или что-нибудь такое:

— Летят люди на Марс. Уже подлетают почти, смотрят в иллюминатор. Вдруг оборачиваются и видят — стоит сзади такой чувак, низенький и весь в красном, а в руке такой огромный финак. «Чего, — спрашивает, — ребята, на Марс захотели?»

Мы с Митьком еще не были допущены к нашей матчасти, когда тренировки ребят из баллистической группы усложнились. Сему Аникина это практически не затронуло — высота его подвига была четыре километра, и он просто надевал поверх формы ватник. Ивану было труднее — на сорока пяти километрах, где наступал миг его бессмертия, было холодно, и воздух был уже разрежен, поэтому он тренировался в цигейковом тулупе, унтах и кислородной маске, из-за чего ему было нелегко пролезать в узкое окошко люка на макете. Отто было проще — для него был подготовлен специальный скафандр с электроподогревом, сшитый ткачихами Красной Горки из нескольких американских высотных костюмов, захваченных во Вьетнаме; скафандр пока не был готов — доделывали систему обогрева. Отто, чтобы не терять времени, занимался в водолазном костюме; у меня и теперь перед глазами его раскрасневшееся и потное рябоватое лицо за стеклом

шлема, поднимающегося над люком; здороваясь, он говорил что-то вроде «Звейгс!» или «Цвейкс!».

Общую теорию космической автоматики нам читали по очереди начальник полета и полковник Урчагин.

Начальника полета звали Пхадзер Владиленович Пидоренко. Он был родом из маленькой украинской деревни Пидоренки, и его фамилия произносилась с ударением на первом «о». Его отец тоже был чекистом и назвал сына по первым буквам слов «партийно-хозяйственный актив Дзержинского района»; кроме того, в именах Пхадзер и Владилена в сумме было пятнадцать букв, что соответствовало числу советских республик. Но все равно он терпеть не мог, когда к нему обращались по имени, и подчиненные, связанные с ним различными служебными отношениями, называли его или «товарищ генерал-лейтенант», или, как мы с Митьком, «товарищ начальник полета». Он произносил слово «автоматика» с такой чистой и мечтательной интонацией, что его лубянский кабинет, куда мы поднимались слушать лекции, на секунду словно превращался в резонатор гигантского рояля, — но, хоть это слово всплывало в его речи довольно часто, никаких технических сведений он нам не сообщал, а рассказывал в основном житейские истории или вспоминал, как партизанил во время войны в Белоруссии.

Урчагин тоже никаких технических тем не касался, а обычно лужгал семечки и посмеивался или рассказывал что-нибудь смешное — например, спрашивал:

— Как разделить пук на пять частей?

И когда мы говорили, что не знаем, отвечал сам себе:

— Надо пукнуть в перчатку.

И заливался тонким смехом. Меня поражал оптимизм этого человека, слепого, парализованного, прикованного к инвалидному креслу — но выполняющего свой долг и не устающего радоваться жизни. У нас в космической школе было два замполита, которых за глаза называли иногда политруками, — Урчагин и Бурчагин, оба полковники, оба выпускники Высшего военно-политического училища имени Павла Корчагина, очень похожие друг на друга. С нашим экипажем занимался обычно Урчагин. У замполитов на двоих было одно японское инвалидное кресло с электромотором, и поэтому

когда один из них вел воспитательную работу, второй молча и неподвижно полулежал на кровати в крохотной комнате пятого этажа — в кителе, до пояса прикрытый одеялом, скрывавшим от постороннего взгляда судно. Бедная обстановка комнаты, планшет для письма с узкими прорезями в накладываемой сверху картонке, неизменный стакан крепкого чая на столе, белая занавеска и фикус — все это трогало меня почти до слез, и в эти минуты я переставал думать, что все коммунисты — хитрые, подловатые и основательные люди.

Последним в экипаж пришел Дима Матюшевич, отвечавший за лунный модуль. Он был очень замкнутым и, несмотря на молодость, совершенно седым, держался особняком, и про него я знал только то, что раньше он служил в армии. Увидев над койкой Митька репродукции картин Куинджи, вырванные из «Работницы», он повесил над своей койкой лист бумаги, на котором была нарисована маленькая птичка и крупно написано:

## OVERHEAD THE ALBATROSS

Приход Димы совпал по времени с появлением новой учебной дисциплины. Она называлась как фильм: «Сильные духом». Это не было учебным предметом в обычном смысле слова, хотя в расписании ему отводилось почетное место. К нам стали приходить люди, чьей профессией был подвиг, — они рассказывали нам о своей жизни без всякого пафоса; их слова были просты, как на кухне, и поэтому сама природа героизма казалась вырастающей из повседневности, из бытовых мелочей, из сероватого и холодного нашего воздуха.

Лучше других сильных духом мне запомнился майор в отставке Иван Трофимович Попадья. Смешная фамилия. Он был высокий — настоящий русский богатырь (его предки участвовали в битве при Калке), со множеством орденов на кителе, с красным лицом и шеей, весь в беловатых бусинках шрамов и с повязкой на левом глазу. У него была очень необычная судьба: начинал он простым егерем в охотничьем хозяйстве, где охотились руководители партии и правительства, и его обязанностью было гнать зверей — кабанов и медведей — на стоящих за деревьями стрелков. Однажды случилось

несчастье. Матерый кабан-секач вырвался за флажки и клыком нанес смертельную рану стрелявшему из-за березки члену правительства. Тот умер по пути в город, и на заседании высших органов власти было принято решение запретить руководству охоту на диких животных. Но, конечно, такая необходимость продолжала возникать, и однажды Попадью вызвали в партком охотхозяйства, всё объяснили и сказали:

— Иван! Приказать не можем — да если б и могли, не стали бы, такое дело. Но только нужно это. Подумай. Неволить не станем.

Крепко думал Попадья — всю ночь, — а наутро пришел в партком и сказал, что согласен.

— Иного не ждал, — сказал секретарь.

Ивану Трофимовичу дали бронежилет, каску и кабанью шкуру, и началась новая работа — такая, которую смело можно назвать ежедневным подвигом. В первые дни ему было немного страшно, особенно за открытые ноги, но потом он пообвыкся, да и члены правительства, знавшие в чем дело, старались целить в бок, где был бронежилет, под который Иван Трофимович для мягкости подкладывал думку. Иногда, конечно, какой-нибудь дряхленький ветеран ЦК промахивался, и Иван Трофимович надолго попадал на бюллетень — там он прочел много книг, в том числе и свою любимую, воспоминания Покрышкина. Какой это был опасный — под статью ратному — труд, ясно хотя бы из того, что Ивану Трофимовичу каждую неделю меняли пробитый пулями партбилет, который он носил во внутреннем кармане шкуры. В дни, когда он бывал ранен, вахту несли другие егеря, в числе которых был и его сын Марат, но все же опытейшим работником считался Иван Трофимович, которому и доверяли самые ответственные дела, иногда даже придерживая в запасных, если охотиться приезжал какой-нибудь небольшой обком (Иван Трофимович каждый раз оскорблялся, совсем как Покрышкин, которому не давали летать с собственным полком). Ивана Трофимовича берегли. Они с сыном тем временем изучали повадки и голоса диких обитателей леса — медведей, волков и кабанов — и повышали свое мастерство.

Было это уже давно, когда в столицу нашей Родины приезжал американский политик Киссинджер. С ним велись важнейшие переговоры, и очень многое зависело от того, сумеет ли мы подписать предварительный договор о сокращении

ядерных вооружений — особенно это важно было из-за того, что у нас их никогда не было, а наши недруги не должны были об этом узнать. Поэтому за Киссинджером ухаживали на самом высоком государственном уровне и задействованы были все службы — например, когда выяснили, что из женщин ему нравятся полные низкие брюнетки, именно такие лебеди проплыли сомкнутой четверкой по лебединому озеру Большого театра под его поблескивающими в правительственной ложе роговыми очками.

На охоте проще было вести переговоры, и Киссинджера спросили, на кого он любит охотиться. Наверное, желая состричь с каким-то тонким политическим смыслом, он сказал, что предпочитает медведей, и был удивлен и напуган, когда на следующее утро его действительно повезли на охоту. По дороге ему сказали, что для него обложили двух топтыгиных.

Это были коммунисты Иван и Марат Попадья, отец и сын, лучшие спецагента хозяйства. Ивана Трофимовича гость положил метким выстрелом сразу, как только они с Маратом, встав на задние лапы и рыча, вышли из леса; его тушу подцепили крючьями за особые петли и подтащили к машине. А в Марата американец никак не мог попасть, хотя бил почти в упор, а тот нарочно шел как мог медленно, подставив американским пулям широкую свою грудь. Вдруг произошло совсем непредвиденное — у заморского гостя отказало ружье, и он, до того как кто-нибудь успел понять, в чем дело, швырнул его в снег и кинулся на Марата с ножом. Конечно, настоящий медведь быстро бы справился с таким охотником, но Марат помнил, какая на нем ответственность. Он поднял лапы и зарычал, надеясь отпугнуть американца, но тот — пьяный ли, безрассудный ли — подбежал и ударил Марата ножом в живот; тонкое лезвие прошло между пластин бронежилета. Марат упал. Все произошло на глазах у его отца, лежащего в нескольких метрах; Марата подтащили к нему, и Иван Трофимович понял, что сын еще жив — тот тихонько постанывал. Кровь, которую он оставил на снегу, не была специальной жидкостью из баллончика — она была настоящей.

— Держись, сынок! — прошептал Иван Трофимович, глотая слезы. — Держись!

Киссинджер был от себя в восторге. Он предложил сопровождающим его официальным лицам распить бутылку прямо на «мишках», как он сказал, и там же подписать договор. На Марата и Ивана Трофимовича положили снятую со стены до-



мика лесника доску Почета, где были и их фотографии, и превратили ее в импровизированный стол. Все, что Иван Трофимович видел в следующий час, — это мельканье множества ног; все, что слышал, — это чужая пьяная речь и быстрое лопотание переводчика; его почти раздавили танцевавшие на столе американцы. Когда стемнело и вся компания ушла, договор был подписан, а Марат — мертв. Узкая струйка крови стекала из раскрытой его пасти на синий вечерний снег, а на шкуре мерцала в лунном свете повешенная начальником охоты Золотая звезда Героя. Всю ночь лежал отец напротив мертвого сына, плача — и не стыдясь своих слез.

Я вдруг по-новому понял давно потерявшие смысл и привешенные слова «В жизни всегда есть место подвигу», каждое утро глядевшие на меня со стены учебного зала. Это была не романтическая бессмыслица, а точная и трезвая констатация того факта, что наша советская жизнь есть не последняя инстанция реальности, а как бы только ее тамбур. Не знаю, понятно ли я объяснил. Скажем, в какой-нибудь Америке, где-нибудь на тротуаре между горящей витриной и припаркованным «плимутом», не было и нет места подвигу — если, конечно, не считать момента, когда там проходит советский разведчик. А у нас хоть и можно оказаться у такой же внешне витрины и на таком же тротуаре, но произойти это может только в послевоенное или предвоенное время, и именно здесь приоткрывается ведущая к подвигу дверь, но не где-то снаружи, а внутри, в самой глубине души.

— Молодец, — сказал мне Урчагин, когда я поделился с ним своими мыслями, — только будь осторожней. Дверь к подвигу действительно открывается внутри, но сам подвиг происходит снаружи. Не впади в субъективный идеализм. Иначе сразу же, за одну короткую секунду, лишится смысла высокий и гордый твой путь ввысь.

Был май, под Москвой горели торфяные болота, и в затаенном дымкой небе висело бледное, но жаркое солнце. Урчагин дал мне прочитать книжку японского писателя, бывшего во время Второй мировой войны летчиком-смертником, и я до крайней степени поразился сходству своего состояния с тем, что он описывал. Я точно так же не думал о ждущем меня впереди и жил сегодняшним днем — погружался в книги, забывал про все на свете, глядя на полыхающий разрывами киноэкран (в субботу вечером нам показывали военно-исторические фильмы), искренне переживал за свои не слишком высокие оценки. Слово «смерть» присутствовало в моей жизни как бумажка с памятной записью, уже давно висящая на стене, — я знал, что она на месте, но никогда не останавливался на ней взгляд. Мы не говорили на эту тему с Митьком, но когда нам сказали, что начинаются наконец и наши занятия на аппаратуре, мы переглянулись и словно ощутили первое дуновение приближающегося ледяного ветра.

Внешне луноход напоминал большой бак для белья, поставленный на восемь тяжелых колес, похожих на трамвайные. На его корпусе было много всяких выступов, антенн разной формы, механических рук и прочего — все это не работало и нужно было в основном для телевидения, но впечатление оставляло очень сильное. Крыша лунохода была покрыта маленькими косыми насечками; это было сделано не специально — просто металлический лист, из которого она изготовлялась, был таким же, как на полу у входа в метро. Но выглядела машина из-за этого еще таинственней.

Странно устроена человеческая психика! В первую очередь ей нужны детали. Помню, когда я был маленьким, я часто рисовал танки и самолеты и показывал их своим друзьям. Нравились им всегда рисунки, где было много всяких бессмысленных черточек, так что я даже потом их нарочно пририсовывал. Вот так же и луноход казался очень сложным и умным аппаратом.

Его крышка откидывалась в сторону — она была герметичной, на резиновой прокладке, с несколькими слоями теплоизоляции. Внутри было свободное место — примерно как в башне танка, и там стояла чуть переделанная рама от велосипеда «Спорт» с педалями и двумя шестеренками, одна из которых была аккуратно приварена к оси задней пары колес. Руль был обычным полугоночным-баранкой — через специальную передачу он мог чуть-чуть поворачивать передние колеса, но, как мне говорили, такой необходимости не должно было возникнуть. Из стен выступали полки, пока они были пустыми; к середине руля был приделан компас, а к полу — жестяная зеленая коробка передатчика с телефонной трубкой. В стене перед рулем чернели две крошечные круглые линзы, похожие на дверные глазки; через них были видны края передних колес и декоративный манипулятор. С другой стороны висело радио — самый обычный кирпич из красной пластмассы с черной ручкой регулировки громкости (начальник полета объяснил, что для преодоления психологического отрыва от страны на все советские космические аппараты обязательно транслируют передачи «Маяка»). Внешние линзы, большие и выпуклые, были закрыты шорами сверху и по бокам, так что у лунохода появлялось как бы лицо или, точнее, морда — довольно симпатичная, вроде тех, что рисуют у арбузов и роботов в детских журналах.

Когда я впервые залез внутрь и над моей головой шелкнула крышка, я подумал, что не вынесу такой тесноты и неудобства. Приходилось как бы висеть над рамой, распределяя вес между руками, лежащими на руле, ногами, упертыми в педали, и седлом, которое не столько принимало на себя часть веса, сколько задавало позу, которую должно было принимать тело. Так наклоняется велосипедист, когда развивает большую скорость, — но у него хоть есть возможность выпрямиться, а тут ее не было, потому что спина и затылок практически упирались в крышку. Правда, недели через две после начала занятий, когда я по-

обвыкся, оказалось, что места вполне достаточно, чтобы на целые часы забывать о том, как его мало.

Круглые глазки оказывались прямо напротив лица, но линзы так все искажали, что совершенно невозможно было понять, что там, за тонкой сталью борта. Зато четким и сильно увеличенным был пяточок земли прямо перед колесами и конец ребристой антенны; остальное расплывалось в какие-то зигзаги и пятна, и казалось, что сквозь слезы смотришь в длинный темный коридор за стеклами противогаза.

Машина была довольно тяжелой, и приводить ее в движение было трудно, так что у меня даже появились сомнения, что я сумею преодолеть в ней целых семьдесят километров лунной пустыни. Даже сделав круг по двору, я сильно устал; ныла спина, болели плечи и поясница.

Теперь через день, сменяя Митька, я в лифте поднимался наверх, выходил во двор, раздевался до трусов и майки, залезал в луноход и подолгу, чтобы укрепить мышцы на ногах, ездил кругами по двору, разгоняя кур и иногда даже давя их — конечно, я делал это не нарочно, просто через оптику совершенно невозможно было отличить замешкавшуюся курицу от, например, газеты или сорванной ветром с бельевой веревки портянки, да и затормозить я все равно не успевал. Сначала впереди меня на своем кресле, показывая дорогу, ездил полковник Урчагин — сквозь линзы он казался размытым серо-зеленым пятном, — но постепенно я так наловчился, что мог с закрытыми глазами объехать весь двор — для этого просто надо было под определенным углом повернуть руль, и машина сама совершала плавный круг, возвращаясь на то же место, где начинался маршрут. Я иногда даже переставал смотреть в глазки и просто работал мышцами, опустив голову и думая о своем. Иногда я вспоминал детство, иногда представлял себе, каким именно будет стремительно приближающийся миг старта в вечность. А иногда я додумывал старые-старые мысли, опять поднимавшиеся в моем сознании. Вот, например, я часто думал — кто же такой я?

Надо сказать, что этим вопросом я задавался еще в детстве, просыпаясь рано утром и глядя в потолок. Потом, когда я немного вырос, я стал задавать его в школе, но единственное, что услышал, — что сознание является свойством высокоор-

ганизованной материи, вытекающим из ленинской теории отражения. Смысла этих слов я не понимал, и меня по-прежнему удивляло — как это я вижу? И кто этот я, который видит? И что это вообще значит — видеть? Вижу ли я что-то внешнее или просто гляжу сам на себя? И что такое — вне меня и внутри меня? Я часто чувствовал, что стою на самом пороге разгадки, но, пытаюсь сделать последний шаг к ней, я вдруг терял то «я», которое только что стояло на этом пороге.

Когда тетка уходила на работу, она часто просила посидеть со мной старуху соседку, которой я и задавал все эти вопросы, с удовольствием чувствуя, как трудно ей на них отвечать.

— У тебя, Омочка, внутри есть душа, — говорила она, — и она выглядывает сквозь глазки, а сама живет в теле, как у тебя хомячок живет в кастрюльке. И эта душа — часть Бога, который нас всех создал. Так вот ты и есть эта душа.

— А зачем Бог посадил меня в эту кастрюлю?

— Не знаю, — говорила старуха.

— А где он сам сидит?

— Всюду, — отвечала старуха и показывала руками.

— Значит, я тоже Бог? — спрашивал я.

— Нет, человек не Бог. Но он богоподобен, — отвечала она.

— А советский человек тоже богоподобен? — спрашивал я, с трудом произнося непонятное слово.

— Конечно, — говорила старуха.

— А богов много? — спрашивал я.

— Нет. Он один.

— А почему в справочнике написано, что их много? — спрашивал я, кивая на справочник атеиста, стоящий у тетки на полке.

— Не знаю.

— А какой бог лучше?

Но старуха опять отвечала:

— Не знаю.

И тогда я спрашивал:

— А можно, я сам выберу?

— Выбирай, Омочка, — смеялась старуха, и я начинал рыться в словаре, где разных богов была целая куча. Особенно мне нравился Ра, бог, которому доверились много тысяч лет назад древние египтяне, — нравился, наверно, потому, что у него была соколиная голова, а летчиков, космонавтов и во-

обще героев по радио часто называли соколами. И я решил, что если уж я на самом деле подобен богу, то пускай этому. Помню, я взял большую тетрадь и сделал в нее выписку:

*«Днем Ра, освещая землю, плывет по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте».*

Древние люди не могли знать, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, было написано в словаре, и поэтому создали этот поэтический миф.

Сразу под статьей в словаре была древнеегипетская картинка, изображавшая переход Ра из одной барки в другую, — там были нарисованы две одинаковые приставленные друг к другу ладьи, в которых стояли две девушки, одна из которых передавала другой круг с сидящим в нем соколом — это и был Ра. Сильнее всего мне понравилось, что в этих ладьях, помимо множества непонятных предметов, были еще четыре совершенно явные хрущевские пятиэтажки.

И с тех пор, хоть я и откликался на имя «Омон», сам себя я называл «Ра»; именно так звали главного героя моих внутренних приключений, которые я переживал перед сном, закрыв глаза и отвернувшись к стене, — до тех пор, пока мои мечты не подверглись обычной возрастной трансформации.

Интересно, придет ли в голову кому-нибудь из тех, кто увидит в газете фотографию лунохода, что внутри стальной кастрюли, существующей для того, чтобы проползти по Луне семьдесят километров и навек остановиться, сидит человек, выглядывающий наружу сквозь две стеклянные линзы? Какая, впрочем, разница. Если кто-нибудь и догадается об этом, он все равно никогда не узнает, что этим человеком был я, Омон Ра, верный сокол Родины, как сказал однажды начальник полета, обняв меня за плечи и показывая пальцем на сияющую тучу за окном.

Еще один предмет, появившийся в наших занятиях — «Общая теория Луны», — считался факультативным для всех, кроме нас с Митьком. Занятия вел доктор философских наук в отставке Иван Евсеевич Кондратьев. Мне он почему-то был несимпатичен, хотя никаких объективных поводов для неприязни я не имел, а лекции его были довольно интересными. Помню, свою первую встречу с нами он начал очень необычно — целых полчаса читал нам по бумажке всякие стихи о Луне; в конце он так сам себя растрогал, что пришлось протирать очки. Я тогда еще вел конспекты, и от этой лекции в них осталось какое-то бессмысленное нагромождение цитатных обломков: «Как золотая капля меда мерцает сладостно Луна... Луны, надежды, тихой славы... Как много в этом звуке... Но в мире есть иные области, Луной мучительной томимы. Для высшей силы, высшей доблести они навек недостижимы... А в небе, ко всему приученный, бессмысленно кривится диск... Он управлял теченьем мыслей, и только потому — луной... Неуютная жидкая лунность...» И еще полторы страницы в том же духе. Потом он посерьезнел и заговорил официально, нараспев:

— Друзья! Вспомним исторические слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им в тысяча девятьсот восемнадцатом году в письме к Инессе Арманд. «Из всех планет и небесных тел, — писал Владимир Ильич, — важнейшим для нас является Луна». С тех пор прошли годы; многое изменилось в мире. Но ленинская оценка не потеряла с тех пор своей остроты и принципиальной важности; время подтвердило ее правоту. И огонь этих ленинских слов по-особому подсвечивает сегодняшний листок в календаре. Действительно, Луна играет в жизни человечества огромную роль. Видный русский

ученый Георгий Иванович Гурджиев еще во время нелегального периода своей деятельности разработал марксистскую теорию Луны. Согласно ей, всего лун у Земли было пять — именно поэтому звезда, символ нашего государства, имеет пять лучей. Падение каждой луны сопровождалось социальными потрясениями и катастрофами — так, четвертая луна, упавшая на планету в 1904 году и известная под именем Тунгусского метеорита, вызвала первую русскую революцию, за которой вскоре последовала вторая. До этого падения лун приводили к смене общественно-экономических формаций — конечно же, космические катастрофы не влияли на уровень развития производительных сил, складывающийся независимо от воли и сознания людей и излучения планет, но способствовали формированию субъективных предпосылок революции. Падение нынешней Луны — луны номер пять, последней из оставшихся, — должно привести к абсолютной победе коммунизма в масштабах Солнечной системы. В этом же курсе мы изучим две основные работы Ленина, посвященные Луне, — «Луна и восстание» и «Советы постороннего». Сегодня мы начнем с рассмотрения буржуазных фальсификаций вопроса — взглядов, по которым органическая жизнь на Земле служит просто пищей для Луны, источником поглощаемых ею эманаций. Неверно это уже потому, что целью существования органической жизни на земле является не кормление Луны, а, как показал Владимир Ильич Ленин, построение нового общества, свободного от эксплуатации человека номер один, два и три человеком номер четыре, пять, шесть и семь...

И так далее. Он говорил много и сложно, но лучше всего я запомнил удививший меня своей поэтичностью пример: тяжесть висящей на цепочке гири заставляет часы работать; Луна — такая гиря, Земля — часы, а жизнь — это тиканье шестеренок и пение механической кукушки.

Довольно часто у нас проводились медицинские проверки — всех нас изучили вдоль и поперек, и это было понятно. Поэтому, услышав, что нам с Митьком нужно пройти какое-то реинкарнационное обследование, я подумал, что это будет проверка рефлексов или измерение давления — первое слово мне ничего не сказало. Но когда меня вызвали вниз и я увидел специалиста, который должен был меня обследовать, я почувствовал детский страх, непреодолимый и совершенно неуместный в свете того, что мне предстояло в очень близком будущем.



Передо мной был не врач в халате с торчащим из кармана стетоскопом, а офицер, полковник, но не в кителе, а в какой-то странной черной рясе с погонами, толстый и крупный, с красным, словно обваренным щами, лицом. На груди у него висели никелированный свисток и секундомер, и если бы не глаза, напоминающие смотровую щель тяжелого танка, он был бы похож на футбольного судью. Но вел себя полковник приветливо, много смеялся, и под конец беседы я расслабился. Он говорил со мной в маленьком кабинетике, где были только стол, два стула, затянута клеенкой кушетка и дверь в другую комнату. Заполнив несколько желтоватых бланков, он дал мне выпить мензурку чего-то горького, поставил на стол передо мной маленькие песочные часы и ушел за вторую дверь, велев прийти туда, когда весь песок пересыплется вниз.

Помню, как я глядел на часы, удивляясь, до чего же медленно песчинки скатываются вниз сквозь стеклянное горло, пока не понял, что это происходит из-за того, что каждая песчинка обладает собственной волей и ни одна не хочет падать вниз, потому что для них это равносильно смерти. И вместе с тем для них это было неизбежно; а тот и этот свет, думал я, очень похожи на эти часы: когда все живые умрут в одном направлении, реальность переворачивается и они оживают, то есть начинают умирать в другом.

Я некоторое время грустил по этому поводу, а потом заметил, что песчинки уже давно не падают, и вспомнил, что надо бы зайти к полковнику. Я ощущал волнение и вместе с тем необычайную легкость; помню, что я очень долго шел к двери, за которой меня ждали, хотя на самом деле до нее было два или три шага. Положив ладонь на дверную ручку, я толкнул ее, но она не открылась. Тогда я потянул ее на себя и вдруг заметил, что тяну на себя не ее, а одеяло. Я лежал в своей койке, на краю которой сидел Митёк. У меня чуть кружилась голова.

— Ну? Чего там? — спросил Митёк. Он выглядел странно возбужденным.

— Где — там? — спросил я, поднимаясь на локтях и пытаюсь сообразить, что произошло.

— На реинкарнационном обследовании, — сказал Митёк.

— Сейчас, — сказал я, вспоминая, как только что тянул на себя дверь, — сейчас... Нет. Ничего не помню.

Отчего-то я чувствовал пустоту и одиночество, словно

очень долго шел сквозь голое осеннее поле; это было настолько необычное состояние, что я забыл обо всем остальном, в том числе и о постоянном в последние месяцы ощущении приближающейся смерти, которое уже потеряло остроту и стало просто фоном для всех остальных мыслей.

— Подписку, что ли, дал? — с легким презрением спросил Митёк.

— Отстань, — сказал я, поворачиваясь к стене.

— Сейчас приволакивают тебя два таких мордастых прапорщика в черных рясах, — продолжал он, — и говорят: «На, забирай своего египтянина». А у тебя вся гимнастерка облевана. Правда, что ли, не помнишь ничего?

— Правда, — ответил я.

— Ну пожелай мне, — сказал он, — а то идти сейчас.

— К черту, — сказал я. Больше всего на свете мне хотелось спать, потому что я чувствовал, что если я достаточно быстро засну, то проснусь опять самим собой.

Я слышал, как Митёк со скрипом закрыл за собой дверь, а потом уже было утро.

— Кривомазов! К начальнику полета! — крикнул мне в ухо кто-то из наших. Только одевшись, я проснулся окончательно. Койка Митька была пустой и неразобранной; остальные ребята в майках сидели на своих местах. Я чувствовал в воздухе какое-то напряжение; они смущенно переглядывались, и даже Иван не отвешивал своих обычных утренних шуток, глупых, но очень смешных. Что-то произошло, и всю дорогу наверх, на третий надземный этаж, где был кабинет начальника полета, я пытался понять, что именно. Идя по коридору и щурясь от пробивающегося сквозь занавески солнца, которого я давно уже не видел, я заметил свое отражение в огромном пыльном зеркале на одном из поворотов, поразился мертвенной бледности своего лица и понял, что мой подвиг, в сущности, давно уже начался.

Начальник полета встал мне навстречу и пожал мою руку.

— Как подготовка? — спросил он.

— Нормально, товарищ начальник полета, — сказал я.

Он оценивающе поглядел мне в глаза.

— Вижу, — сказал он через некоторое время, — вижу. Я тебя, Омон, вызвал вот зачем. Ты мне поможешь. Возьми вот

этот магнитофон, — он показал на маленький японский кассетник на столе перед собой, — бланки, ручку и иди в триста двадцать девятую комнату, она как раз сейчас пустая. Ты когда-нибудь записи расшифровывал?

— Нет, — ответил я.

— Это просто. Прокручиваешь чуть-чуть пленку, записываешь то, что слышишь, и крутишь дальше. Если не разбираешь с первого раза, слушаешь несколько раз.

— Ясно. Могу идти?

— Можешь. Постой. Я думаю, что ты поймешь, почему я попросил заняться этим именно тебя. У тебя скоро возникнут всякие вопросы, на которые тебе никто там, — начальник полета ткнул пальцем в пол, — не ответит. Я тоже мог бы тебе не отвечать, но, по-моему, лучше, чтобы ты был в курсе. Я не хочу, чтобы ты мучил себя лишними мыслями. Но учти, ни политруки, ни экипаж не должны знать того, что сейчас узнаешь ты. То, что происходит, — это с моей стороны служебное нарушение. Как видишь, их делают даже генералы.

Я молча взял со стола магнитофон и несколько желтых бланков — таких же, как те, что я видел вчера, — и пошел в триста двадцать девятую. Ее окна были плотно зашторены, а в центре стоял знакомый металлический стул с кожаными ремнями на ножках и подлокотниках, только сейчас к нему от стены шли какие-то провода. Я сел за небольшой письменный стол в углу, положил перед собой разлинованный бланк и включил магнитофон.

— Спасибо, товарищ полковник... Очень удобно, просто кресло какое-то, а не стул, ха-ха-ха... Конечно, нервничаю. Это ведь как экзамен, да?.. Понял. Да. Через оба «и» — Свириденко...

Я выключил магнитофон. Это был голос Митька, но какой-то странный, будто к его голосовым связкам вместо легких подключили кузнечные мехи, — он говорил легко и певуче, все время на выдохе. Чуть перемотав пленку назад, я опять нажал на «Play» и больше не останавливал пленку.

— ...Экзамен, да?.. Понял. Да. Через оба «и» — Свириденко... Нет, спасибо, не курю. У нас в группе никто не курит — таких не держат... Да, второй год уже. Даже не верится. Еще мальчишкой мечтал на Луну полететь... Конечно, конечно. Именно так, только людям с кристальной душой. Еще бы — когда вся Земля внизу... Про кого на Луне? Нет, не слышал...

Ха-ха-ха, это вы шутите, веселый вы... А у вас странно как-то. Ну, необычно. Это у вас везде так или только в особом отделе? Сколько ж тут черепов-то на полках, Господи, — прямо как книги стоят. И с бирками, ты смотри... нет, я не в том смысле. Раз лежат, значит, надо. Экспертиза там, картотека. Я понимаю. Я понимаю. Что вы говорите... И как только сохранился... А это, над глазом, — от ледоруба? Моя. Там еще две анкеты было. Перед Байконуром — последняя проверка. Да. Готов. Так я ведь, товарищ полковник, все это подробно... Просто про себя рассказать, с детства? Да нет, спасибо, мне удобно... Ну, если положено. А вы бы сделали такие подголовники, как в машинах. А то подушечка падать будет, если наклониться... Ага, а я-то думаю, зачем у вас зеркало такое на стене. А вы, значит, другое на стол ставите. Какая свеча толстая... Из чьего? Ха-ха-ха, шутите, товарищ полковник... Удивительно. Честное слово, первый раз вижу. Читал только, что так можно сделать, а сам не видел. Поразительно. Как будто коридор какой-то. Куда? Вот в это? Господи Христе, сколько у вас зеркал-то, прямо парикмахерская. Да нет, что вы, товарищ полковник... Что вы. Это присказка, от бабки прилипла. Я научный атеист, иначе бы и в летное не пошел... Помню примерно. Я ведь в Москву только в одиннадцать лет приехал, а родился в маленьком таком городке — знаете, стоит себе у железной дороги, раз в три дня поезд пройдет, и все. Тишина. Улицы грязные, по ним гуси ходят. Пьяных много. И все такое серое — зима, лето, не важно. Две фабрики, кино-театр. Ну, парк еще — туда, понятно, лучше вообще было не соваться. И вот, знаете — иногда в небе загудит, — поднимаешь глаза и смотришь. Да чего объяснять... И еще книги все время читал, всем хорошим в себе им обязан. Самая, конечно, любимая — это «Туманность Андромеды». Очень на меня большое влияние имела. Представляете, железная звезда... И на черной-черной планете стоит радостный советский звездолет с бассейном, вокруг пятно голубого света, и где этот свет кончается — враждебная жизнь, она света боится и может только таиться во тьме. Медузы какие-то, это я не понял, и еще черный крест — тут, по-моему, на церковников намек. Такой был черный крест, крался в темноте, а там, где свет голубой, люди работают, добывают анамезон. И тут этот черный крест по ним чем-то непонятным как пальнет! Целился в самого Эрга Ноора, но его Низа Крит заслонила своей грудью.

И наши потом отомстили — ядерный удар до горизонта, Низу Крит спасли, а главных медуз поймали — и в Москву. Я еще читал и думал: как же люди в наших посольствах за рубежом работают! Хорошая книга. А еще другую помню. Там какая-то пещера была, что ли...

— ...

— Или нет, пещера потом была, не пещера, а коридоры. Низкие коридоры, а на потолках — копоть от факелов. Это воины по ночам все время с факелами ходили, стерегли господина царевича. Говорили, от аккадов. На самом деле от брата стерегли, конечно... Вы, господин начальник северной башни, простите меня, если я не то говорю, только у нас все так считают — и воины и слуги. А если язык мне велите отрезать, так вам все равно любой то же самое скажет. Это сама царица Шубад такой гарнизон здесь поставила, от Мескаламдуга. Он как на охоту поедет, так всегда мимо южной стены проезжает, и с ним двести воинов в медных колпаках — это что ж, на львов охотиться? Все об этом говорят... то есть как? Да вы что, господин начальник северной башни, опять пятилистника нажевались? Нинхурсаг я, жрец Арраты и резчик печатей. То есть когда вырасту, буду жрецом и резчиком, пока я маленький еще... да что вы пишете, вы ж меня знаете. Еще уздечку мне подарили с медными бляхами. Не помните? Почему... Сейчас... Сидели это мы с Намтурой — ну, знаете, у которого уши отрезанные, он меня треугольник вырезать учил. Тяжелее всего для меня. Там сначала делаешь два глубоких надреза, а потом надо с третьей стороны широким резцом подцепить и... Ну да, а тут снаружи кто-то занавес срывает, нагло так — мы глаза поднимаем, а там два воина стоят. Радость, говорят, какая! Наш царевич уже не царевич, а великий царь Абарагги! Только что отбыл к божеству Нанне, ну и нам, выходит, надо собираться. Намтура заплакал от счастья, запел что-то по-аккадски и стал свои тряпки в узел вязать. А я сразу во двор пошел, сказал только, чтобы Намтура резцы собрал. А во дворе — Уршу-победитель! — воины с факелами и светло как днем... Да нет, что вы, господин начальник северной башни! Конечно нет. Это просто Намтура так бормочет все время... Нет, и жертв никогда не приносил. Не надо. Я теперь нун великого царя Абарагги, мне так запросто ушей не отрежешь, на это царский указ нужен... Ладно, прощаю. Да, и колесницы с быками уже стояли. Тут ко мне гос-

подин владыка засова подходит — на, говорит, Нинхурсаг, кинжал из государственной бронзы, ты уже взрослый. И еще ячменной муки дал мешочек — сваришь, говорит, себе еды в дороге. Тут я смотрю, а по двору эти ходят, в медных колпаках. Ну, думаю, великий Уршу! То есть великий Ану! Помирились, значит, Мескаламдуг с Абаратти... Да и то — с царем как ссориться будешь, когда у него каждое слово — Ану. Тут мне мою колесницу показали, ну, я на нее и влез. Там еще один мальчик стоял — он быками управлял. Я его раньше даже не видел. Помню только, бусы у него были из бирюзы, дорогие бусы. И кинжал за поясом — тоже только что дали. В общем, оглянулся я на крепость, взгрустнул немного. Но тут облака разошлись, и в просвете Луна как засияет... И сразу мне легко стало и весело... Тут в скале возле конюшен плиту отодвинули — а там вход в пещеру. Я и не знал раньше, что там пещера. Правда не знал... Чтоб мне подвига в битве не совершить! Это же вы и были! Вспомнил теперь. И тут, значит, вы, господин начальник северной башни, к нам подходите с двумя чашами пива и говорите — мол, от царского брата Мескаламдуга. И юбка на вас эта же самая была, только на голове — колпак медный. Ну, мы и выпили. Я до этого пива никогда не пил. А потом второй мальчик что-то крикнул, натянул вожжи, и мы поехали — прямо в пролом в скале. Помню, там дорога вниз вела, а что по бокам — не видел, темно было... Потом? А потом у вас в башне оказался. Это меня от пива так, да?.. Накажут? Уж заступитесь, господин начальник северной башни. Расскажите, как все было. Или таблички передайте, раз уж все записали все. Конечно, с собой... Нет, вам не дам, сам поставлю. Кто ж печать-то дает, У... Ану заступник! Вот. Правда нравится? Сам делал. С третьего раза получилось. Это бог Мардук. Какой забор, это старшие боги стоят. Вы заступитесь за меня, господин начальник северной башни! Я вам тогда три печати вырежу. Нет, не плачу... Все, не буду. Спасибо. Вы — муж мудрый и мощный, это я всем сердцем говорю. Не рассказывайте никому только, что я плакал... А то скажут, какой он жрец Аратты — напьется пива и плачет... Конечно, хочу. А где? С юга или с севера? А то у вас тут вся стена в зеркалах. Понял... Ну, знаю. Это когда Нинлиль пошла в чистом потоке купаться, а потом вышла на берег канала. Мать ей говорила, говорила, ну а она все равно, значит, на берег канала вышла, ну тут ее Энлиль и обрюхатил. А по-

том он в Киур приходит, а ему совет богов и говорит: Энлиль, насильник, прочь из города! Ну а Нинлиль, понятно, за ним пошла... Нет, не сплит. Два других? Ну это уже после было, когда Энлиль сторожем на переправе притворился и когда Нанна у Нинлиль уже под самым сердцем был...

— ...

— Да и потом, эти два — просто разные проявления одного и того же. Можно так сказать: Геката — это темная и странная сторона, а Селена — светлая и чудесная. Но я здесь, признаться, не очень сведущ — так, слышал кое-что в Афинах... Бывал, бывал. Еще при Домициане. Прятался там. Иначе бы мы с вами, отец сенатор, в этих носилках сейчас не ехали... Как обычно, оскорбление величия. Будто бы у хозяина во дворе статуя принцепса стоит, а рядом двух рабов похоронили. А у него и статуи такой никогда не было. Даже и при Нерве вернуться опасались. А при нынешнем принцепсе бояться нечего. Он к нам легатом самого Плиния Секунда прислал — вот какое время настало, слава Изиде и Серапису! Недаром... Да нет, что вы, отец сенатор, клянусь Геркулесом! Это у меня с Афин, там сейчас египтянин на египтянине... Какие у вас дощечки интересные, воска почти не видно. А львиные морды — из электрона? Скажите, коринфская бронза... Первый раз вижу... Да вы же меня знаете — Секстий Руфин. Нет, из вольноотпущенников. Все-таки чем носилки хороши — если рабы, конечно, умелые: едешь и пишешь. И светильник горит, как в комнате, а мимо пинии проплывают... Вы, отец сенатор, прямо в душе читаете. Постоянно про себя слагаю. Конечно, не Марциал — так, туплю себе стилосы... «Песни я пою мелкими стишками. Как когда-то Катулл их пел, а также — Кальв и древние. Мне-то что за дело! Я стишки предпочел, оставив форум...» Ну, преувеличиваю, конечно, отец сенатор, так на то они и стихи. Я, собственно, свидетелем по делу о христианах из-за литературы и пошел. Чтоб на легата нашего посмотреть. Великий человек... Ну, не совсем свидетелем. Да нет, все как есть написал — он и правда из Галилеи, Максим этот. У него по ночам собираются, какой-то дым вдыхают. А потом он на крышу вылезает в одних калигах и петухом кричит — я как увидел, так сразу понял, что они христиане... Про летучих мышей приврал, конечно. Чего там. Да все равно им одна дорога — в гладиаторскую школу. А легат наш мне очень понравился. Да... К столу пригласил, сти-

хи мои послушал. Хвалил очень. А потом говорит: приходи, говорит, Секстий, на ужин. Когда полнолуние будет. Я, говорит, пришлю... И точно, прислал. Я все свитки со стихами собрал — а ну, думаю, в Рим отправит. Лучший плащ надел... Да нельзя мне тогу, у меня же римского гражданства нет. Поехали мы, значит, только почему-то за город. Долго ехали, я аж заснул в повозке. Просыпаюсь, гляжу — не то вилла какая-то, не то храм, и факельщики. Ну, значит, прошли мы внутрь — через дом и во двор. А там уже стол накрыт, прямо под небом, и Луна все это освещает. Удивительно большая была. Мне рабы и говорят — сейчас господин легат выйдет, а вы ложитесь пока к столу, вина выпейте. Вон ваше место, под мраморным ягненком. Я лег, выпил — а остальные вокруг лежат и на меня смотрят... И молчат. Чего, думаю, легат им о моих стихах порассказал... Даже не по себе стало. Но потом за ширмой на двух арфах заиграли, и мне вдруг так весело стало — удивительно. Я уж и не понял, как с места вскочил и танцевать начал... А потом вокруг треножки появились с огнем и еще люди какие-то в желтых хитонах. Они, по-моему, не в себе были — посидят-посидят, а потом вдруг руки к Луне протянут и что-то петь начнут по-гречески... Нет, не разобрал — я танцевал, мне весело было. А потом господин легат появился — на нем почему-то фригийский колпак был с серебряным диском, а в руке — свирель. И глаза блестят. Еще вина мне налил. Хорошие, говорит, стихи пишешь, Секстий. И про луну заговорил — вот прямо как вы, отец сенатор... Пойдите, так ведь и вы там были — точно. Хе-хе, а я-то все думаю — чего это мы с вами в носилках едем? Да-а... Так сейчас-то на вас тога, а тогда хитон был и колпак фригийский, как на легате. Ну да, у вас еще в руке копье было красное, с конским хвостом. Все мне к вам неудобно было спиной повернуться, только мне легат говорит — погляди, говорит, Секстий, на Гекату, а я тебе на свирели сыграю. И заиграл — тихо так. Ну, я глаза поднял, гляжу, гляжу, а потом вы меня про эту самую Гекату и Селену спрашивать стали. И когда ж я к вам в носилки сесть успел? Все в порядке? Ну слава И... Геркулесу. Аполлону и Геркулесу... Ну и хорошо, верните, я их и принес, чтобы легат прочел. А вы, отец сенатор, тоже литературой занимаетесь? То-то я смотрю — вы все пишете, пишете. А-а. На память. Тоже стихи понравились. Этот час для тебя — гуляет Лией, и царит в волосах душистых роза.



Конечно. Давайте даже гемму приложу. Ничего, тут резьба неглубокая, много воска не надо. Пропечатается. Подъезжаем? Вот спасибо, отец сенатор, а то прическа растрепалась. И сколько такое зеркало в метрополии стоит? Скажите, у нас в Вифинии за такие деньги домик можно купить. Тоже коринфская бронза? Серебро? И надпись какая-то...

— ...

— Ничего, прочту. Так... «Лейтенанту Вульффу за Восточную Пруссию. Генерал Людендорф». Ой, извините, бригаденфюрер, он сам раскрылся. Удивительный портсигар, блестит как зеркало. А вы, значит, в пятнадцатом уже лейтенантом были? И тоже летчиком? Ну что вы, бригаденфюрер, даже неловко. Из-за этих трех крестов даже на задание не слетаешь. Яков с МиГами, говорят, много, а Фогель фон Рихтгофен у нас один. Если б не спецмиссия, я б заплесневел, наверное, в пустой казарме... Да, имя пишется как «птица». Мать сначала расстроилась, когда узнала, как меня отец называть хочет. Зато Бальдур фон Ширах — он с отцом дружил — целое стихотворение мне посвятил. В школах сейчас проходят... Осторожнее, это вон из того окна стреляют... Да нет, стена толстая... Представляю, чего бы он написал, если б узнал про спецмиссию. Это прямо какая-то поэма была. Я-то поверил, что на Западный фронт переводят, только в Берлине все и узнал. Сперва, конечно, расстроился. Что им, думаю, в «Анэнербе», делать нечего — боевых летчиков с фронта отзывают... Но когда этот самолет увидел — дева Мария! Сразу... Да что вы, бригаденфюрер, просто жил в детстве в Италии. Да. Сколько летаю, а такой красоты не видел. Потом только разобрался, что это, собственно, Me-109, только с другим мотором и с длинными крыльями... Черт, ленту перекосило... Да ладно, сам... В общем, только в ангар вошел, и сразу дух захватило. Белый, легкий такой и словно светится в темноте. Но что удивило — это подготовка. Я думал, матчасть учить буду, а вместо этого к вам в «Анэнербе» возили, череп мерили, и все под Вагнера. А спросишь о чем — молчат. В общем, когда меня той ночью разбудили, я решил, что опять череп мерить будут. Нет, смотрю — под окнами два «мерседеса» стоят, урчат моторами... Отлично, бригаденфюрер! Прямо под башню. Где это вы так наловчились из этой штуки... Ну сели, значит, поехали. Потом... Да, оцепление стояло, эсэсовцы с факелами. Проехали, потом лес кончился, здание какое-

то с колоннами и аэродром. Ни души кругом, только ветерок такой легкий и Луна в небе. Я-то думал, что все аэродромы под Берлином знаю, а этого никогда не видел. И самолет мой стоит, прямо на полосе, и что-то такое под фюзеляжем у него, тоже белое, вроде бомбы. Но мне рядом даже остановиться не дали, а сразу повели в это здание... Нет, не помню. Помню только, Вагнер играл. Велели раздеться, вымыли, как ребенка... Нет, гранаты потом... Масло в кожу втирали — знаете, чем-то древним пахнет, приятный запах такой. И дали летную форму, всю белую. И все мои награды на груди. Да, думаю, Фогель, вот оно... Ведь всю жизнь о чем-то таком и мечтал. Потом эти, из «Анэнербе», говорят: ступайте, капитан, к самолету. Там вам все скажут. Руку пожали, все по очереди. Ну, я и пошел. А сапоги тоже белые, в пыль боишься наступить... Сейчас... Подхожу к самолету, а там... Так это ведь вы и были, бригаденфюрер, только не в каске этой, а в таком черном колпаке... И, значит, стали вы мне все это объяснять — взлететь на одиннадцать тысяч, курс на Луну и красную кнопку нажать на левой панели... А, черт. Чуть-чуть не достал... Ну и планшет этот белый мне дали, а потом — кофе с коньяком из термоса. Я говорю — не надо, не пью перед вылетом, а вы мне так строго: да ты хоть знаешь, Фогель, от кого этот кофе? Тут я оборачиваюсь и вижу — никогда бы не поверил... Да. Как в кинохронике, и китель тот самый, двубортный. Только колпак на голове и бинокль на груди. И усы чуть пошире, чем на портретах. Или из-за лунного света так показалось. Рукой так помахал, прямо как на стадионе... В общем, выпил я кофе, сел в самолет, надел сразу кислородную маску и взлетел. И так мне сразу легко стало — будто в две груди задышал. Поднялся на одиннадцать тысяч, курс на Луну — она огромная была, в полнеба, и вниз поглядел. А там все зеле— новатое такое, река какая-то блеснула... Тут я кнопку и нажал. И чего-то вправо стало заносить, а как сел — даже не помню... Расписаться? И вы мне черкните что-нибудь на память. Спасибо... А много их к Берлину прорвалось? Да это-то понятно... Ерунда, кирпичной крошкой, наверно. Переносица цела... Ага, вижу — ерунда. С этим портсигаром бриться можно, и зеркала не нужно...

— ...

— Нет, больше не нужно, я ведь и не просил. Это вы сами поставили, товарищ полковник, когда свечу зажгли... Ну, чего

дальше — книги читал, а потом телескоп себе сделал маленький. В основном Луну изучал. Даже на утренник в школе один раз луноходом нарядился... Отлично этот вечер помню... Да нет, у нас всегда утренники вечером были, а тогда еще субботу на понедельник перенесли... Все ребята в актовом зале собрались — у них костюмы простые были, танцевать можно было. А на мне такое надето было — встанешь на карачки, и действительно как луноход. В зале музыка играет, раскраснелись все... А я постоял у дверей и пополз на четвереньках по пустой школе. Коридоры темные, нет никого... Вот так я на карачках к окну подползаю, а за ним в небе — Луна, и даже не желтая, а зеленая какая-то, как у Куинджи на картине — знаете? У меня над койкой висит, из «Работницы». И вот тогда я себе слово и дал на Луну попасть... Ха-ха-ха... Ну если вы, товарищ полковник, все возможное сделаете, тогда точно попаду... Ну что дальше — после школы в Зарайское летное, оттуда сразу сюда... Получили представление? Да я знаю, товарищ полковник, всегда лучше по-человечески. Вот тут? Ничего, что чернила синие? Правильно. Простая душа, короткий протокол... Спасибо. Если можно, с малиновым. А где вы баллончики берете для сифона? Хотя да... Товарищ полковник, а можно вопрос? Скажите, а правда весь лунный грунт к вам отвозят? Да не помню, кто-то из наших... Конечно, ведь только по телевизору видел... Ух ты... И сколько в такую банку входит — грамм триста? А разве можно? Спасибо... Вот спасибо... Дайте еще листок, чтоб понадежней... Спасибо. Помню. Направо по коридору, к лифтам и вниз. Не дойду? Еще действует? Ну проводите тогда... Опять колпак на вас? Почему, нравится. У нас ведь в армии уже колпаки были — буденовки. Красиво, только непривычно — козырька нет, кокарда круглая... Нет, не забыл... Как налево? А зачем факел у вас? А электрик... ну да, допуск. Посветите, ступеньки крутые... Как у нас на посадочном модуле. Товарищ полковник, так здесь же ту...

Раздался щелчок, и два голоса, мужской и женский, вывели в унисон:

— ...зубах. Ах, песенку эту поныне хранит...

Возникла как бы короткая пауза.

— Трава молодая, — полувопросительно пропела женщина.

— Степной малахит, — подтвердил щедрый баритон.

Я выключил магнитофон. Мне было очень страшно. Я

вспомнил полковника в черной рясе со свистком и секундомером на груди. Никаких вопросов Митьку никто не задавал, а то, на что он отвечал, было негромким свистом, иногда прерывавшим его монолог.

Никто из наших не спросил меня о Митькѣ. Он, собственно, ни с кем кроме меня не дружил, только иногда играл с Отто в самодельные карты. Его койку уже унесли из нашего бокса, и только висящие на стене цветные вставки из «Работницы» с картинами Куинджи «Лунная ночь над Днепром» и «Хан Байконур» напоминали о том, что когда-то на свете жил такой Митьк. На занятиях все делали вид, что ничего не произошло; в особенности бодр и приветлив был полковник Урчагин.

Между тем наш небольшой отряд, как бы не заметивший потери бойца, уже допевал свое «Яблочко». Прямо об этом никто не говорил, но ясно было: скоро лететь. Несколько раз с нами встречался начальник полета и рассказывал, как он в дни войны сражался в отряде Ковпака; всех нас сфотографировали поодиночке, потом всех вместе, потом с преподавательским составом, у знамени. Наверху стали попадаться новые курсанты — их готовили отдельно от нас, а к чему — я точно не знал; говорили об отправке какого-то автоматического зонда к Альфе Микроцефала сразу после нашей экспедиции, но уверенности, что новые ребята и есть экипаж этого зонда, у меня не было.

В начале сентября, вечером, меня неожиданно вызвали к начальнику полета. Его не было в кабинете; адъютант в приемной, скучавший над старым «Ньюсуиком», сказал, что он в триста двадцать девятой комнате.

Из-за двери с цифрами «329» доносились голоса и что-то похожее на смех. Я постучал, но мне не ответили. Я постучал еще раз и повернул ручку.

Под потолком комнаты висела полоса табачного дыма, отчего-то напомнившая мне инверсионный след в летнем небе над Зарайским летным. К металлическому стулу в центре

комнаты за руки и за ноги был пристегнут маленький японец — то, что это японец, я понял по красному кругу в белом прямоугольнике на рукаве его летного комбинезона. Его губы были синими и распухшими, один глаз превратился в тоненькую шелку посреди багрового кровоподтека, а комбинезон был в пятнах крови — и совсем свежих, и бурых, высохших. Перед японцем стоял Ландратов в высоких сверкающих сапогах и парадной форме лейтенанта ВВС. У окна, опершись на стену и скрестив руки на груди, стоял невысокий молодой человек в штатском. За столом в углу сидел начальник полета — он рассеянно глядел сквозь японца и постукивал по столу тупым концом карандаша.

— Товарищ начальник полета! — начал было я, но он махнул рукой и стал собирать разложенные по столу бумаги в папку. Я перевел взгляд на Ландратова.

— Привет, — сказал он, протянул мне широкую ладонь и вдруг, совершенно неожиданно для меня, изо всех сил ударил японца сапогом в живот. Японец тихо захрипел.

— Не хочет, сука, в совместный экипаж! — удивленно округляя глаза и разводя руками, сказал Ландратов и, неестественно выворачивая ступни, отбил короткую присядку с двойным прихлопом по голенищам.

— Прекратить, Ландратов! — буркнул начальник полета, выходя из-за стола.

Из угла донеслось тихое, полное ненависти скуление; я поглядел туда и увидел собаку, сидящую на задних лапах перед темно-синим блюдечком с нарисованной ракетой. Это была очень старая лайка с совершенно красными глазами, но меня поразили не ее глаза, а покрывавший ее туловище светло-зеленый мундирчик с погонами генерал-майора и двумя орденами Ленина на груди.

— Знакомься, — поймав мой взгляд, сказал начальник полета. — Товарищ Лайка. Первый советский космонавт. Родители ее, кстати, наши с тобой коллеги. Тоже в органах работали, только на севере.

В руках у начальника полета появилась маленькая фляжка коньяку, из которой он налил в блюдце. Лайка вяло попыталась цапнуть его за руку, но промахнулась и опять тихо завывала.

— Она у нас шустрая. — Начальник полета улыбнулся. — Вот только срать где попало не надо бы. Ландратов, сходи за тряпкой.

Ландратов вышел.

— Йой о тэнки ни наримасита нэ, — с трудом разлепив губы, сказал японец. — Хана ва сакураги, хито ва фудзивара.

Начальник полета вопросительно повернулся к молодому человеку.

— Бредит, товарищ генерал-лейтенант, — сказал тот.

Начальник полета взял со стола свою папку.

— Идем, Омон.

Мы вышли в коридор, и он обнял меня за плечи. Ландратов с тряпкой в руке прошел мимо нас и, закрывая за собой дверь в триста двадцать девятую, подмигнул мне.

— Ландратов молодой еще, — задумчиво сказал начальник полета, — бесится. Но отличный летчик. Прирожденный.

Несколько метров мы прошли молча.

— Ну что, Омон, — сказал начальник полета, — послезавтра на Байконур. Вот оно.

Уже несколько месяцев я ждал этих слов, и все равно показалось, что в мое солнечное сплетение врезался снежок с тяжелой гайкой внутри.

— Твой позывной, как ты и просил, «Ра». Трудно было, — начальник полета многозначительно ткнул пальцем вверх, — но отстояли. Только ты там, — он ткнул пальцем вниз, — пока ничего не говори.

Я совершенно не помнил, чтобы когда-нибудь кого-нибудь просил о чем-то подобном.

Во время зачетного занятия на макете нашей ракеты я был просто зрителем — сдавали остальные ребята, а я сидел на лавке у стены и смотрел. Свой зачет я сдал за неделю до этого, во дворе, пройдя на полностью снаряженном луноходе восьмерку длиной в сто метров за шесть минут. Ребята уложились точно в норматив, и нас построили перед макетом, чтобы сделать прощальный снимок. Я не видел его, но отлично себе представляю, как он получился: впереди — Сема Аникин в ватнике, со следами машинного масла на руках и на лице; за ним — опирающийся на алюминиевую трость (от подземной сырости у него иногда ныли культы) Иван Гречко в длинном овчинном тулупе, со свисающей на грудь расстегнутой кислородной маской; за ним — в серебристом скафандре, утепленном в некоторых местах кусками байкового одея-

ла в желтых утятах, Отто Плущис — его шлем был откинут и напоминал задубевший на космическом морозе капюшон. Дальше — Дима Матюшевич в таком же скафандре, только куски одеяла не в утятах, а в простую зеленую полоску; последним из экипажа — я в курсантской форме. За мной, в электрическом своем кресле, — полковник Урчагин, а слева от него — начальник полета.

— А сейчас, по ставшей добрым обычаем традиции, — сказал начальник полета, когда фотограф закончил, — мы поднимемся на несколько минут на Красную площадь.

Мы прошли через зал и на секунду задержались у маленькой железной дверки — задержались, чтобы последний раз окинуть взором ракету, в точности подобную той, на которой нам предстояло вскоре взмыть в небо. Начальник полета открыл ключом со своей связки маленькую железную дверь в стене, и мы пошли по коридору, в который я раньше не попадал.

Мы довольно долго петляли между каменных стен, вдоль которых тянулись разноцветные провода; несколько раз коридор поворачивал, а его потолок иногда становился таким низким, что приходилось нагибаться. В одном месте я заметил неглубокую нишу, где лежали подвявшие цветы; рядом висела небольшая мемориальная доска со словами: *«Здесь в 1932 году был злодейски убит лопатой товарищ Сероб Налбандян»*. Потом под ногами появилась красная ковровая дорожка; коридор стал расширяться и наконец уперся в лестницу.

Лестница была очень длинная, а сбоку шла гладкая наклонная плоскость в метр шириной с узким рядом ступенек посередине — как для колясок в подземном переходе. Я понял, зачем это устроено, когда увидел, как начальник полета покатил вверх кресло с полковником Урчагиным. Когда он уставал, Урчагин вытягивал ручной тормоз, и они застывали, поэтому и остальные шли не слишком быстро, тем более что Ивану длинные лестницы давались с трудом. Наконец мы вышли к тяжелым дубовым дверям с разными гербами; начальник полета отпер замок своим ключом, но разбухшие от сырости створки раскрылись, только когда я сильно толкнул их плечом.

В нас ударил дневной свет; кто-то закрыл глаза ладонью, кто-то отвернулся — только полковник Урчагин сидел спокойно, с обычной полуулыбкой на лице. Когда мы привыкли к свету, оказалось, что мы стоим лицом к серым надгробьям перед Кремлевской стеной, и я догадался, что мы вышли



через черный ход Мавзолея. Я так давно не видел над собой открытого неба, что у меня закружилась голова.

— Все космонавты, — негромко заговорил начальник полета, — все, сколько их ни было в нашей стране, перед полетом приходили сюда, к священным для каждого советского человека камням и трибунам, чтобы взять частичку этого места с собою в космос. Огромный и трудный путь прошла наша страна — начиналось все с тачанок и пулеметов, а сейчас вы, ребята, работаете со сложнейшей автоматикой, — он сделал паузу и не мигая обвел холодным взглядом наши глаза, — которую вам доверила Родина и с которой мы с Бамлагом Ивановичем познакомили вас на лекциях. Я уверен, что в этот ваш последний проход по поверхности Родины вы тоже унесете с собою частичку Красной площади, хотя чем окажется эта частица для каждого из вас, я не знаю...

Мы молча стояли на поверхности родной планеты. Был день; небо чуточку хмурилось, и голубые ели качали своими лапами под ветром. Пахло какими-то цветами. Куранты начали бить пять; начальник полета, глянув на свои часы, подвел стрелки и сказал, что у нас есть еще несколько минут.

Мы вышли на ступени у передних дверей Мавзолея. Народу на Красной площади не было совсем, если не считать двух только что сменившихся часовых, которые никак не показали, что видят нас, и трех спин, удаляющихся в сторону Спасской башни. Я огляделся по сторонам, впитывая в себя все, что видел и чувствовал: серые стены ГУМа, пустые «овощи-фрукты» Василия Блаженного, Мавзолей Ленина, угадываемый за стеной краснознаменный зеленый купол, фронтон Исторического музея и серое, близкое и как бы отвернувшееся от земли небо, которое еще, быть может, не знало, что совсем скоро его прорвет железный пенис советской ракеты.

— Пора, — сказал начальник полета.

Наши медленно пошли назад за Мавзолей. Через минуту под словом «ЛЕНИН» остались только мы с полковником Урчагиным; начальник полета посмотрел на часы и кашлянул в кулак, но Урчагин сказал:

— Минуту, товарищ генерал-лейтенант. Хочу Омону два слова сказать.

Начальник полета кивнул и скрылся за полированным гранитным углом.

— Подойди ко мне, мой мальчик, — сказал полковник.

Я подошел. На брусчатку Красной площади упали первые крупные и редкие капли. Урчагин поискал в воздухе, и я протянул ему свою ладонь. Он взял ее, чуть сжал и дернул к себе. Я наклонился, и он стал шептать в мое ухо. Я слушал его и глядел, как темнеют ступени перед его коляской.

Товарищ Урчагин говорил минуты две, делая большие паузы. За молчал, он еще раз пожал мою ладонь и отнял руку.

— Теперь иди к остальным, — сказал он.

Я сделал было шаг к люку, но обернулся.

— А вы?

Дождевые капли все чаще били вокруг.

— Ничего, — сказал он, доставая зонт из похожего на кобуру чехла на боку кресла. — Я покатаюсь тут.

И вот что я унес с предвечерней Красной площади — потемневшую брусчатку и худенькую фигуру в старом кителе, сидящую в инвалидном кресле и раскрывающую непослушный черный зонт.

Обед был довольно невкусный: суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот; обычно, допив компот, я съедал все разваренные сухофрукты, но в этот раз съел почему-то только сморщенную горькую грушу, а дальше почувствовал тошноту и даже отпихнул тарелку.

Вроде бы я плыл на водном велосипеде по густым камышам, из которых торчали огромные телеграфные столбы; велосипед был странный — не такой, как обычно, с педалями перед сиденьем, а как бы переделанный из наземного: между двух толстых и длинных поплавков была установлена рама со словом «Спорт». Совершенно было непонятно, откуда взялись все эти камыши, водный велосипед да и я сам. Но меня это не очень волновало. Вокруг была такая красота, что хотелось плыть и плыть дальше, и смотреть, и, наверное, ничего другого не захотелось бы долго. Особенно красивым было небо — над горизонтом стояли узкие и длинные сиреневые облака, похожие на звено стратегических бомбардировщиков. Было тепло; чуть слышно плескалась вода под винтом, и с запада доносилось эхо далекого грома.

Потом я понял, что это не гром. Просто через равные промежутки времени не то во мне, не то вокруг меня все сотрясалось, после чего у меня в голове начинало гудеть. От каждого такого удара все окружающее — река, камыши, небо над головой — как бы изнашивалось. Мир делался знакомым до мельчайших подробностей, как дверь сортира изнутри, и происходило это очень быстро, пока я вдруг не заметил, что вместе со своим велосипедом нахожусь уже не среди камышей, и не на воде, и даже не под небом, а внутри прозрачного шара, который отделил меня от всего вокруг. Каждый удар заставлял стены шара становиться прочнее и толще; через них просачивалось все меньше и меньше света, пока не стало совсем темно. Тогда вместо неба над головой появился потолок, зажглось тусклое электричество, и стены начали менять свою форму, приближаясь ко мне вплотную, выгибаясь и образуя

какие-то полки, заставленные стаканами, банками и чем-то еще. И тогда ритмичное содрогание мира стало тем, чем оно было с самого начала, — телефонным звонком.

Я сидел внутри лунохода в седле, сжимая руль и пригнувшись к самой раме; на мне были летный ватник, ушанка и унты; на шею, как шарф, была накинута кислородная маска. Звонила привинченная к полу зеленая коробка радио. Я снял трубку.

— Ну ты, ё... твою мать, пидарас сраный! — надрывным страданием взорвался в моем ухе чудовищный бас. — Ты что там, х...й драчишь?

— Кто это?

— Начальник ЦУПа полковник Халмурадов. Проснулся?

— А?

— Х...й на. Минутная готовность!

— Есть минутная готовность! — крикнул я в ответ, от ужаса до крови укусил себя за губу и свободной рукой вцепился в руль.

— Коз-зел, — выдохнула трубка неразборчиво и заквакала — видно, тот, кто кричал на меня, говорил теперь с другими, отведя трубку от лица. Потом в трубке что-то бикнуло и послышался другой голос, говорящий безлично и механически, но с сильным украинским акцентом:

— Пятьдесят девять... пятьдесят осемь...

Я был в том состоянии стыда и шока, когда человек начинает громко стонать или выкрикивать неприличные слова; мысль о том, что я чуть было не сделал что-то непоправимое, заслонила все остальное. Следя за взрывающимися у меня в ухе цифрами, я попытался вспомнить происшедшее и осознал, что вроде бы не совершил ничего страшного. Я помнил только, как оторвал ото рта стакан с компотом и отодвинулся от стола — мне вдруг расхотелось есть. А следующее, что я понял, — это что звонит телефон и надо взять трубку.

— Тридцать три...

Я заметил, что луноход полностью снаряжен. Полки, раньше пустые, теперь были плотно заставлены — на нижней блестящей вазелином банки с китайской тушенкой «Великая стена», на верхней лежал планшет, кружка, консервный нож и кобура с пистолетом; все это было перехвачено контрольной проволокой. В мое левое бедро упирался кислородный баллон с надписью «Огнеопасно», а в правое — алюминиевый бидон; в нем отражалась горящая на стене маленькая лампа, под

которой висела карта Луны с двумя черными точками, нижняя из которых была подписана — «Место посадки». Рядом с картой на нитке висел красный фломастер.

— Шестнадцать...

За двумя глазками была полная тьма — как и следовало ожидать, понял я, раз луноход закрыт колпаком обтекателя.

— Девять... Уосемь...

«Секунды предстартового отсчета, — вспомнил я слова товарища Урчагина, — что это, как не помноженный на миллион телевизоров голос истории?»

— Три... Два... Один... Зажигание.

Где-то далеко внизу послышался гул и грохот, с каждой секундой он становился громче и скоро перерос все мыслимые пределы — словно сотни молотов били в железный корпус ракеты. Потом началась тряска, и я несколько раз ударился головой о стену перед собой — если б не ушанка, я бы, наверно, вышиб себе мозги. Несколько банок тушенки полетело на пол, потом качнуло так, что я подумал о катастрофе, — а в следующий момент в трубке, которую я все еще продолжал прижимать к уху, раздалось далекое:

— Омон! Летишь!

— Поехали! — крикнул я. Грохот превратился в ровный и мощный гул, а тряска — в вибрацию наподобие той, что испытываешь в разогнавшемся поезде. Я положил трубку на рычаг, и телефон сразу же зазвонил снова.

— Омон, ты в порядке?

Это был голос Семы Умыгина, накладывающийся на монотонно произносимую информацию о начальном участке полета.

— В порядке, — сказал я, — а почему это мы вдруг... Хотя да...

— Мы думали, пуск отменят, так ты спал крепко. Момент-то ведь точно рассчитан. От этого траектория зависит. Даже солдата послали по мачте залезть, он по обтекателю сапогом бил, чтоб ты проснулся. По связи тебя без конца вызывали.

— Ага.

Несколько секунд мы молчали.

— Слушай, — опять заговорил Сема, — мне ведь четыре минуты осталось всего, даже меньше. Потом ступень отцеплять. Мы уж все друг с другом попрощались, а с тобой... Ведь не поговорим никогда больше.

Никаких подходящих слов не пришло мне в голову, и единственное, что я ощутил, — это неловкость и тоску.

— Омон! — опять позвал Сема.

— Да, Сема, — сказал я, — я тебя слышу. Летим, понимаешь.

— Да, — сказал он.

— Ну ты как? — спросил я, чувствуя бессмысленность и даже оскорбительность своего вопроса.

— Я нормально. А ты?

— Тоже. Ты чего видишь-то?

— Ничего. Тут все закрыто. Шум страшный. И трясет очень.

— Меня тоже, — сказал я и замолчал.

— Ладно, — сказал Сема, — мне пора уже. Ты знаешь что? Ты, когда на Луну прилетишь, вспомни обо мне, ладно?

— Конечно, — сказал я.

— Вспомни просто, что был такой Сема. Первая ступень. Обещаешь?

— Обещаю.

— Ты обязательно должен долететь и все сделать, слышишь?

— Да.

— Пора. Прощай.

— Прощай, Сема.

В трубке несколько раз стукнуло, а потом сквозь треск помех и рев двигателей долетел Семин голос — он громко пел свою любимую песню.

— А-а, в Африке реки вот такой ширины... А-а, в Африке горы вот такой вышины. А-а, крокодилы-бегемоты. А-а, обезьяны-кашалоты. А-а... А-а-а-а...

На «кашалотах» что-то затрещало, словно разрывали кусок брезента, и почти сразу в трубке раздались короткие гудки, но за секунду до этого — если мне не показалось — Семин песня стала криком. Меня опять потряхнуло, ударило спиной о потолок, и я выронил трубку. По тому, как изменился рев двигателей, я догадался, что заработала вторая ступень. Наверно, самым страшным для Семы было включать двигатель. Я представил себе, что это такое — разбив стекло предохранителя, нажать на красную кнопку, зная, что через секунду оживут огромные зияющие воронки дюз. Потом я вспомнил о Ване, схватил трубку снова, но в ней были гудки. Я несколько раз ударил по рычагу и крикнул:

— Ваня! Ваня! Ты меня слышишь?

— Чего? — спросил наконец его голос.

— Сема-то...

— Да, — сказал он, — я слышал все.

— А тебе скоро?

— Через семь минут, — сказал он. — Знаешь, о чем я сейчас думаю?

— О чем?

— Да вот что-то детство вспомнилось. Помню, как я голубей ловил. Брали мы, знаешь, такой небольшой деревянный ящик, типа от болгарских помидоров, сыпали под него хлебную крошку и ставили на ребро, а под один борт подставляли палку с привязанной веревкой метров так в десять. Сами прятались в кустах или за лавкой, а когда голубь заходил под ящик, дергали веревку. Ящик тогда падал.

— Точно, — сказал я, — мы тоже.

— А помнишь, когда ящик падает, голубь сразу хочет смыться и бьет крыльями по стенкам — ящик даже подпрыгивает.

— Помню, — сказал я.

Ваня замолчал.

Между тем стало уже довольно холодно. Да и дышать было труднее — после каждого движения хотелось отдышаться, как после долгого бега вверх по лестнице. Чтобы сделать вдох, я стал подносить к лицу кислородную маску.

— А еще помню, — сказал Ваня, — как мы гильзы взрывали с серой от спичек. Набьешь, заплющишь, а в боку должна быть такая маленькая дырочка — и вот к ней прикладываешь несколько спичек в ряд...

— Космонавт Гречка, — раздался вдруг в трубке разбудивший и обругавший меня перед стартом бас, — приготовиться.

— Есть, — вяло ответил Ваня. — А потом приматываешь ниткой или, еще лучше, изолентой, потому что нитка иногда сбивается. Если хочешь из окна кинуть, этажа так с седьмого, и чтоб на высоте взорвалось, то нужно четыре спички. И...

— Отставить разговоры, — сказал бас. — Надеть кислородную маску.

— Есть. По крайней надо не чиркать коробкой, а зажигать лучше всего от окурка. А то они сбиваются от дырочки.

Больше я ничего не слышал — только обычный треск помех. Потом меня опять стукнуло о стену, и в трубке раздались короткие гудки. Заработала третья ступень. То, что мой

друг Ваня только что — так же скромно и просто, как и все, что он делал, — ушел из жизни на высоте сорока пяти километров, не доходило до меня. Я не чувствовал горя, а, наоборот, испытывал странный подъем и эйфорию.

Я вдруг заметил, что теряю сознание. То есть я заметил не то, как я его теряю, а то, как я в него прихожу. Только что я вроде бы держал у уха трубку — и вот она уже лежит на полу; у меня звенит в ушах, и я оступело гляжу на нее из своего задранного под потолок седла. Только что кислородная маска, как шарф, была перекинута через мою шею — и вот я мотаю головой, силясь прийти в себя, а она лежит на полу рядом с телефонной трубкой. Я понял, что мне не хватает кислорода, дотянулся до маски и прижал ее ко рту — сразу же стало легче, и я почувствовал, что сильно замерз. Я застегнул ватник на все пуговицы, поднял воротник и опустил уши ушанки. Ракету чуть трясло. Мне захотелось спать, и хотя я знал, что этого не стоит делать, перебороть себя я не сумел, — сложив руки на руле, я закрыл глаза.

Мне приснилась Луна — такая, как ее рисовал в детстве Митёк: черное небо, бледно-желтые кратеры и гряда далеких гор. Вытянув перед мордой передние лапы, к пылающему над горизонтом шару Солнца медленно и плавно шел медведь со звездой героя на груди и засохшей струйкой крови в углу страдальчески оскаленной пасти. Вдруг он остановился и повернул морду в мою сторону. Я почувствовал, что он смотрит на меня, поднял голову и взглянул в его остановившиеся голубые глаза.

— И я, и весь этот мир — всего лишь чья-то мысль, — тихо сказал медведь.

Я проснулся. Вокруг было очень тихо. Видно, какая-то часть моего сознания сохраняла связь с внешним миром, и наступившая тишина подействовала на меня как звонок будильника. Я наклонился к глазкам в стене. Оказалось, что обтекатель уже отделился — передо мной была Земля.

Я стал соображать, сколько же я спал, — и не смог прийти ни к какому определенному выводу. Наверно, не меньше нескольких часов: мне уже хотелось есть, и я стал шарить на верхней полке — я вроде бы видел на ней консервный нож. Но его там не было. Я решил, что он свалился на пол от тряски, и принялся оглядываться, и в этот момент зазвонил телефон.

— Алло!



— Ра, прием. Омон! Ты меня слышишь?

— Так точно, товарищ начальник полета.

— Ну, вроде нормально все. Был один момент тяжелый, когда телеметрия отказала. Не то что отказала, понимаешь, а просто параллельно включили другую систему, и телеметрия не пошла. Контроль даже на несколько минут отменили. Это когда воздуха стало не хватать, помнишь?

Говорил он странно, возбужденно и быстро. Я решил, что он сильно нервничает, хоть и мелькнула догадка, что он пьян.

— А ты, Омон, перепугал всех. Так спал крепко, что чуть запуск не отложили.

— Виноват, товарищ начальник полета.

— Ничего, ничего. Ты и не виноват. Это тебе снотворного много дали перед Байконуром. Пока все отлично идет.

— Где я сейчас?

— Уже на рабочей траектории. К Луне летишь. А ты что, разгон с орбиты спутника тоже проспал?

— Выходит, проспал. А что, Отто уже все?

— Отто уже все. Разве не видишь, обтекатель-то отделился. Но пришлось тебе два лишних витка сделать. Отто запаниковал сначала. Никак ракетный блок включать не хотел. Мы уж думали, струсил. Но потом собрался парень, и... В общем, тебе от него привет.

— А Дима?

— А что Дима? С Димой все в порядке. Автоматика прилунения на инерционном участке не работает. А, хотя у него еще коррекция... Матюшевич, ты нас слышишь?

— Так точно, — услышал я в трубке Димин голос.

— Отдыхай пока, — сказал начальник полета. — Связь завтра в пятнадцать дня, потом коррекция траектории. Отбой.

Я положил трубку и прижался к глазкам, глядя на голубой полукруг Земли. Я часто читал, что всех без исключения космонавтов поражал вид нашей планеты из космоса. Писали о какой-то сказочно красивой дымке, о том, что сияющие электричеством города на ночной стороне напоминают огромные костры, а на дневной стороне видны даже реки, — так вот, все это неправда. Больше всего Земля из космоса напоминает небольшой школьный глобус, если смотреть на него, скажем, через запотевшие стекла противогаза. Это зрелище быстро мне надоело; я поудобнее оперся головой на руки и заснул опять.

Когда я проснулся, Земли уже не было видно. В глазках мерцали только размытые оптикой точки звезд, далекие и недостижимые. Я представил себе бытие огромного раскаленного шара, висящего, не опираясь ни на что, в ледяной пустоте, во многих миллиардах километров от соседних звезд, крохотных сверкающих точек, про которые известно только то, что они существуют, да и то не наверняка, потому что звезда может погибнуть, но ее свет еще долго будет нестись во все стороны, и, значит, на самом деле про звезды не известно ничего, кроме того, что их жизнь страшна и бессмысленна, раз все их перемещения в пространстве навечно predeterminedены и подчиняются механическим законам, не оставляющим никакой надежды на нечаянную встречу. Но ведь и мы, люди, думал я, вроде бы встречаемся, хохочем, хлопаем друг друга по плечам и расходимся, но в некоем особом измерении, куда иногда испуганно заглядывает наше сознание, мы так же неподвижно висим в пустоте, где нет верха и низа, вчера и завтра, нет надежды приблизиться друг к другу или хоть как-то проявить свою волю и изменить судьбу; мы судим о происходящем с другими по долетающему до нас обманчивому мерцанию и идем всю жизнь навстречу тому, что считаем светом, хотя его источника может уже давно не существовать. И вот еще, думал я, всю свою жизнь я шел к тому, чтобы взмыть над толпами рабочих и крестьян, военнослужащих и творческой интеллигенции, и вот теперь, повиснув в сверкающей черноте на невидимых нитях судьбы и траектории, я увидел, что стать небесным телом — это примерно то же самое, что получить пожизненный срок с отсидкой в тюремном вагоне, который безостановочно едет по окружной железной дороге.

Мы летели со скоростью двух с половиной километров в секунду, и инерционная часть полета заняла около трех суток, но у меня осталось чувство, что я летел не меньше недели. Наверно, потому, что Солнце несколько раз в сутки проходило перед глазками, и каждый раз я любовался восходом и закатом небывалой красоты.

От огромной ракеты теперь оставался только лунный модуль, состоявший из ступени коррекции и торможения, где сидел Дима Матюшевич, и спускаемого аппарата, то есть попросту лунохода на платформе. Чтоб не тратить лишнее горючее, обтекатель отстрелился еще перед разгоном с орбиты спутника, и за бортом лунохода теперь был открытый космос. Лунный модуль летел как бы задом наперед, развернувшись главной дюзой к Луне, и постепенно в моем сознании с ним произошло примерно то же, что с прохладным лубянским лифтом, превратившимся из механизма для спуска под землю в приспособление для подъема на ее поверхность. Сначала лунный модуль все выше и выше поднимался над Землей, а потом постепенно выяснилось, что он падает на Луну. Но была и разница. В лифте я и опускался и поднимался головой вверх. А прочь с земной орбиты я понесся головой вниз; только потом, примерно через сутки полета, оказалось, что я, уже головой вверх, все быстрее и быстрее проваливаюсь в черный колодец, вцепившись в руль велосипеда и ожидая, когда его несуществующие колеса беззвучно врежутся в Луну.

У меня хватало времени на все эти мысли потому, что мне ничего пока не надо было делать. Мне часто хотелось поговорить с Димой, но он все время был занят многочисленными и сложными операциями по коррекции траектории. Иногда я

брал трубку и слышал его непонятные отрывистые переговоры с инженерами из ЦУПа:

— Сорок три градуса... Пятьдесят семь... Тангаж... Рысканье...

Некоторое время я все это слушал, потом отключался. Как я понял, главной Диминой задачей было поймать в один оптический прибор Солнце, в другой — Луну, что-то замерить и передать результат на Землю, где должны были сверить реальную траекторию с расчетной и вычислить длительность корректирующего импульса двигателей. Судя по тому, что несколько раз меня сильно дергало в седле, Дима справлялся со своей задачей.

Когда толчки прекратились, я подождал с полчаса, снял трубку и позвал:

— Дима! Алло!

— Слушаю, — ответил он своим обычным суховатым тоном.

— Ну чего, скорректировал траекторию?

— Вроде да.

— Тяжело было?

— Нормально, — ответил он.

— Слушай, — заговорил я, — а где это ты так наблатыкался? С этими градусами? У нас ведь на занятиях этого не было.

— Я два года в ракетных стратегических служил, — сказал он, — там система наведения похожая, только по звездам. И без радиосвязи — сам все считаешь на калькуляторе. Ошибешься — п...дец.

— А если не ошибешься?

Дима промолчал.

— А кем ты служил?

— Оперативным дежурным. Потом стратегическим.

— А что это значит?

— Ничего особенного. Если в оперативно-тактической ракете сидишь — оперативный. А если в стратегической — тогда стратегический дежурный.

— Тяжело?

— Нормально. Как сторожем на гражданке. Сутки в ракете дежуришь, трое отдыхаешь.

— Так вот почему ты седой... У вас там все седые, да?

Дима опять промолчал.

— Это от ответственности, да?

— Да нет. Скорее от учебных пусков, — неохотно ответил он.

— От каких учебных пусков? А, это когда в «Известиях» на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом океане не заплывали в какой-то квадрат, да?

— Да.

— И часто такие пуски?

— Когда как. Но спичку каждый месяц тянешь. Двенадцать раз в год, вся эскадрилья — двадцать пять человек. Вот и седеют ребята.

— А если тянуть не захочешь?

— Это только так называется, что тянешь. На самом деле перед учебным пуском замполит всех обходит и каждому по конверту дает. Там твоя спичка уже лежит.

— А что, если там короткая, отказаться нельзя?

— Во-первых, не короткая, а длинная. А во-вторых, нельзя. Можно только заявление написать в отряд космонавтов. Но это сильно повезти должно.

— И многим везет?

— Не считал. Мне вот повезло.

Дима отвечал неохотно и часто делал довольно невежливые паузы. Я не нашелся, что еще спросить, и положил трубку.

Следующую попытку поговорить с ним я сделал, когда до торможения оставалось несколько минут. Стыдно признаться, но мною владело бесчувственное любопытство — изменится ли Дима перед... Словом, я хотел проверить, будет ли он так же сдержан, как и во время нашего прошлого разговора, или близкое завершение полета сделает его чуть более разговорчивым. Я снял трубку и позвал:

— Дима! Это Омон говорит. Возьми трубку.

Я услышал в ответ:

— Слушай, перезвони через две минуты! У тебя радио работает? Включи скорей!

Дима бросил трубку. Его голос был взволнованным, и я решил, что по радио передают что-то про нас. Но «Маяк» передавал музыку — включив его, я услышал затихающее дребезжание синтезатора; программа уже кончалась, и через несколько секунд наступила тишина. Потом пошли сигналы точного времени, и я узнал, что в какой-то Москве четырнадцать каких-то часов. Прождав еще немного, я взял трубку.

— Слышал? — взволнованно спросил Дима.

— Слышал, — сказал я. — Но только самый конец.

— Узнал?

— Нет, — сказал я.

— Это Пинк Флойд был. «One of These Days».

— Неужто трудящиеся попросили? — удивился я.

— Да нет, — сказал Дима. — Это заставка к программе «Жизнь науки». С пластинки «Meddle». Чистый андеграунд.

— А ты что, Пинк Флойд любишь?

— Я-то? Очень. Они у меня все собраны были. А ты к ним как относишься?

Первый раз я слышал, чтобы Дима говорил таким живым голосом.

— В общем ничего, — сказал я. — Но только не все. Вот есть у них такая пластинка, корова на обложке нарисована.

— «Atom Heart Mother», — сказал Дима.

— Эта мне нравится. А вот еще другую помню — двойную, где они во дворе сидят, и на стене картина с этим же двором, где они сидят...

— «Ummagumma».

— Может быть. Так это, по-моему, вообще не музыка.

— Правильно! Говно, а не музыка! — рявкнул в трубке чей-то голос, и мы на несколько секунд замолчали.

— Не скажи, — заговорил наконец Дима, — не скажи. Там в конце новая запись «Sauciful of Secrets». Тембр другой, чем на «Nice Pair». И вокал. Гилмор поет.

Этого я не помнил.

— А что тебе на «Atom Heart Mother» нравится? — спросил Дима.

— Знаешь, на второй стороне две таких песни есть. Одна тихая, под гитару. А вторая с оркестром. Очень красивый проигрыш. Там та-та-та-та-та-та-та там-тарам тра-та-та...

— Знаю, — сказал Дима. — «Summer Sixty Eight». А тихая — это «If».

— Может быть, — сказал я. — А у тебя какая пластинка любимая?

— У меня, знаешь ли, любимой пластинки нет, — надменно сказал Дима. — Мне не пластинки нравятся, а музыка. Вот с «Meddle», например, нравится первая. Про эхо. Я даже без слез слушать не могу. Со словарем переводил. Аль-ба-трос над го-ло-вой, па-ра-рам, па-рам со мной... And help me understand the best I can...

Дима сглотнул и замолчал.

— А ты хорошо английский знаешь, — сказал я.

— Да, мне в ракетной части уже говорили. Замполит говорил. Не в этом дело. Я одной пластинки так и не нашел. В последний отпуск специально в Москву ездил, четыреста рублей брал. Толкался, толкался — никто про нее не слышал даже.

— А что за пластинка?

— Да ты не знаешь. Музыка к фильму. Называется «Забриски поинт». Зи-эй-би-ар-ай-эс-кей-ай-и. «Zabriskie Point».

— А, — сказал я. — Да она была у меня. Не пластинка только, а запись на катушке. Ничего особенного... Дим, ты чего замолчал? Эй, Дима!

В трубке долго что-то потрескивало, потом Дима спросил:

— На что она похожа?

— Да как объяснить, — задумался я. — Вот ты «Морэ» слышал?

— Ну. Только не «Морэ», а «Могэ».

— Вот примерно такая же. Только там не поют. Обычный саундтрек. Можешь считать, если «Морэ» слышал, то ее тоже слышал. Типичные Пинки — саксофон, синтезатор. Вторая сто...

В трубке бикнуло, и мою черепную коробку заполнил рев Халмурадова:

— Ра, прием! Вы что там, блядь, базарите? Дел мало? Подготовить автоматику к мягкой посадке!

— Да готова автоматика! — с досадой ответил Дима.

— Тогда начать ориентацию оси тормозного двигателя по лунной вертикали!

— Ладно.

Я выглянул сквозь глазки лунохода в космос и увидел Луну. Она была уже совсем рядом — картина перед моими глазами напоминала бы петлюровский флаг, если бы ее верхняя часть была не черной, а синей. Зазвонил телефон. Я взял трубку, но это опять оказался Халмурадов.

— Внимание! По счету три включить тормозной двигатель по команде от радиовысотомера!

— Понял, — ответил Дима.

— Раз... Два...

Я бросил трубку.

Включился двигатель. Он работал с перерывами, а минут через двадцать меня вдруг ударило плечом в стену, потом спиной в потолок, и все вокруг затряслось от невыносимого грохота; я понял, что Дима ушел в бессмертие, не попросившись. Но я не испытал обиды — если не считать нашего по-

следнего разговора, он всегда был молчалив и неприветлив, да и мне почему-то казалось, что, сутками сидя в гондоле своей межконтинентальной баллистической, он понял что-то особенное, такое, что навсегда лишило его необходимости здороваться и прощаться.

Момента посадки я не заметил. Тряска и грохот внезапно кончились, и, выглянув в глазки, я увидел такую же тьму, как перед стартом. Сначала я подумал, что произошло что-то неожиданное, но потом вспомнил, что по плану я и должен был приземлиться лунной ночью.

Некоторое время я ждал, сам не зная чего, и вдруг зазвонил телефон.

— Халмурадов, — сказал голос. — Все в порядке?

— Так точно, товарищ полковник.

— Сейчас телеметрия сработает, — сказал он, — опустятся направляющие. Съедешь на поверхность и доложишь. Только подтормаживай, понял?

И добавил тише, отведя трубку ото рта:

— Ан-де-храунд. Вот ведь блядь какая.

Луноход качнуло, и снаружи донесся глухой удар.

— Вперед, — сказал Халмурадов.

Это была, наверно, самая тяжелая часть моей задачи — нужно было съехать со спускаемого аппарата по двум узким направляющим, которые откидывались на лунную поверхность. На направляющих были специальные пазы, в которые входили реборды колес лунохода, поэтому соскользнуть с них было невозможно, но оставалась опасность, что одна из направляющих попадет на какой-нибудь камень, и тогда луноход, съезжая на грунт, мог накрениться и перевернуться. Я несколько раз повернул педали и почувствовал, что массивная машина наклонилась вперед и едет сама. Я нажал на тормоз, но инерция оказалась сильнее, и луноход поволокло вниз; вдруг что-то лязгнуло, тормоз сорвался, и мои ноги несколько раз со страшной скоростью провернули педали назад; луноход неудержимо покатился вперед, качнулся и встал ровно, на все восемь колес.

Я был на Луне. Но никаких эмоций по этому поводу я не испытал; думал я о том, как мне поставить на место слетевшую цепь. Когда мне это наконец удалось, зазвонил телефон. Это был начальник полета. Его голос был официальным и торжественным.



— Товарищ Кривомазов! От имени всего летно-командного состава, присутствующего сейчас в ГлавЦУПе, поздравляю вас с мягкой посадкой советской автоматической станции «Луна-17Б» на Луну!

Послышались хлопки, и я понял, что открывают шампанское. Долетела музыка — это был какой-то марш; он был еле слышен, и его почти забивал раздававшийся в трубке треск.

Мои детские мечты о будущем родились из легкой грусти, свойственной тем отделенным от остальной жизни вечерам, когда лежишь в траве у остатков чужого костра, рядом валяется велосипед, на западе еще расплываются лиловые полосы от только что зашедшего солнца, а на востоке уже видны первые звезды.

Я мало что видел и испытал, но мне многое нравилось, и я считал, что полет на Луну вберет в себя все, мимо чего я проходил, надеясь встретить это потом, окончательно и навсегда; откуда мне было знать, что самое лучшее в жизни каждый раз видишь как бы краем глаза? В детстве я часто представлял себе вземные пейзажи — залитые мертвенным светом, изрытые кратерами каменные равнины; далекие острые горы, черное небо, на котором огромной головней пылает солнце и блещут звезды; я представлял себе многометровые толщи космической пыли, представлял камни, неподвижно лежащие на лунной поверхности многие миллиарды лет, — почему-то меня очень впечатляла мысль о том, что камень может неподвижно пролежать на одном и том же месте столько времени, а я вдруг нагнусь и возьму его толстыми пальцами скафандра. Я думал о том, как увижу, подняв голову, голубой шар Земли, похожий на чуть искаженный заплаканными стеклами противогаза школьный глобус, и эта высшая в моей жизни секунда свяжет меня со всеми теми моментами, когда мне казалось, что я стою на пороге чего-то непостижимого и чудесного.

На самом деле Луна оказалась крохотным пространством, черным и душным, где только изредка загоралось тусклое электричество; она оказалась неизменной тьмой за бесполезными

линзами глазков и беспокойным неудобным сном в скорченном положении, с головой, упертой в лежащие на руле руки.

Двигался я медленно, километров по пять в день, и совершенно не представлял, как выглядит окружающий меня мир. Хотя, наверно, это царство вечной тьмы не выглядело вообще никак — кроме меня, здесь не было людей, для которых что-то может как-то выглядеть, а фару я не включал, чтобы не сажать аккумулятор. Грунт подо мною был, по-видимому, ровной плоскостью — машина ехала гладко. Но руль нельзя было повернуть совсем — очевидно, его заклинило при посадке, так что мне оставалось только крутить педали. Страшно неудобным для пользования был туалет — настолько, что я предпочитал терпеть до последнего, как когда-то во время детсадовского тихого часа. Но все же мой путь в космос был так долог, что я не позволял мрачным мыслям овладевать собою и даже был счастлив.

Проходили часы и сутки; я останавливался только для того, чтобы уронить голову на руль и заснуть. Тушенка медленно подходила к концу, воды в бидоне оставалось все меньше; каждый вечер я на сантиметр удлинял красную линию на карте, висящей перед моими глазами, и она все ближе подходила к маленькому черному кружку, за которым ее уже не должно было быть. Кружок был похож на обозначение станции метро; меня очень раздражало, что он никак не называется, и я написал рядом: «Zabriskie Point».

Правой рукой сжимая в кармане ватника никелированный шарик, я уже час вглядывался в этикетку с надписью «Великая стена». Мне чудились теплые ветры над полями далекого Китая, и нудно звенящий на полу телефон мало меня интересовал, но все же через некоторое время я взял трубку.

— Ра, прием! Почему не отвечаешь? Почему свет горит? Почему стоим? Я же тут все вижу по телеметрии.

— Отдыхаю. товарищ начальник полета.

— Доложи показания счетчика!

Я поглядел на маленький стальной цилиндр с цифрами в окошке.

— Тридцать два километра семьсот метров.

— Теперь погаси свет и слушай. Мы тут по карте смотрим — ты сейчас как раз подъезжаешь.

У меня екнуло в груди, хотя я знал, что до черного кружка, который дулом глядел на меня с карты, еще далеко.

— Куда?

— К посадочному модулю «Луны-17Б».

— Так ведь это я «Луна-17Б», — сказал я.

— Ну и что. Они тоже.

Кажется, он опять был пьян. Но я понимал, о чем он говорит. Это была экспедиция по доставке лунного грунта; на Луну тогда спустились двое космонавтов, Пасюк Драч и Зураб Парцвания. У них с собой была небольшая ракета, в которой они запустили на Землю пятьсот граммов грунта; после этого они прожили на лунной поверхности полторы минуты и застрелились.

— Внимание, Омон! — заговорил начальник полета. — Сейчас будь внимателен. Сбрось скорость и включи фары.

Я щелкнул тумблером и припал к черным линзам глазков. Из-за оптических искажений казалось, что чернота вокруг лунохода смыкается в свод и уходит вперед бесконечным туннелем. Я ясно различал только небольшой участок каменной поверхности, неровной и шероховатой, — это, видимо, был древний базальт; через каждые метр-полтора перпендикулярно линии моего движения над грунтом поднимались невысокие продолговатые выступы, напоминающие барханы в пустыне; странным было то, что они совершенно не ощущались при движении.

— Ну? — раздалось в трубке.

— Ничего не заметно, — сказал я.

— Выключи фары и вперед. Не спеши.

Я ехал еще минут сорок. Потом луноход на что-то нацкнулся. Я взял трубку.

— Земля, прием. Тут что-то есть.

— Включить фары.

Прямо в центре поля моего зрения лежали две руки в черных кожаных перчатках; растопыренные пальцы правой накрывали рукоять совка, в котором еще оставалось немного песка, перемешанного с мелкими камнями, а в левой был сжат тускло поблескивающий «макаров». Между руками виднелось что-то темное. Приглядевшись, я различил поднятый ворот офицерского ватника и торчащий над ним верх ушанки; плечо и часть головы лежащего были закрыты колесом лунохода.

— Ну, чего, Омон? — выдохнула мне в ухо трубка.

Я коротко описал то, что было перед моими глазами.

— А погоны, погоны какие?

— Не видно.

— Отъедь назад на полметра.

— Луноход назад не ездит, — сказал я. — Ножной тормоз.

— А-ах ты... Говорил ведь главному конструктору, — проворчал начальник полета. — Как говорится, знал бы, где упаду, — сенца бы подбросил. Я вот думаю, кто это — Зура или Паша. Зура капитан был, а Паша — майор. Ладно, выключай фары, аккумуляторы посадишь.

— Есть, — сказал я, но перед тем как выполнить приказ, еще раз поглядел на неподвижную руку и войлочный верх ушанки. Некоторое время я не мог тронуться с места, но потом сжал зубы и всем весом надавил на педаль. Луноход дернулся вверх, а через секунду вниз.

— Вперед, — сказал сменивший начальника полета Халмуратов. — Выходишь из графика.

Я экономил энергию и проводил почти все время в полной темноте, иступленно вращая педали и включая свет только на несколько секунд, чтобы свериться с компасом, хоть это и не имело никакого смысла, потому что руль все равно не работал. Но так приказывала Земля. Сложно описать это ощущение: тьма, жаркое тесное пространство, капающий со лба пот, легкое покачивание — наверно, что-то похожее испытывает плод в материнской утробе.

Я осознавал, что я на Луне. Но огромное расстояние, которое отделяло меня от Земли, было для меня чистой абстракцией. Мне казалось, что люди, с которыми я говорю по телефону, находятся где-то рядом — не потому, что их голоса в трубке были хорошо слышны, а потому, что я не представлял, как связывающие нас служебные отношения и личные чувства — нечто совершенно нематериальное — могли растянуться на несколько сот тысяч километров. Но самым странным было то, что на это же немыслимое расстояние удлинились и воспоминания, связывающие меня с детством.

Когда я учился в школе, я обычно коротал лето в подмосковной деревне, стоявшей на обочине шоссе. Большую часть своего времени я проводил в седле велосипеда и за день иногда проезжал километров по тридцать-сорок. Велосипед был

плохо отрегулирован: руль был слишком низким, и мне приходилось сильно сгибаться над ним — так, как в луноходе. И вот теперь, из-за того, наверно, что мое тело надолго приняло эту же позу, со мной стали случаться легкие галлюцинации. Я как-то забывался, засыпал наяву — в темноте это было особенно просто, — и мне чудилось, что я вижу под собой тень на уносящемся назад асфальте, вижу белый разделительный пунктир в центре шоссе и вдыхаю пахнувший бензиновым перегаром воздух. Мне начинало казаться, что я слышу рев проносящихся мимо грузовиков и шуршание шин об асфальт, и только очередной сеанс связи приводил меня в чувство. Но потом я снова выпадал из лунной реальности, переносился на подмосковное шоссе и понимал, как много для меня значили проведенные там часы.

Однажды на связь со мной вышел товарищ Кондратьев и начал декламировать стихи про Луну. Я не знал, как вежливей попросить его остановиться, но вдруг он стал читать стихотворение, которое с первых строк показалось мне фотографией моей души.

Мы с тобою так верили в связь бытия,  
Но теперь я оглядываюсь, и удивительно —  
До чего ты мне кажешься, юность моя,  
По цветам не моей, ни черта не действительной.

Если вдуматься, это — сиянье Луны  
Между мной и тобой, между мелью и тонущим,  
Или вижу столбы и тебя со спины,  
Как ты прямо к Луне на своем полуночном.

Ты давно уж...

Я тихо всхлипнул, и товарищ Кондратьев сразу остановился.

— А дальше? — спросил я.

— Забыл, — сказал товарищ Кондратьев. — Прямо из головы вылетело.

Я не поверил ему, но знал, что спорить или просить бесполезно.

— А о чем ты сейчас думаешь? — спросил он.

— Да ни о чем, — сказал я.

— Так не бывает, — сказал он. — Обязательно ведь в голове крутится какая-нибудь мысль. Правда, расскажи.

— Да я детство часто вспоминаю, — неохотно сказал я. — Как на велосипеде катался. Очень похоже было. И до сих пор не пойму — ведь вроде ехал на велосипеде, еще руль был такой низкой, и вроде впереди светло было, и ветер свежий-свежий...

Я замолчал.

— Ну? Чего не поймешь-то?

— Я ведь к каналу вроде ехал... Так куда же я...

Товарищ Кондратьев пару минут молчал и тихо положил трубку.

Я включил «Маяк» — мне, кстати, не очень верилось, что это «Маяк», хотя так уверяли через каждые две минуты.

— Семь сыновей подарила Родине Мария Ивановна Плахута из села Малый Перехват, — заговорил парящий над рабочим полднем далекой России женский голос. — Двое из них, Иван Плахута и Василий Плахута, служат сейчас в армии, в танковых войсках МВД. Они просят передать для их матери шуточную песню «Самовар». Выполняем вашу просьбу, ребята. Мария Ивановна, для вас сегодня поет народный балагур СССР Артем Плахута, который откликнулся на нашу просьбу с тем большим удовольствием, что сам за восемь лет до братьев демобилизовался старшим сержантом.

Задребезжали домры; два или три раза бухнули тарелки, и полный чувства голос, напирая на букву «р», как на соседа по автобусу, запел:

— Ух, горяч кипя-кипяток!

Я бросил трубку. От этих слов меня передернуло. Мне вспомнилась Димина седая голова и корова с обложки «Atom Heart Mother», и по моей спине прошла холодная медленная дрожь. Минуту или две я выжидал и, решив, что песня уже кончилась, повернул черную ручку. Секунду было тихо, а потом притаившийся на секунду баритон грянул мне в лицо:

Угощ-шали гадов чаем  
И водицей огневой!

На этот раз я ждал долго и когда опять включил приемник, говорила ведущая:

— ...вайте вспомним наших космонавтов и всех тех, чей земной труд делает возможной их небесную вахту. Для них сегодня...

Я вдруг ушел в свои мысли, точнее — провалился в одну

из них, как под лед, и опять стал слышать только через несколько минут, когда тяжелый хор далеких басов уже клал последние кирпичи в монументальное здание новой песни. Но, несмотря на то что я полностью отключился от реальности, я автоматически продолжал давить на педали, сильно отводя в сторону правое колено, — так меньше чувствовалась мозоль, которую мне успел натереть унт.

Поразило меня вот что.

Если сейчас, закрыв глаза, я оказывался — насколько человек вообще может где-нибудь оказаться — на призрачном подмосковном шоссе, и несуществующие асфальт, листва и солнце перед моими закрытыми глазами делались так реальны для меня, словно я действительно мчался под уклон на своей любимой второй скорости; если, забыв про Zabriskie Point, до которого оставалось совсем немного, я все-таки бывал иногда несколько секунд счастлив, — не значило ли это, что уже тогда, в детстве, когда я был просто неотделившейся частью погруженного в летнее счастье мира, когда я действительно мчался на своем велосипеде вперед по асфальтовой полосе, навстречу ветру и солнцу, совершенно не интересуясь тем, что ждет меня впереди, — не значило ли это, что уже тогда я на самом деле катил по черной и мертвой поверхности Луны, видя только то, что проникало внутрь сознания сквозь кривые глазки сгушающегося вокруг меня лунохода?

Прощай, ячменный колос,  
Уходим завтра в космос.  
В районе окна  
Товарищ Луна  
Во всем черном небе одна...



*«Социализм — это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низко летящей конницы, которая умирает, загнивает, но так же неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин».*

Над текстом, выложенным золотыми буквами, был картуш с золотым остробороденьким профилем и полукруглое слово «ЛЕНИН», обрамленное двумя оливковыми ветвями из фольги. Я часто проходил мимо этого места, но вокруг всегда были люди, а при них я не решался подойти ближе. Я внимательно оглядел всю конструкцию: это был довольно большой, в метр высотой, планшет, обтянутый малиновым бархатом. Он висел на стене на двух петлях, а с другой стороны удерживался вплотную к стене небольшим крючком. Я огляделся. Еще не кончился тихий час, и в коридоре никого не было. Я подошел к окну — идущая к столовой аллея была пуста, только из дальнего ее конца в мою сторону медленно ползли два лунохода, в которых я узнал вожатых Юру и Лену. Стояла тишина, только с первого этажа доносилось тихое постукивание шарика о теннисный стол — мысль о том, что кто-то имеет право играть в настольный теннис во время тихого часа, наполнила меня меланхолией. Откинув крючок, я потянул планшет на себя. Открылся квадрат стены, в центре которого был выключатель, выкрашенный золотой краской. Чувствуя, как у меня все сильнее сосет под ложечкой, я протянул руку и перещелкнул его вверх.

Раздался негромкий гудок, и я, еще не поняв, что это такое, почувствовал, что совершил с окружающим миром и самим собой что-то страшное. Гудок прозвучал опять, громче, и вдруг выяснилось, что выключатель, открытая малиновая дверца и весь коридор, где я стою, — все это ненастоящее, потому что на самом деле я вовсе не стою у стены с выключателем, а сижу в скрюченной и неудобной позе в каком-то крайне тесном месте. Прогудело еще раз, и вокруг меня за несколько секунд сгустился луноход. Еще гудок, и в моем сознании сверкнула мысль о том, что вчера, перед тем как склонить голову на руль, я довел красную линию на карте точно до черного кружка с надписью «Zabriskie Point».

Звонил телефон.

— Выспался, мудила? — прогремыхал в трубке голос полковника Халмурадова.

— Ты сам мудила, — сказал я, внезапно разозлясь.

Халмурадов заливисто и заразительно захохотал — я понял, что он совершенно не обиделся.

— Я тут опять один сижу, в ЦУПе. Наши в Японию уехали, насчет совместного полета договариваться. Пхадзер Владиленович тебе привет передает, жалел очень, что попроситься не успел — в последний момент все решилось. А я из-за тебя тут остался. Ну чего, сегодня выпел-радиобуй ставишь? Отмучился, похоже? Рад?

Я молчал.

— Да ты на меня злишься, что ли? Омон? Что я тебя тогда козлом назвал? Брось. Ты ведь тогда весь ЦУП раком поставил, чуть полет отменять не пришлось, — сказал Халмурадов и немного помолчал. — Да что ты правда, как баба... Мужик ты или нет? Тем более день такой. Ты вспомни только.

— Я помню, — сказал я.

— Застегнись как можно плотнее, — озабоченно заговорил Халмурадов, — особенно ватник на горле. Насчет лица...

— Я все не хуже вас знаю, — перебил я.

— ...сначала очки, потом замотаешь шарфом, а потом уже — ушанку. Обязательно завязать под подбородком. Перчатки. Рукава и унты перетянуть бечевкой — вакуум шуток не понимает. Тогда минуты на три хватит. Все понял?

— Понял.

— Бля, не «понял», а «так точно». Приготовишься — доложишь.

Говорят, в последние минуты жизни человек видит ее всю как бы в ускоренном обратном просмотре. Не знаю. Со мной ничего подобного не было, как я ни пытался. Вместо этого я отчетливо, в мельчайших деталях, представил себе Ландратова в Японии — как он идет по солнечной утренней улице в дорогах свежескупленных кроссовках, улыбается и, наверно, даже не вспоминает о том, на что он их только что натянул. Представил я себе и остальных — начальника полета, превратившегося в пожилого интеллигента в костюме-тройке, и товарища Кондратьева, дающего задумчивое интервью корреспонденту программы «Время». Но ни одной мысли о себе в мою голову не пришло. Чтобы успокоиться, я включил «Маяк» и послушал тихую песню об огнях, которые загорались там вдали за рекой, о поникшей голове, пробитом сердце и белогвардейцах, которым нечего терять, кроме своих цепей. Я вспомнил, как давным-давно в детстве полз в противогазе по линолеуму, неслышно подпевая далекому репродуктору, и тихим голосом запел:

Это бе-ло-гвардей-ски-е цепи!

Вдруг радио отключилось и зазвонил телефон.

— Ну чего, — спросил Халмурадов, — готов?

— Нет еще, — ответил я. — Куда спешить?

— Ну ты гандон, парень, — сказал Халмурадов, — то-то у тебя в личном деле написано, что друзей в детстве не было, кроме этого мудака, которого мы расстреляли. Ты о других хоть иногда думаешь? Я ж на теннис опять не попаду.

Почему-то мысль о том, что Халмурадов в белых шортах на своих жирных ляжках совсем скоро будет стоять на лужниковском корте и постукивать мячиком об асфальт, а меня в это время уже не будет нигде, показалась мне невероятно обидной — не из-за того, что я ощутил к нему зависть, а потому, что я вдруг с пронзительной ясностью вспомнил солнечный сентябрьский день в Лужниках, еще школьных времен. Но потом я понял, что, когда не будет меня, Халмурадова и Лужников тоже не будет, и эта мысль развеяла меланхолию, вынесенную мною из сна.

— О других? Какие еще другие? — тихо спросил я. — Впрочем, чушь. Вы идите, я сам справлюсь.

— Ты брось это.

— Правда, идите.

— Брось, брось, — серьезно сказал Халмурадов. — Мне акт

надо закрыть, сигнал с Луны зарегистрировать, московское время проставить. Ты лучше давай это быстрее.

— А Ландратов тоже в Японии? — спросил вдруг я.

— А чего ты спросил? — насторожился Халмурадов.

— Так просто. Вспомнил.

— А чего вспомнил? Скажи, а?

— Да так, — ответил я. — Вспомнил, как он «Калинку» танцевал на выпускном экзамене.

— Вас понял. Эй, Ландратов, ты в Японии? Тут про тебя спрашивают.

Послышался смех и скользкий скрип зажимающих трубку пальцев.

— Тут он, — сказал наконец Халмурадов. — Привет тебе передает.

— Ему тоже. Ну ладно, пора, пожалуй.

— Толкнешь люк, — быстро заговорил Халмурадов, повторяя известную мне наизусть инструкцию, — и сразу за руль хватайся, чтоб воздухом не выкинуло. Потом вдохни из кислородной маски сквозь шарф и вылазь. Пройдешь пятнадцать шагов по ходу движения, вынешь вымпел-радиобуй, поставишь и включишь. Смотри только, отнеси подальше, а то луноход сигнал заэкранирует... Ну а потом... Пистолет с одним патроном мы тебе выдали, а трусов у нас в отряде космонавтов никогда не было.

Я положил трубку. Телефон зазвонил снова, но я не обращал на него внимания. На секунду у меня появилась мысль не включать вымпел-радиобуй, чтоб эта сволочь Халмурадов просидел в ЦУПе до конца дня, а потом еще получил какой-нибудь партийный выговор, но я вспомнил Сему Умыгина и его слова о том, что я обязательно должен долететь и все сделать. Предать парней с первой и второй ступени да и молчаливого Диму с лунного модуля я не мог; они умерли, чтобы я сейчас оказался здесь, и перед лицом их высоких коротких судеб моя злоба на Халмурадова показалась мне мелкой и стыдной. И когда я понял, что сейчас, через несколько секунд, соберусь с духом и сделаю все как надо, телефон замолчал.

Я стал собираться и через полчаса был готов. Плотнo-плотнo заткнув уши и ноздри специальными гидрокомпенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил одежду — все было плотно застегнуто, заправлено и перетянuto; правда, резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впи-

лись в лицо, но я не стал возиться — терпеть все равно оставалось совсем недолго. Взяв лежащую на полке кобуру, я вытащил из нее пистолет, поставил его на боевой взвод и сунул в карман ватника. Перебросив мешок с вымпелом-радиобуем через левое плечо, я положил было руку на трубку, но вспомнил, что уже заткнул уши ватой; да мне и не очень хотелось тратить последние мгновения жизни на беседу с Халмурадовым. Я вспомнил наш последний разговор с Димой и подумал, что я правильно сделал, что наврал ему про «Zabriskie Point». Горько уходить из мира, в котором оставляешь какую-то тайну.

Я выдохнул, как перед прыжком в воду, и принялся за дело.

За долгие часы тренировок мое тело настолько хорошо запомнило, что ему следует делать, что я ни разу не остановился, хотя работать пришлось почти в полной темноте, потому что аккумулятор сел до такой степени, что лампочка уже не давала света — был только виден малиновый червячок спирали. Сначала надо было снять пять винтов по периметру люка. Когда последний винт звякнул об пол, я нащупал на стене стеклянное окошко аварийного сброса люка и сильно ударил по стеклу последней банкой «Великой стены». Стекло разбилось. Я просунул в окошко кисть, зацепил пальцем кольцо пиропатрона и дернул его на себя. Пиропатрон был сделан из взрывателя от гранаты «Ф-1» и срабатывал с замедлением в три секунды, поэтому у меня как раз хватило времени схватиться за руль и как можно ниже пригнуть голову. Потом над моей головой грохнуло, и меня так качнуло, что чуть не выбросило из седла, но я удержался. Прошло полсекунды, и я поднял голову. Надо мною была бездонная чернота открытого космоса. Между ним и мною был только тонкий плексиглас мотоциклетных очков. Вокруг была абсолютная тьма. Я нагнулся, глубоко вдохнул из растреба кислородной маски и, неуклюже перевалившись через борт, поднялся на ноги и пошел вперед — каждый шаг давался ценой невероятного усилия из-за страшной боли в спине, разогнутой впервые за месяц. Идти целых пятнадцать шагов не хотелось; я опустил на колено, расслабил тесьму мешка с вымпелом-радиобуем и потащил его наружу — он зацепился рычажком и никак не хотел вылезать. Держать воздух в легких становилось все сложнее, и со мной случился короткий момент паники — показалось, что я сейчас умру, так и не выполнив того, зачем я здесь. Но в следующую минуту мешок соскочил, я опустил радиовымпел на невидимую поверхность Луны и повернул рыча-

жок. В эфир полетели закодированные слова «ЛЕНИН», «СССР» и «МИР», повторяемые через каждые три секунды, а на корпусе вспыхнула крошечная красная лампочка, осветившая изображение плывущего сквозь пшеничные колосья земного шара — и тут я впервые в жизни заметил, что герб моей Родины изображает вид с Луны.

Воздух рвался из легких наружу, и я знал, что через несколько секунд выдохну его и обожженным ртом глотну пустоты. Я размахнулся и швырнул как можно дальше никелированный шарик. Пора было умирать. Я вынул из кармана пистолет, поднес его к виску и попытался вспомнить главное в своем недолгом существовании, но в голову не пришло ничего, кроме истории Марата Попадья, рассказанной его отцом. Мне показалось нелепым и обидным, что я умру с этой мыслью, не имеющей ко мне никакого отношения, и я попытался думать о другом, но не смог; перед моими глазами встала зимняя поляна, сидящие в кустах егеря, два медведя, с ревом идущие на охотников, — и, спуская или взведя курок, я вдруг с несомненной отчетливостью понял, что Киссинджер знал. Пистолет дал осечку, но и без него уже все было ясно; перед моими глазами поплыли яркие спасательные круги, я попытался поймать один из них, промахнулся и повалился на ледяной и черный лунный базальт.

В щеку впивался острый камень — из-за шарфа он не очень чувствовался, но было все равно неприятно. Я приподнялся на локтях и огляделся. Видно вокруг не было ничего. В носу свербело; я чихнул, и один из тампонов вылетел из носа. Тогда я сдернул с головы шарф, очки и ушанку, потом вытащил из ушей и носа разбухшие ватные тампоны. Слышно не было ничего, зато ощущался явственный запах плесени. Было сыро и, несмотря на ватник, холодно.

Я поднялся, пошарил вокруг руками, вытянул их перед собой и пошел вперед. Почти сразу же я обо что-то споткнулся, но сохранил равновесие. Через несколько шагов мои пальцы уперлись в стену; пошарив по ней, я нащупал толстые провисающие провода, облепленные каким-то липким пухом. Я повернулся и пошел в другую сторону; теперь я шел осторожней, высоко поднимая ноги, но через несколько шагов споткнулся опять. Потом под моими руками опять оказались

стена и кабели. Тут я заметил метрах в пяти от себя крохотную красную лампочку, освещающую металлический пятиугольник, и все вспомнил.

Но я не успел никак осмыслить вспомненное и что-нибудь по этому поводу подумать — далеко справа вспыхнуло, я повернул голову, инстинктивно заслонил лицо руками и сквозь пальцы увидел уходящий вдаль тоннель, в конце которого зажегся яркий свет, осветив густо покрытые кабелями стены и сходящиеся в точку рельсы.

Отвернувшись, я увидел стоящий на рельсах луноход, на который падала моя черная длинная тень (неизвестный оформитель густо изрисовал его звездами и крупными словами «СССР»), и попятился к нему, закрываясь от плывущего на меня над рельсами ослепительного огня, почему-то вдруг напомнимшего мне закатное солнце. О борт лунохода звякнуло, и в ту же секунду долетел громкий треск; я понял, что в меня стреляют, и кинулся за луноход. О борт снова звякнула пуля, и несколько секунд он гудел, как похоронный колокол. Донеслось негромкое постукивание колес, потом раздался еще один выстрел, и стук колес стих.

— Эй, Кривомазов! — загремел нечеловечески громкий голос. — Выходи с поднятыми руками, сука! Тебе орден дали!

Я осторожно выглянул из-за лунохода: метрах в пятидесяти от меня на рельсах стояла маленькая дрезина с ослепительно горящей фарой, перед которой на широко расставленных ногах покачивался человек с мегафоном в левой руке и пистолетом в правой. Он поднял оружие; гроыхнул выстрел, и несколько раз срикошетившая пуля провизжала под потолком. Я спрятал голову.

— Выходи, гад!

Его голос был знакомым, но я не мог понять, кто это.

— Два!

Он еще раз выстрелил и попал в корпус лунохода.

— Три!

Я опять осторожно выглянул и увидел, как он положил мегафон на свою дрезину, развел руки в стороны и медленной трусцой побежал по шпалам к луноходу. Когда он немного приблизился, стало слышно, что он жужжит ртом, изображая рев самолетных двигателей, и я сразу узнал его — это был Ландратов. Я попятился было по тоннелю, но понял, что как только он долетит до лунохода, я окажусь совершенно

беззащитным. Секунду поколебавшись, я пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно.

Теперь я видел только приближающиеся ноги, ловко, но как-то вывороченно ступающие по шпалам. Кажется, он ничего не заметил. Приблизясь к луноходу, он загудел иначе, напряженнее, и я понял, что он закладывает вираж, обходя аппарат сбоку. Потом его сапоги мелькнули между ржавыми трамвайными колесами, и тут, неожиданно для самого себя, я схватил его за ноги. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг его щиколоток, я чуть не отпустил их от тошнотворного ощущения почти полной пустоты в его сапогах. Он заорал и упал; я не разжал рук, и протезы под мягкой кожей неестественно вывернулись. Я еще раз крутанул их и полез из-под лунохода наружу; когда я выбрался, он уже подползал к своему пистолету, упавшему между шпалами. У меня оставалось не больше секунды; я схватил тяжелый пятиугольник выпела-радиобуя и с силой опустил его на желтоволосый ландратовский затылок.

Раздался хруст, и красная лампочка погасла.

Ландратовская ручная дрезина была намного легче моего лунохода и ехала гораздо быстрее. Мощная фара освещала круглую штольню с идущими по стенам кабелями, облепленными чем-то вроде липких волокон, которыми покрываются, например, нити, на которых что-нибудь вешают в пионерлагерной столовой. Эта штольня была, судя по всему, заброшенным тоннелем метро; несколько раз от нее ответвлялись другие тоннели, такие же черные и безжизненные, как и тот, по которому я ехал. По шпалам иногда пробегали крысы — некоторые были размером с небольшую собаку, — но на меня, слава Богу, особого внимания не обращали. Потом справа возник боковой тоннель, такой же, как и предыдущие, но когда я подъехал к нему, дрезину вдруг так резко мотнуло вправо, что я полетел на рельсы и сильно ушиб плечо.

Оказалось, что стрелка, которую я проезжал, была в полуперевернутом состоянии — передние колеса проехали по рельсам вперед, а задние повернули вправо; в результате дрезину заклинило намертво. Я понял, что дальше придется идти в темноте, и медленно побрел вперед, жалея, что не захватил с собой ландратовского «макарова», хотя, конечно, он вряд ли спас бы меня от крыс, вздумай они напасть.



Не успел я пройти полусотни метров, как впереди послышался лай собак и крики. Я повернулся и побежал назад. У меня за спиной зажглись огни; обернувшись, я увидел серые тела двух овчарок, прыгающих по шпалам впереди преследователей, единственной видимой частью которых были покачивающиеся кружки фонарей. В меня не стреляли — наверно, чтобы не попасть в собак.

— Вон он! Белка! Стрелка! Фас его! — заорал кто-то сзади.

Я повернул в боковой тоннель и помчался с максимальной скоростью, на которую был способен, высоко подпрыгивая, чтобы не переломать ног. Наступив на крысу, я чуть не упал и вдруг увидел яркие и немигающие неземные звезды — они горели справа; я кинулся туда, наткнулся на стену и полез через нее, цепляясь за кабели и спиной чувствуя несущихся ко мне овчарок. Перевалившись через край, я сорвался вниз и не расшибся только потому, что врезался во что-то очень мягкое, похожее на обтянутое полиэтиленом кресло. Я втиснулся в щель между рядами каких-то упаковок и ящиков и пополз по ней; несколько раз я наткался руками на затянутые полиэтиленом спинки стульев и поручни диванов. Потом вокруг стало светлее. Я услышал совсем рядом тихий разговор и замер. Передо мной была задняя панель шкафа — оргалитовый лист с большим словом «Невка». Сзади доносились лай и крики, а потом долетел усиленный мегафоном голос:

— Прекратить! Тихо! Прямой эфир через две минуты!

Собаки продолжали лаять, и чей-то наглый тенор принялся объяснять, в чем дело, но мегафон снова проревел:

— А ну на х...й с территории! Вместе с собаками под трибунал пойдете!

Лай стал постепенно стихать — видно, собак отташили. Еще через минуту я отважился выглянуть из-за шкафа, за которым лежал.

В первый момент мне показалось, что я попал в какой-то огромный древнеримский планетарий. На очень высоком сводчатом потолке стеклом и жемчужно поблескивали далекие звезды, включенные примерно в треть накала. Метрах в сорока от шкафа стоял старый кран; на его стреле, метрах в четырех от пола, парил похожий очертаниями на огромную бутылку корабль «Салют» с пристыкованным к нему космическим грузовиком «Агдам Т-3»; корабль был надет на стрелу, как пластмассовая модель самолета — на ножку подставки. Види-

мо, вся конструкция была слишком тяжелой для одного крана, потому что корму космического грузовика поддерживали два или три упертых в пол длинных бревна; они были различимы в полутьме, но когда совсем рядом со шкафом зажглись два прожектора, они стали практически невидимы, потому что, как и стена за ними, были выкрашены черной краской и облеплены мерцающими в электрических лучах кусочками фольги.

Прожектора были закрыты светофильтрами, и их свет был странным, белесо-мертвенным. Кроме космического корабля, который сразу стал выглядеть очень правдоподобно, они осветили телекамеру с большой надписью «Samsung», возле которой покуривали два автоматчика, и длинный стол с микрофонами, едой и призрачно-прозрачными водочными бутылками, похожими на вбитые в стол сосульки; за ним сидели два генерала, каждый из которых был чем-то похож на Генриха Боровика. Сбоку стоял маленький столик с микрофоном, за которым сидел человек в штатском. За его спиной был фанерный щит с надписью «Время» и рисунком земного шара, над которым косо взлетала пятиконечная звезда с очень длинными боковыми лучами. Склонившись над столом, с человеком за микрофоном о чем-то говорил другой штатский.

— Дубль три!

Кто это сказал, я не видел. Второй штатский быстро подбежал к телекамере и развернул ее в сторону столика. Раздался звонок, и человек за микрофоном четко и медленно заговорил:

— Сейчас мы находимся на переднем крае советской космической науки, в одном из филиалов ЦУПа. Седьмой год несут орбитальную вахту космонавты Армен Везиров и Джамбул Межелайтис. Этот полет — длиннейший в истории — сделал нашу страну лидером мировой космонавтики. Символично, что мы с оператором Николаем Гордиенко оказались здесь в день, когда космонавты выполняют важную научную задачу — ровно через полминуты они выйдут в открытый космос с целью установки астрофизического модуля «Квант».

Весь бокс озарился нежным и неясным светом — я поднял голову и увидел, что лампочки на потолке вспыхнули в полный накал. Открылась величественная панорама звездного неба, к которому столько веков стремился человек, складывая полные красоты, но такие наивные легенды о вбитых в небесную твердь серебряных гвоздях.

Со стороны «Салюта» послышались приглушенные удары — так бывает, когда плечом несильно толкают задубевшую от сырости дверь в погреб, боясь, что от слишком сильного удара она опрокинет стоящие сразу за ней крынки со сметаной. Наконец я увидел чуть приподнявшуюся над поверхностью корпуса космического корабля крышку люка, и сразу же от стола, за которым сидел человек с микрофоном, донеслось:

— Внимание! Включаем прямой эфир!

Люк медленно открылся, и над поверхностью космического корабля появился круглый серебристый шлем с короткой антенной. Все за столом заплотировали; вслед за шлемом появились плечи и серебристые руки — они первым делом прицепили страховочный фал к специальной штанге на корпусе корабля; движения их были очень медленными и плавными, отработанными за время долгих тренировок в бассейне. Наконец первый космонавт вылез в открытый космос и остановился в нескольких шагах от люка — я подумал, что требовалось немалое мужество, чтобы стоять на четырехметровой высоте. Мне показалось, что один из генералов за столом смотрит в мою сторону, и я втянул голову за шкаф, а когда решился опять ее высунуть, оба космонавта уже стояли на поверхности космического корабля, ослепительно белые на фоне чернильных космических далей, усыпанных крошечными точечками звезд. У одного в руках был небольшой ящик. Это и был, как я понял, астрофизический модуль «Квант». Космонавты медленно и как-то подводно прошли по корпусу корабля, остановились у высокой мачты и довольно быстро привинтили к ней ящик. Потом они повернулись в сторону телекамеры, плавно помахали руками и такими же водолазными шагами вернулись к люку, в котором по очереди исчезли.

Люк закрылся, но я еще долго глядел на мерцающие в невообразимой дали звезды — туда, где раскинуло длинные тонкие руки созвездие Лебедя, колеблясь, кому открыть объятья: огромному ли, в полнеба, Пегасу или маленькой, но такой трогательно яркой и чистой Лире.

Человек в гражданском тем временем быстро и радостно говорил в свой микрофон:

— На время операции в Центре управления полетом наступила тишина. Признаться, и у меня захватило дух, но все прошло успешно. Нельзя не поразиться четкости и слажен-

ности действий космонавтов — видно, не зря прошли для них годы тренировок и орбитальной вахты. Установленное сегодня научное оборудование...

Я отполз за шкаф. Я чувствовал апатию и безразличие ко всему происходящему. Если бы меня сейчас стали хватать, я вряд ли попытался бы бежать или сопротивляться; единственное, чего мне хотелось, — так это спать. По лунной привычке положил голову на скрещенные руки и заснул. Сквозь сон я услышал:

— Телевизионная передача о работе в открытом космосе велась с помощью камеры, установленной бортинженером на панели одной из солнечных батарей базового блока.

Спал я долго — наверное, часов пять. Несколько раз возле меня начинали что-то двигать и материться, потом тонкий женский голос требовал заменить диван, но я даже не пошевелился; может быть, мне это снилось. Когда я наконец пришел в себя, вокруг было тихо. Я осторожно поднялся и выглянул из-за шкафа. Стол с микрофоном был пуст, а телекамера накрыта брезентом. Освещая космические корабли, горел один прожектор. Людей видно не было. Я вышел из-за шкафа и огляделся: все было так же, как и во время телепередачи, но сейчас я заметил на полу под космическими кораблями довольно большую кучу нечистот, мерзко белеющую бумажками и банками из-под «Великой стены»; на моих глазах туда что-то тихо шлепнулось. Я подошел к столу, на котором осталась недопитая водка и тарелки с закуской; мне сильно хотелось выпить. Когда я сел, моя спина автоматически согнулась, приняв велосипедную позу; с некоторым усилием я разогнулся, слил остатки водки — ее хватило на два полных стакана — и по очереди опрокинул их в рот. Несколько секунд я колебался, не закусить ли одним из оставшихся на тарелке маринованных грибов, но когда увидел испачканную слизью вилку, победила брезгливость.

Я вспомнил своих товарищей по экипажу и представил себе такой же или похожий зал, на полу которого еще стоят, наверное, цинковые гробы — четыре запаянных и один пустой. Наверное, в чем-то ребята были счастливей меня, но все же я ощутил печаль. Потом я подумал о Митькэ. Скоро в голове у меня зашумело и появилась способность думать о сегодняшних событиях. Но вместо того чтобы думать о них, я вспомнил свой последний день на Земле, темнеющую от дождя брусчатку

Красной площади, коляску товарища Урчагина и случайное прикосновение его теплых губ, шепчущих в мое ухо:

«Омон. Я знаю, как тяжело тебе было потерять друга и узнать, что с самого детства ты шел к мигу бессмертия бок о бок с хитрым и опытным врагом — не хочу даже произносить его имени вслух. Но все же вспомни один разговор, при котором присутствовали ты, я и он. Он сказал тогда: «Какая разница, с какой мыслью умрет человек? Ведь мы материалисты». Ты помнишь — я сказал тогда, что после смерти человек живет в плодах своих дел. Но я не сказал тогда другой вещи, самой важной. Запомни, Омон, хоть никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа — это вселенная. В этом диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная, центром которой станет вот это...»

Он обвел рукой площадь, камни которой уже грозно и черنو блестяли.

«А теперь — главное, что ты должен запомнить, Омон. Сейчас ты не поймешь моих слов, но я и говорю их для момента, который наступит позже, когда меня не будет рядом. Слушай. Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса; достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взвьется это знамя...»

Я вдруг почувствовал сильный запах пота, обернулся и сразу же полетел на пол, сбитый со стула сильным ударом кулака в толстой резиновой перчатке.

Надо мной стоял космонавт в заношенном войлочном скафандре и шлеме с красной надписью «СССР». Он схватил пустую бутылку, разбил ее о край стола и с розочкой в занесенной руке наклонился надо мной, но я успел откатиться, вскочил на ноги и побежал. Он кинулся за мной — перемещался он медленными движениями, но почему-то очень быстро, и это было страшно. Краем глаза я увидел второго — он торопливо слезал по подпиравшему корпус «Агдама Т-3» черному полену, обдирая звезды из фольги. Я добежал до дверей, ударил в них плечом, но они были заперты. Тогда я кинулся назад, увернулся от первого и столкнулся со вторым, который с размаху ударил меня ногой в ботинке с тяжелой магнитной

подошвой — целился он в пах, но попал в ногу, — а потом попытался боднуть острой антенной в живот. Мне опять удалось увернуться. Я вдруг понял, что выпил водку, которой они ждали, может быть, несколько лет, и испугался по-настоящему. Передо мной была небольшая решетчатая дверь с красной молнией в треугольнике и надписью «Опасно!». Я побежал к ней.

За ней начинался очень узкий коридор с гулким железным полом. Я пробежал по нему от силы метров пять и услышал за спиной тяжело-звонкое звяканье магнитных пластин. Это придало мне скорости и сил; я повернул за угол и увидел короткий коридор, кончающийся круглым вентиляционным окном с порванной проволочной сеткой, за которой была видна неподвижная ржавая лопасть. Я дернулся было назад, но вдруг оказался так близко от своего преследователя, что даже не ощутил его как нечто целое, а как бы зафиксировал набор не связанных друг с другом восприятий: шар с забралом из бутылочного плексигласа и красным словом «СССР», черный резиновый кулак с торчащим над ним маленьким прозрачным трезубцем, сильнейший запах пота и майорские погоны на крашенном серебрянкой войлоке. В следующий миг я уже извивался в вентиляционной шахте за люком и довольно быстро протиснулся между лопастями огромного вентилятора, похожего на корабельный винт, но когда я пополз по уходящему куда-то далеко вверх колодцу, мой ватник сбился в ком и я застрял и скорчился, как плод в утробе. Потом снизу зашуршало, что-то коснулось моей лодыжки, и я с криком рванулся вверх, в считанные секунды вскарабкался метра на два и протиснулся в горизонтальное ответвление. Оно кончалось круглым окошком, за которым виднелся земной шар в мутной дымке облаков; я всхлипнул и пополз к нему.

Сквозь тонкую пленку слез Земля виделась нечеткой и размытой и словно висела в желтоватой пустоте; из этой пустоты я и глядел на ее приближающуюся поверхность, протискиваясь к ней навстречу, пока вдруг не расступились сжавшие меня стены и коричневый кафель пола не полетел мне навстречу.

— Эй! Мужчина!

Я открыл глаза. Надо мной склонялась женщина в грязном синем халате; на полу рядом с ней стояло ведро, а в ее руке была швабра.

— Тебе плохо, что ли? Тебе чего надо здесь?

Я перевел взгляд — прямо напротив меня в стене была коричневая дверь с надписью «проверить до 14.VII». Рядом висел календарь с большой фотографией Земли и словами «За мирный Космос!». Я лежал в коротком коридоре с синими крашеными стенами; вокруг было три или четыре двери. Я поглядел вверх и увидел в стене напротив календаря черную дыру вентиляционного люка.

— А? — спросил я.

— Пьяный, что ли, говорю?

Держась за стену, я встал на ноги и побрел по коридору.

— Куда? — сказала женщина и резким движением развернула меня.

Я пошел в другую сторону. За углом начиналась крутая и довольно высокая лестница вверх, упиравшаяся в деревянную дверь; из-за двери доносился неясный шум.

— Давай, — подтолкнула меня женщина в спину.

Я поднялся по лестнице, оглянулся — она настороженно смотрела на меня снизу, — толкнул дверь и оказался в полутемной нише, где стояло несколько человек в гражданском. Они не обратили на меня особого внимания. Издалека слышался нарастающий гул, я поглядел вбок и прочел бронзовую надпись «БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЛЕНИНА».

Земля, вдруг понял я.

Я вышел из закутка под лестницей и медленно побрел по платформе к большому зеркалу в ее конце. Над зеркалом мигали грозные оранжевые знаки времени, сообщавшие, что еще не вечер, но времени уже довольно много, а последний поезд прошел чуть больше четырех минут назад. Из зеркала на меня посмотрел молодой человек с очень давно не бритой щетиной; его глаза были воспалены, а волосы сильно всклокочены. Одет он был в грязный черный ватник, в нескольких местах вымазанный побелкой, и имел такой вид, словно спал последней ночью черт знает где.

Впрочем, именно так оно и было. На меня начинал поглядывать прохаживающийся по залу милиционер с маленькими темными усами, и, когда подошел поезд, я без особых колебаний шагнул в раскрывшуюся дверь. Она закрылась, и поезд повез меня в новую жизнь. Полет продолжается, подумал я. Половина лампочек в луноходе не горела, и свет от этого казался каким-то прокисшим. Я уселся на лавку; сидевшая рядом жен-

шина рефлекторно сжала ноги, отодвинулась и поставила в освободившееся между нами пространство сетку с продуктами — там было несколько пачек риса, упаковка макаронных звездочек и мороженая курица в целлофановом мешке.

Однако надо было решать, куда ехать. Я поднял глаза на схему маршрутов, висящую на стене рядом со стоп-краном, и стал смотреть, где именно на красной линии я нахожусь.



---

# БУБЕН НИЖНЕГО МИРА

*рассказы*





*Вот — третий на пути. О милый друг мой, ты ль  
В измятом картузе над взором оловянным?*

А. Блок

## ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР

Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Царь природы не складывал бы ладонь в подобие индийской мудры, пытаясь защититиь от промозглого ветра крохотную стартовую площадку на ногте большого пальца. Царь природы не придерживал бы другой рукой норовящий упасть на глаза край башлыка. И уж до чего бы точно никогда не дошел царь природы, так это до унижительной необходимости держать зубами вонючие кожаные поводья, каждую секунду ожидая от тупой русской лошади давно уже предсказанного Дмитрием Сергеевичем Мережковским великого хамства.

— И как тебе не надоест только, Юрий? Уже пятый раз за сегодня нюхаешь, — сказал Николай, с тоской догадываясь, что товарищ и на этот раз не предложит угоститься.

Юрий спрятал перламутровую коробочку в карман шинели, секунду подумал и вдруг сильно ударил лошадь сапогами по бокам.

— Х-х-х-а! За ним повсюду всадник медный! — закричал он и с тяжело-звонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной Шпалерной. Затем, как-то убедив свою лошадь затормозить и повернуть обратно, он поскакал к Николаю; по пути он рубанул аптечную вывеску невидимой шашкой и даже попытался поднять лошадь на дыбы, но та в ответ на его усилия присела на задние ноги и стала пятиться через всю улицу к кондитерской витрине, заклеенной одинаковыми желтыми рекламными лимонада: усатый герой с георгиевскими крестами на груди, чуть пригибаясь, чтобы не попасть под осколки только что разорвавшегося в небе шрапнельного снаряда,

пьет из высокого бокала под взглядами двух приблизительно нарисованных красавиц сестер милосердия. Николай с кем-то уже обсуждал идиотизм и пошлость этого плаката, висевшего по всему городу вперемежку с эсеровскими и большевистскими листовками; сейчас он почему-то вспомнил брошюру Петра Успенского о четвертом измерении, напечатанную на паршивой газетной бумаге, и представил себе конский зад, выдвигающийся из пустоты и вышибающий лимонад из руки усталого воина.

Юрий наконец справился с лошадьёю и после нескольких пируэтов в середине улицы направился к Николаю.

— Причем обрати внимание, — возобновил он прерванный разговор, — любая культура является именно парадоксальной целостностью вещей, на первый взгляд не имеющих друг к другу никакого отношения. Есть, конечно, параллели: стена, кольцом окружающая античный город, и круглая монета, или — быстрое преодоление огромных расстояний с помощью поездов, гаубиц и телеграфа. И так далее. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что каждый раз проявляется некое нерасчленимое единство, некий принцип, который сам по себе не может быть сформулирован, несмотря на крайнюю простоту...

— Мы про это уже говорили, — сухо сказала Николай, — неопределимый принцип, одинаково представленный во всех феноменах культуры.

— Ну да. И этот культурный принцип имеет некий фиксированный период существования, примерно тысячу лет. А внутри этого срока он проходит те же стадии, что и человек, — культура может быть молодой, старой и умирающей. Как раз умирание сейчас и происходит. У нас это видно особенно ясно. Ведь это, — Юрий махнул рукой на кумачовую полосу с надписью «Ура Учредительному собранию!», протянутую между двумя фонарными столбами, — уже агония. Даже начало разложения.

Некоторое время ехали молча. Николай поглядывал по сторонам — улица словно вымерла, и если бы не несколько горящих окон, можно было бы решить, что вместе со старой культурой сгнули и все ее носители. С начала дежурства пошел уже второй час, а прохожих не попадалось, из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова.

«Не пропускать по Шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую блядь, — сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия. — Ясно?» — «Как прикажете пони-

мать, господин капитан, — спросил его Юрий, — в прямом смысле?» — «Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех».

Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двоих готовых выполнить приказ юнкеров существовал и этот третий, пытающийся туда пройти, — а его не было, и пока боевая вахта сводилась к довольно путаному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, каковую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка.

— Как его зовут? Шпуллер?

— Шпенглер, — повторил Юрий.

— А как книга называется?

— Неизвестно. Я ж говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли.

— Надо запомнить, — пробормотал Николай и тут же опять начисто забыл немецкую фамилию — зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «Шпуллер». Такие вещи происходили с ним все время: когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно. Пытаясь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь дома, вдруг сталкивался с датой «1825» и пятью профилями — не то с коньячной бутылки, не то из теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «Шпуллер» выскочили слова «Зингер» и «парабеллум»; второе было вообще ни при чем, а первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «Ш». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово «Шпуллер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию; по идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место.

Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть — получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе.

Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от

стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет пятьдесят или чуть больше, одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с получеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, которой помахивал взад-вперед в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада.

— П'гивет, 'ебята, — развязно и даже, пожалуй, нагло сказал господин, — как служба?

— Вы куда изволите следовать, милостивый государь? — холодно спросил Николай.

— Я-то? А я гуляю. Гуляю тут. Сегодня, ве'гите, весь день кофий пил, к вече'гу так уж се'гце заныло... Дай, думаю, воздухом подышу...

— Значит, гуляете? — спросил Николай.

— Гуляю... А что, нельзя-с?

— Да нет, отчего. Только у нас к вам просьба — не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно где воздухом дышать?

— Всё 'гавно, — ответил господин и вдруг нахмурился. — Но, однако, это безоб'газие какое-то. Я п'гивык по Шпале'гнуй туда-сюда, туда-сюда...

Он показал тростью как.

Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух.

— Но у нас приказ, — сказал он, — не пускать ни одну штатскую блядь к Смольному.

Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку.

— Да как вы осмеливаетесь? Вы... Да я вас в газетах... В «Новом В'гемени»... — затараторил он, причем стало сразу ясно, что если он и имеет какое-то отношение к газетам, то уж, во всяком случае, не к «Новому Времени». — Наглость какая... Да вы знаете, с кем гово'гите?

Было какое-то несоответствие между его возмущенным то-

ном и готовностью, с которой он начал пятиться из пятна света назад, в темноту, — слова предполагали, что сейчас начнется долгий и тяжелый скандал, а движения показывали немедленную готовность даже не убежать, а именно задать стрекача.

— В городе чрезвычайное положение, — закричал ему вслед Николай, — подышите пару дней в окошко!

Молча и быстро господин уходил и вскоре полностью растворился в темноте.

— Мерзкий тип, — сказал Николай, — определенно жулик. Глазки-то как зыркают...

Юрий рассеянно кивнул. Юнкера доехали до угла Литейного проспекта и повернули назад — Юрию эта процедура стоила определенных усилий. В его обращении с лошастью проскальзывали ухватки опытного велосипедиста: он далеко разводил поводья, словно в его руках был руль, а когда надо было остановиться, подергивал ногами в стременах, как будто вращая назад педали полугоночного «Данлопа».

Начал моросить отвратительный мелкий дождь, и Николай тоже накинул на фуражку башлык, после чего они с Юрием стали совершенно неотличимы друг от друга.

— А что ты, Юра, думаешь — долго Керенский протянет? — спросил через некоторое время Николай.

— Ничего не думаю, — ответил Юрий, — какая разница. Не один, так другой. Лучше скажи, как ты себя во всем этом ощущаешь.

— В каком смысле?

Николай в первый момент решил, что Юрий имеет в виду военную форму.

— Ну вот смотри, — сказал Юрий, указывая на что-то впереди жестом, похожим на движение сеятеля, — где-то война идет, люди гибнут. Свергли императора, все перевернули к чертовой матери. На каждом углу большевики гогочут, семечки жрут. Кухарки с красными бантами, матросня пьяная. Все пришло в движение, словно какую-то плотину прорвало. И вот ты, Николай Муромцев, стоишь в болотных сапогах своего духа в самой середине всей этой мути. Как ты себя понимаешь?

Николай задумался.

— Да я это как-то не формулировал. Вроде живу себе просто, и все.

— Но миссия-то у тебя есть?

— Какая там миссия, — ответил Николай и даже немного смутился. — Господь с тобой. Скажешь тоже.

Юрий потянул ремень перекосившегося карабина, и из-за его плеча выполз конец ствола, похожий на голову маленького стального индюка, внимательно слушающего разговор.

— Миссия есть у каждого, — сказал Юрий, — просто не надо понимать это слово торжественно. Вот, например, Карл Двенадцатый всю свою жизнь воевал. С нами, еще с кем-то. Чеканил всякие медали в свою честь, строил корабли, соблазнял женщин. Охотился, пил. А в это время в какой-то деревне рос, скажем, некий пастушок, у которого самая смелая мечта была о новых лаптях. Он, конечно, не думал, что у него есть какая-то миссия, — не только не думал, даже слова такого не знал. Потом попал в солдаты, получил ружье, кое-как научился стрелять. Может быть, даже не стрелять научился, а просто высовывать дуло из окопа и дергать за курок — а в это время где-то на линии полета пули сказал великолепный Карл Двенадцатый на специальной королевской лошади. И — прямо по тыкве...

Юрий повертел рукой, изображая падение убитого шведского короля с несущейся лошади.

— Самое интересное, — продолжал он, — что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия, и не узнаёт того момента, когда выполняет действие, ради которого был послан на Землю. Скажем, он считал, что он композитор и его задача — писать музыку, а на самом деле единственная цель его существования — попасть под телегу на пути в консерваторию.

— Это зачем?

— Ну, например, затем, чтобы у дамы, едущей на извозчике, от страха получился выкидыш и человечество избавилось от нового Чингисхана. Или затем, чтобы кому-то стоящему у окна пришла в голову новая мысль. Мало ли.

— Ну, если так рассуждать, — сказал Николай, — то, конечно, миссия есть у каждого. Только узнать о ней положительно невозможно.

— Да нет, есть способы, — сказал Юрий и замолчал.

— Какие?

— Да есть такой доктор Штейнер в Швейцарии... Ну да ладно.

Юрий махнул рукой, и Николай понял, что лучше сейчас не лезть с расспросами.



Темной и таинственной была Шпалерная, темной и таинственной, как слова Юрия о неведомом немецком докторе. Все закрывал туман, хотелось спать, и Николай начал клевать носом. За промежутки времени между ударами копыт он успевал заснуть и пробудиться и каждый раз видел короткий сон. Сначала эти сны были хаотичными и бессмысленными: из темноты выплывали незнакомые лица, удивленно косились на него и исчезали; мелькнули темные пагоды на заснеженной вершине горы, и Николай вспомнил, что это монастырь и вроде бы он даже что-то про него знал, но видение исчезло. Потом пригрезилось, что они с Юрием едут по высокому берегу реки и вглядываются в черную тучу, ползущую с запада и уже закрывшую полнеба, — и даже вроде не они с Юрием, а какие-то два воина — тут Николай догадался было о чем-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была Шпалерная.

В домах горело только пять или шесть окон, и они походили на стены той самой темной расщелины, за которой, если верить древнему поэту, расположен вход в ад. «До чего же мрачный город, — думал Николай, прислушиваясь к свисту ветра в водосточный трубах, — и как только люди рожают здесь детей, дарят кому-то цветы, смеются... А ведь и я здесь живу...» Отчего-то его поразила эта мысль. Моросить перестало, но улица не стала уютней. Николай опять задремал в седле — на этот раз без всяких сновидений.

Разбудила долетевшая из темноты музыка, сначала неясная, а потом — когда юнкера приблизились к ее источнику (освещенному окну первого этажа в коричневом трехэтажном доме с дующим в трубу амуром над дверью) — оказавшаяся вальсом «На сопках Манчжурии» в обычной духовой расфасовке.

Но-о-чь, тишина-а-а, лишь гаолян шуми-и-т...

На глухой и негромкий звук граммофона накладывался сильный мужской голос; четкая тень его обладателя падала на крашеное стекло окна — судя по фуражке, это был офицер. Он держал на весу тарелку и махал вилкой в такт музыке — на некоторых тактах вилка расплывалась и становилась огромной нечеткой тенью какого-то сказочного насекомого.

Спите, друзья-а, страна больша-ая память о вас хранит...

Николай подумал о его друзьях.

Через десяток шагов музыка стихла, и Николай опять стал размышлять о странных речах Юрия.

— И какие это способы? — спросил он.

— Ты о чем?

— Да только что говорили. Как узнать о своей миссии.

— А, ерунда, — махнул Юрий рукой.

Он остановил лошадь, осторожно взял поводья в зубы и вынул из кармана перламутровую коробочку. Николай проехал чуть вперед, остановился и выразительно посмотрел на товарища.

Юрий закрылся руками, шмыгнув носом и изумленно глянул на Николая из-под ладони. Николай усмехнулся и закатил глаза. «Неужели опять, подлец, не предложит?» — подумал он.

— Не хочешь кокаину? — спросил наконец Юрий.

— Даже не знаю, — лениво ответил Николай. — Да у тебя хороший ли?

— Хороший.

— У капитана Приходова брал?

— Не, — сказал Юрий, заправляя вторую ноздрю, — это из эсеровских кругов. Такой боевики перед терактом нюхают.

— О! Любопытно.

Николай достал из-под шинели крохотную серебряную ложечку с монограммой и протянул Юрию; тот взял ее за чашечку и опустил витой стерженек ручки в перламутровую кокаинницу.

«Жмот», — подумал Николай, далеко, словно для сабельного удара, перегибаясь с лошади и поднося левую ноздрю к чуть подрагивающей руке товарища (Юрий держал ложечку двумя пальцами, сильно сжимая, словно у него в руке был крошечный и смертельно ядовитый гад, которому он сдавливал шею).

Кокаин привычно обжег носоглотку; Николай не почувствовал никакого отличия от обычных сортов, но из благодарности изобразил на лице целую гамму запредельных ощущений. Он не спешил разгибаться, надеясь, что Юрий подумает и о его правой ноздре, но тот вдруг захлопнул коробочку, быстро спрятал в карман и кивнул в сторону Литейного.

Николай выпрямился в седле. Со стороны проспекта кто-то шел — издали было неясно кто. Николай тихо выругался по-английски и поскакал навстречу.

По тротуару медленно и осторожно, словно каждую секунду боясь обо что-то споткнуться, шла пожилая женщина в шляпе с густой вуалью. Николай чуть не сбил ее лошадью — чудом успел повернуть в последнюю минуту. Женщина испуганно прижалась к стене дома и издала тихий покорный писк, отчего Николай вспомнил свою бабушку и испытал мгновенное и острое чувство вины.

— Мадам! — заорал он, выхватывая шашку и салютуя. — Что вы здесь делаете? В городе идут бои, вам известно об этом?

— Мне-то? — просипела сорванным голосом женщина. — Еще бы!

— Так что же вы — с ума сошли? Вас ведь могут убить, ограбить... Попадетеьс какому-нибудь Плеханову, он вас своим броневиком сразу переедет, не задумываясь.

— Еще кто кого пе'геедет, — с неожиданной злобой пробормотала женщина и сжала довольно крупные кулаки.

— Мадам, — успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, — бодрое расположение вашего духа заслуживает всяческих похвал, но вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте, наконец, вина. Но не выходите на улицу, умоляю вас.

— Мне надо туда. — Женщина решительно махнула ридикюлем в сторону ведущей в ад расщелины, которой к этому времени окончательно стала дальняя часть Шпалерной улицы.

— Да зачем вам?

— Под'гуга ждет. Компаньонка.

— Ну так встретитесь потом, — подъезжая, сказал Юрий. — Ведь ясно вам сказали: вперед нельзя. Назад можно, вперед нельзя.

Женщина повела головой из стороны в сторону — под вуалью черты ее лица были совершенно неразличимы, и нельзя было определить, куда она смотрит.

— Ступайте, — ласково сказал Николай, — скоро десять часов, потом на улицах будет совсем опасно.

— Donnerwetter! — пробормотала женщина.

Где-то неподалеку завyla собака — в ее вое было столько тоски и ненависти, что Николай поежился в седле и вдруг почувствовал, до чего вокруг сыро и мерзко. Женщина как-то странно мялась под фонарем. Николай развернул лошадь и вопросительно поглядел на Юрия.

— Ну как тебе? — спросил тот.

— Не пойму. Не успел распробовать, мало было. Но вроде самый обычный.

— Да нет, — сказал Юрий, — я об этой женщине. Какая-то она странная, не понравилась мне.

— Да и мне не понравилась, — ответил Николай, оборачиваясь посмотреть, не слышит ли их старуха, но той уже и след простыл.

— И обрати внимание: оба картавят. Тот, первый, и эта.

— Да ну и что. Мало ли народу грассирует. Французы вообще все. И еще, кажется, немцы. Правда, чуть по-другому.

— Штейнер говорит, что, когда какое-то событие повторяется несколько раз, это указание высших сил.

— Какой Штейнер? Который книгу о культурах написал?

— Нет. Книгу писал Шпенглер. Он историк, а не доктор. А доктора Штейнера я видел в Швейцарии. Ходил к нему на лекции. Удивительный человек. Он-то мне про миссию и рассказал...

Юрий замолчал и вздохнул.

Юнкера медленно поехали по Шпалерной в сторону Смольного. Улица уже давно казалась мертвой, но только в том смысле, что с каждой новой минутой все сложнее было представить себе живого человека в одном из черных окон или на склизком тротуаре. В другом, нечеловеческом смысле она, напротив, оживала — совершенно неприметные днем карриатиды сейчас только притворялись оцепеневшими, на самом деле они провожали друзей внимательными закрашенными глазами. Орлы на фронтонах в любой миг готовы были взлететь и обрушиться с высоты на двух всадников, а бородастые лица воинов в гипсовых картушах, наоборот, виновато ухмылялись и отводили взгляды. Опять завывало в водосточных трубах — притом, что никакого ветра на самой улице не чувствовалось. Наверху, там, где днем была широкая полоса неба, сейчас не видно было ни туч, ни звезд; сырой и холодный мрак провисал между двух линий крыш, и клубы тумана сползали вниз по стенам. Из нескольких горевших до этого фонарей два или три почему-то погасли; погасло и окно первого этажа, где совсем недавно офицер пел трагический и прекрасный вальс.

— Право, Юра, дай кокаину... — не выдержал Николай.

Юрий, видимо, чувствовал то же смятение духа — он закивал головой, будто Николай сказал что-то замечательно верное, и полез в карман.

На этот раз он не поскупился: подняв голову, Николай изумленно заметил, что наваждение исчезло и вокруг — обычная вечерняя улица, пусть темноватая и мрачноватая, пусть затянутая тяжелым туманом, но все же одна из тех, где прошло его детство и юность, с обычными скучными украшениями на стенах домов и помигивающими тусклыми фонарями.

Вдали у Литейного грохнул винтовочный выстрел, потом еще один, и сразу же донеслись нарастающий стук копыт и дикие кавалерийские вскрики. Николай потянул из-за плеча карабин — прекрасной показалась ему смерть на посту, с оружием в руках и вкусом крови во рту. Но Юрий оставался спокоен.

— Это наши, — сказал он.

И точно: всадники, появившиеся из тумана, были одеты в ту же форму, что и Юрий с Николаем. Еще секунда, и их лица стали различимы.

Впереди, на молодой белой кобыле, ехал капитан Приходов — концы его черных усов загибались вверх, глаза отважно блестели, а в руке замороженной молнией сверкала кавказская шашка. За ним сомкнутым строем скакали двенадцать юнкеров.

— Ну как? Нормально?

— Отлично, господин капитан! — вытягиваясь в седлах, хором ответили Юрий с Николаем.

— На Литейном бандиты, — озабоченно сказал капитан. — Вот...

Николаю в ладонь шлепнулся тусклый металлический диск на длинной цепочке. Это были часы. Он ногтем откинул крышку и увидел глубоко врезанную готическую надпись на немецком — смысла ее он не понял и передал часы Юрию.

— «От генерального... от генерального штаба», — перевел тот, с трудом разобрав в полутьме мелкие буквы. — Видно, трофейные. Но что странно, господин капитан, цепочка — из стали. На нее дверь можно запирать.

Он вернул часы Николаю — действительно, хоть цепочка была тонкой, она казалась удивительно прочной; на стальных звеньях не было стыков, будто она была целиком выточена из куска металла.

— А еще людей можно душить, — сказал капитан. — На Литейном три трупа. Два прямо на углу — инвалид и сестра милосердия, задушены и раздеты. То ли их там выбросили, то ли там же, на месте... Скорее всего выбросили — не могла же сестра на себе безного тащить... Но какое зверство! На фронте такого не видел. Ясно, отнял у инвалида часы, и их же цепочкой... Знаете, там такая большая лужа...

Один из юнкеров тем временем отделился от группы и подъехал к Юрию. Это был Васька Зиверс, большой энтузиаст конькобежного спорта и артиллерийского дела, — в училище его не любили за преувеличенный педантизм и плохое знание русского языка, а с Юрием, отлично знавшим немецкий, он был накоротке.

— ...За сотню метров, — говорил капитан, похлопывая шашкой по сапогу, — третье тело успели в подворотню... Женщина, тоже почти голая... и след от цепочки...

Васька тронул Юрия за плечо, и тот, не отводя от капитана глаз и кивая, вывернул лодочкой ладонь. Васька быстро положил в нее крохотный сверточек. Все это происходило за спиной Юрия, но тем не менее не укрылось от капитана.

— Что такое, юнкер Зиверс? — перебил он сам себя. — Что там у вас?

— Господин капитан! Через четыре минуты меняем караул у Николаевского вокзала! — отдав честь, ответил Васька.

— Рысью — вперед! — взревел капитан. — Кр-ругом! На Литейный! У Смольного быстро не пройдем!

Юнкера развернулись и унеслись в туман; капитан Приходов задержал пляшущую кобылу и крикнул Юрию с Николаем:

— Не разъезжаться! Никого без пропуска не пускать, на Литейный не выезжать, к Смольному тоже не соваться! Ясно? Смена в десять тридцать!

И исчез вслед за юнкерами — еще несколько секунд доносился стук копыт, а потом все стихло, и уже не верилось, что на этой сырой и темной улице только что было столько народу.

— От генерального штаба... — пробормотал Николай, подбрасывая серебряную лепешку на ладони. Второпях капитан забыл о своей страшной находке.

Часы имели форму маленькой раковины; на циферблате было три стрелки, а сбоку — три рифленых головки для завода. Николай слегка нажал на верхнюю и чуть не уронил часы на мостовую — они заиграли. Это были первые несколько нот

напыщенной немецкой мелодии — Николай сразу ее узнал, но названия не помнил.

— Аппассионата, — сказал Юрий, — Людвиг фон Бетховен. Брат рассказывал, что немцы ее перед атакой на губных гармошках играют. Вместо марша.

Он развернул Васькин сверток — тот, как оказалось, состоял почти из одной бумаги. Внутри было пять ампул с неровно запаянными шейками. Юрий пожал плечами.

— То-то Приходов заерзал, — сказал он, — насквозь людей видит. Только что с ними делать без шприца.. Педант называется — берет кокаин, а отдает эфедрином. У тебя тоже шприца нет?

— Отчего, есть, — безрадостно ответил Николай.

Эфедрина не хотелось, хотелось вернуться в казарму, сдать шинель в сушилку, лечь на койку и уставиться на знакомое пятно от головы, которое спросонья становилось то картой города, то хищным монголоидным лицом с бородкой, то перевернутым обезглавленным орлом — Николай совершенно не помнил своих снов и сталкивался только с их эхом.

С отъездом капитана Приходова улица опять превратилась в ущелье, ведущее в ад. Происходили странные вещи: кто-то успел запереть на висячий замок подворотню в одном из домов; на самой середине мостовой появилось несколько пустых бутылок с ярко-желтыми этикетками, а поверх рекламы лимонада в окне кондитерской наискосок повисло оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклицательными знаками, фамильярно предлагала искать товар, причем слова «товар» и «ищи» были набраны вместе. Погасли уже почти все фонари — остались гореть только два, друг напротив друга; Николай подумал, что кому-нибудь декаденту из «Бродячей собаки», уже не способному воспринимать вещи просто, эти фонари показались бы мистическими светящимися воротами, возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и поглотить весь мир. «Товар-ищи», — повторил он про себя первую строчку объявления.

Где-то снова завыли псы, и Николай затосковал. Налетел холодный ветер, загредел жестяным листом на крыше и умчался, но оставил после себя странный и неприятный звук,

пронзительный далекий скрип где-то в стороне Литейного. Звук то исчезал, то появлялся и постепенно становился ближе — словно Шпалерная была густо посыпана битым стеклом, и по ней медленно, с перерывами, вели огромным гвоздем, придвигая его к двум последним горящим фонарям.

— Что это? — глупо спросил Николай.

— Не знаю, — ответил Юрий, взглядываясь в клубы черного тумана. — Посмотрим.

Скрип стих на небольшое время, потом раздался совсем рядом, и один из клубов тумана, налившись особенной чернотой, отделился от слоившейся между домами темной мглы. Приближаясь, он постепенно приобретал контуры странного существа: сверху, до плеч, — человек, а ниже — что-то странное, массивное и шевелящееся; нижняя часть и издавала отвратительный скрипящий звук. Это странное существо тихо приборматывало одновременно двумя голосами — мужской стонал, женский утешал, причем женским говорила верхняя часть, а мужским — нижняя. Существо на два голоса прокашлялось, вступило в освещенную зону и остановилось, лишь в этот момент, как показалось Николаю, приобретя окончательную форму.

Перед юнкерами в инвалидном кресле сидел мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями. Перебинтовано было даже лицо — в просветах между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба и отсвечивающий красным прищуренный глаз. В руках мужчина держал старинного вида гитару, украшенную разноцветными шелковыми лентами.

За креслом, держа водянистые пальцы на его спинке, стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вытертой кацавейке. Она была не то чтобы толстой, но какой-то оплывшей, словно мешок с крупой. Глаза женщины были круглы и безумны и видели явно не Шпалерную улицу, а что-то такое, о чем лучше даже не догадываться; на ее голове косо стоял маленький колпак с красным крестом; наверно, он был закреплен, потому что по физическим законам ему полагалось упасть.

Несколько секунд прошли в молчании, потом Юрий облизнул высохшие губы и сказал:

— Пропуск.

Инвалид заерзал в своем кресле, поднял взгляд на сестру милосердия и беспокойно замычал. Та вышла из-за кресла, наклонилась в сторону юнкеров и уперла руки в коленки —



Николай отчего-то поразился, увидев стоптанные солдатские сапоги, точащие из-под голубой юбки.

— Да стыд у вас есть али нет совсем? — тихо сказал она, ввинчиваясь взглядом в Юрия. — Он же раненный в голову, за тебя муку принял. Откуда у него пропуск?

— Раненный, значит, в голову? — задумчиво переспросил Юрий. — Но теперь как бы исцелился? Читаем. Знаем. Пропуск.

Женщина растерянно оглянулась.

Инвалид в кресле дернул струну гитары, и по улице прошел низкий вибрирующий звук — он словно подстегнул сестру, и она, снова пригнувшись, заговорила:

— Сынок, ты не серчай... Не серчай, если я не так что сказала, а только пройти нам обязательно надо. Если бы ты знал, какой этот человек сидит... Герой. Поручик Преображенского полка Кривотыкин. Герой брусиловского прорыва. У него боевой товарищ завтра на фронт отбывает, может, не вернется. Пусты, надо им повидаться, понимаешь?

— Значит, Преображенского полка?

Инвалид закивал головой, прижал к груди гитару и заиграл. Играл он странно, словно на раскаленной медной балалайке — с опаской ударяя по струнам и быстро отдергивая пальцы, — но мелодию Николай узнал: марш Преображенского полка. Другой странностью было то, что вырез резонатора, у всех гитар круглый, у этой имел форму пентаграммы; видимо, этим объяснялся ее тревожащий душу низкий звук.

— А ведь Преображенский полк, — без выражения сказал Юрий, когда инвалид кончил играть, — не участвовал в Брусиловском прорыве.

Инвалид что-то замычал, указывая гитарой на сестру; та обернулась к нему и, видимо, старалась понять, чего он хочет, — это никак у нее не получалось, пока инвалид вновь не извлек из своего инструмента вибрирующий звук, — тогда она спохватилась:

— Да ты что, сынок, не веришь? Господин поручик сам на фронт попросился, служил в третьей Заамурской дивизии, в конногорном дивизионе...

Инвалид в кресле с достоинством кивнул.

— С двадцатью всадниками австрийскую батарею взял. От главнокомандующего награды имеет, — укоряюще произнесла сестра милосердия и повернулась к инвалиду. — Господин поручик, да покажите ему...

Инвалид полез в боковой карман френча, вынул что-то и сунул сестре, а та передала Юрию. Юрий не глядя отдал лист Николаю. Тот развернул его и прочел:

*«Пор. Кривотыкин 43 Заамурского полка 4 батальона. Приказываю атаковать противника на фронте от д. Омут до перекрестка дорог, что севернее отм. 265 вкл., нанося главный удар между деревнями Омут и Черный Поток с целью овладеть высотой 235, мол. фермой и северным склоном высоты 265. П. п. командир корпуса генерал-от-артиллерии Баранцев».*

— Что еще покажете? — спросил Юрий.

Инвалид полез в карман и вытащил часы, отчего Николаю на секунду стало не по себе. Сестра передала их Юрию, тот осмотрел и отдал Николаю. «Так, глядишь, часовым мастером станешь, — подумал Николай, откидывая золотую крышку, — за час вторые». На крышке была гравировка:

*«Поручику Кривотыкину за бесстрашный рейд. Генерал Баранцев».*

Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и щурился на что-то вдаль, задумавшись, видно, о своих боевых друзьях.

— Хорошие часы. Только мы вам лучше покажем, — сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, перехватил ладонью и нажал рифленую шпичку на боку.

Часы заиграли.

Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка — пусть даже гениальная — так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно: вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного; следом, стуча солдатскими сапогами, побежала сестра милосердия. Николай сдернул с плеча карабин, повозился с шпичкой предохранителя и выстрелил вверх.

— Стоять! — крикнул он.

Сестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана — завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол и два раза выстрелил в туман, наугад: беглецов уже не было видно.

— И чего они к Смольному так стремятся? — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руке часы.

— Не знаю, — сказал Николай. — Наверное, к большевикам хотят — там можно спирт купить и кокаин. Совсем недорого.

— Что, покупал?

— Нет, — ответил Николай, закидывая карабин за плечо, — слышал. Бог с ним. Ты про свою миссию начал рассказывать, про доктора Шпуллера...

— Штейнера, — поправил Юрий; острые ощущения придали ему разговорчивости. — Это такой визионер. Я, когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Садился поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу обступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стал он на меня коситься на лекциях. Поговорит, поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать, — а он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать — про Апокалипсис говорил, про невидимый мир и так далее. А потом сказал, что я отмечен особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни занимался, в духовном смысле я стою на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался.

— Это когда ты успел? — спросил Николай.

— В прошлых воплощениях. Он — то есть не демон, а доктор Штейнер — сказал, что только я могу его остановить, но смогу ли — никому не известно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в одной древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке — копье, в другой — песочные часы, все в латах, и вроде один из них — я.

— И ты во все это веришь?

— Черт его знает, — усмехнулся Юрий, — пока, видишь, с медичками перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вколем?

— Пожалуй, — согласился Николай и полез под шинель, в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской никелированной коробочке лежал маленький шприц.

На улице стало совсем тихо. Ветер больше не выл в трубах; голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и по-

дались в другие места; на Шпалерную сошел покой — даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим.

— Два сантиграмма, — раздавался шепот.

— Конечно, — шептал другой голос в ответ.

— Откинь шинель, — говорил первый шепот, — иглу погнешь.

— Пустяки, — откликнулся второй.

— Ты с ума сошел, — шептал первый голос, — пожалей лошадь...

— Ничего, она привычная, — шептал второй...

...Николай поднял голову и огляделся. Трудно было поверить, что осенняя петроградская улица может быть так красива. За окном цветочного магазина в дубовых кадках росли три крошечных сосенки; улица круто шла вверх и становилась шире; окна верхних этажей отражали только что появившуюся в просвете туч Луну — все это было Россией и было до того прекрасно, что у Николая на глаза навернулись слезы.

— Мы защитим тебя, хрустальный мир, — прошептал он и положил ладонь на рукоять шашки. Юрий крепко держал ремень карабина у левого плеча и не отрываясь глядел на Луну, несущуюся вдоль рваного края тучи. Когда она скрылась, он повернул вдохновенное лицо к спутнику.

— Удивительная вещь эфедрин, — сказал он.

Николай не ответил — да и что можно было ответить? Уже по-иному дышала грудь, другим казалось все вокруг, и даже отвратительная изморось теперь ласкала щеки. Тысячи мелких и крупных вопросов, совсем недавно бывших мучительными и неразрешимыми, вдруг оказались не то что решенными, но совершенно несущественными; центр тяжести жизни был совершенно в другом, и когда это другое вдруг открылось, выяснилось, что оно всегда было рядом, присутствовало в любой минуте любого дня, но было незаметным, как становится невидимой долго висящая на стене картина.

— Я жалобной рукой сжимаю свой костыль, — стал нарcapeв читать Юрий. — Мой друг — влюблен в Луну — живет ее обманом. Вот — третий на пути...

Николай уже не слышал товарища, он думал о том, как завтра же изменит свою жизнь. Мысли были бессвязные, иногда откровенно глупые, но очень приятные. Начать обяза-

тельно надо было с того, чтобы встать в пять тридцать утра и облиться холодной водой, а дальше была такая уйма вариантов, что остановиться на чем-нибудь конкретном было крайне тяжело, и Николай стал напряженно выбирать, незаметно для себя приборматывая вслух и сжимая от возбуждения кулаки.

— ...Заборы — как гроба! Повсюду прееет гниль! Все, все погребено в безлюдье окаянном! — читал Юрий и рукавом шинели вытирал выступающий на лбу пот.

Некоторое время ехали молча, потом Юрий стал напевать какую-то песенку, а Николай впал в странное подобие дремы. Странное потому, что это было очень далекое от сна состояние — как после нескольких чашек крепкого кофе, но сопровождающееся подобием сновидений. Перед Николаем, наглядываясь на Шпалерную, мелькали дороги его детства: гимназия и цветущие яблони за ее окном; радуга над городом; черный лед катка и стремительные конькобежцы, освещенные ярким электрическим светом; безлистные столетние липы, двумя рядами сходящиеся к старинному дому с колоннадой. Но потом стали появляться картины как будто знакомые, но на самом деле никогда не виданные, — померещился огромный белый город, увенчанный тысячами золотых церковных головок и как бы висящий внутри огромного хрустального шара, и этот город — Николай знал это совершенно точно — был Россией, а они с Юрием, который во сне был не совсем Юрием, находились за его границей и сквозь клубы тумана мчались на конях навстречу чудовищу, в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров: бесформенный клуб пустоты, источающий ледяной холод.

Николай вздрогнул и широко открыл глаза. В броне блаженства появилась крохотная трещинка, и туда просочилось несколько капель неуверенности и тоски. Трещинка росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром (ровно в пять тридцать) повороте всей жизни и судьбы перестала доставлять удовольствие. А еще через пару минут, когда впереди на двух сторонах улицы замигали и поплыли навстречу два фонаря, эта мысль стала несомненным и главным источником переполнившего душу страдания.

«Отходняк», — наконец вынужден был признаться себе Николай. Странное дело — откровенная прямота этого вывода словно заделала брешь в душе, и количество страдания в ней перестало увеличиваться. Но теперь надо было очень тщательно следить за своими мыслями, потому что любая из них могла стать началом неизбежной, но пока еще, как хотелось верить, далекой полосы мучений, которых каждый раз требовал за свои услуги эфедрин.

С Юрием явно творилось то же самое, потому что он повернулся к Николаю и сказал тихо и быстро, словно экономя выходящий их легких воздух:

— Надо на кишку было кинуть.

— Не хватило бы, — так же отрывисто ответил Николай и почувствовал к товарищу ненависть за то, что тот вынудил его открыть рот.

Под копытами лошади раздался густой противный хруст — это были осколки выбитой наганым рикошетом витрины.

«Хр-р-рус-с-стальной мир», — с отвращением к себе и всему на свете подумал Николай. Недавние видения показались вдруг настолько нелепыми и стыдными, что захотелось в ответ на хруст стекла также заскрипеть зубами.

Теперь ясно стало, что ждет впереди — отходняк. Сначала он был где-то возле фонарей, а потом, когда фонари оказались рядом, отступил в клубящийся у пересечения с Литейным туман и пока выжидал. Несомненным было то, что холодная, мокрая и грязная Шпалерная — единственное, что существует в мире, а единственное, что можно от нее ждать, — беспросветная тоска и мука.

По улице пробежала черная собака неопределенной породы с задранном хвостом, рывкнула на двух сгорбленных серых обезьянок в седлах и нырнула в подворотню, а вслед за ней со стороны Литейного появился и стал приближаться отходняк.

Он оказался усатым мужиком средних лет, в кожаном картузе и блестящих сапогах — типичным сознательным пролетарием. Перед собой пролетарий толкал вместительную желтую тележку с надписями «Лимонадь» на боках, а на переднем борту тележки был тот самый рекламный плакат, который бесил Николая даже и в приподнятом состоянии духа, — сейчас же он показался всей мировой мерзостью, собранной на листе бумаги.

— Пропуск, — мучительно выдавил из себя Юрий.

— Пожалуйста, — веско сказал мужчина и подал Юрию сложенную вдвое бумагу.

— Так. Эйно Райхья... Дозволяется... Комендант... Что везете?

— Лимонад для караула. Не желаете?

В руках у пролетария блеснули две бутылки с ядовито-желтыми этикетками. Юрий слабенько махнул рукой и выронил пропуск — пролетарий ловко поймал его над самой лужей.

— Лимонад? — оступело спросил Николай. — Куда? Зачем?

— Понимаете ли, — отозвался пролетарий, — я служащий фирмы «Карл Либкнехт и сыновья», и у нас соглашение о снабжении лимонадом всех петроградских постов и караулов. На средства генерального штаба.

— Коля, — почти прошептал Юрий, — сделай одолжение, глянь, что там у него в тележке.

— Сам глянь.

— Да лимонад же! — весело отозвался пролетарий и пнул свою повозку сапогом. Внутри картаво загрохотали бутылки; повозка тронулась с места и проехала за фонари.

— Какого еще генерального штаба... А впрочем, пустое. Проходи, пой посты и караулы... Только быстрее, садист, быстрее!

— Не извольте беспокоиться, господа юнкера! Всю Россию напоим!

— Иди-и-и... — вытягиваясь в седле, провыл Николай.

— Иди-и... — сворачиваясь в серый войлочный комок, прохрипел Юрий.

Пролетарий спрятал пропуск в карман, взялся за ручки своей тележки и покатил ее вдаль. Скоро он растворился в тумане, потом долетел хруст стекла под колесами, и все стихло. Прошла еще секунда, и какие-то далекие часы стали бить десять. Где-то между седьмым и восьмым ударом в воспаленный и страдающий мозг Николая белой чайкой впорхнула надежда:

— Юра... Юра... Ведь у тебя кокаин остался?

— Боже, — облегченно забормотал Юрий, хлопая себя по карманам, — какой ты, Коля, молодец... Я ведь и забыл совсем... Вот.

— Полную... отдам, слово чести!

— Как знаешь. Подержи повод... Осторожно, дубина, высыпешь все. Вот так. Приношу извинения за дубину.

— Принимаю. Фуражкой закрой — сдует.

Шпалерная медленно ползла назад, остолбенело прислушиваясь своими черными окнами и подворотнями к громкому разговору в самом центре мостовой.

— Главное в Стриндберге — не его так называемый демократизм и даже не его искусство, хоть оно и гениально, — оживленно жестикулируя свободной рукой, говорил Юрий. — Главное — это то, что он представляет новый человеческий тип. Ведь нынешняя культура находится на грани гибели и, как любое гибнущее существо, делает отчаянные попытки выжить, порождая в алхимических лабораториях духа странных гомункулусов. Сверхчеловек — вовсе не то, что думал Ницше. Природа сама еще этого не знает и делает тысячи попыток, в разных пропорциях смешивая мужественность и женственность — заметь, не просто мужское и женское. Если хочешь, Стриндберг — просто ступень, этап. И здесь мы опять приходим к Шпенглеру...

«Вот черт, — подумал Николай, — как фамилию-то запомнить?» Но вместо фамилии он спросил другое:

— Слушай, а помнишь, ты стихотворение читал? Какие там последние строчки?

Юрий на секунду наморщил лоб.

И дальше мы идем. И видим в щели зданий  
Старинную игру вечерних содроганий.



## СПИ

В самом начале третьего семестра, на одной из лекций по эм-эл философии Никита Сонечкин сделал одно удивительное открытие.

Дело было в том, что с некоторых пор с ним творилось непонятное: стоило маленькому ушастому доценту, похожему на одолеваемого кощунственными мыслями попаика, войти в аудиторию, как Никиту начинало смертельно клонить в сон. А когда доцент принимался говорить и показывать пальцем в люстру, Никита уже ничего не мог с собой поделать — он засыпал. Ему чудилось, что лектор говорит не о философии, а о чем-то из детства: о каких-то чердаках, песочницах и горящих помойках; потом ручка в Никитиных пальцах забиралась по диагонали в самый верх листа, оставив за собой неразборчивую фразу; наконец он клевал носом и проваливался в черноту, откуда через секунду-другую выныривал, чтобы вскоре все повторилось в той же самой последовательности. Его конспекты выглядели странно и были непригодны для занятий: короткие абзацы текста пересекались длинными косыми предложениями, где шла речь то о космонавтах-невозвращенцах, то о рабочем визите монгольского хана, а почерк становился мелким и прыгающим.

Сначала Никита очень расстраивался из-за своей неспособности нормально высидеть лекцию, а потом задумался: неужели это происходит только с ним? Он стал приглядываться к остальным студентам, и здесь-то его и ждало открытие.

Оказалось, что спят вокруг почти все, но делают это гораздо умнее, чем он, — оперев лоб в раскрытую ладонь, так, что лицо оказывалось спрятанным. Кисть правой руки при этом скрывалась за локтем левой, и разобрать, пишет сидя-

щий или нет, было нельзя. Никита попробовал принять это положение и обнаружил, что сразу же изменилось качество его сна. Если раньше он рывками перемещался от полной отключенности до перепуганного бодрствования, то теперь эти два состояния соединились — он засыпал, но не окончательно, не до черноты, и то, что с ним происходило, напоминало утреннюю дрему, когда любая мысль без труда превращается в движущуюся цветную картинку, следя за которой можно одновременно дожидаться звонка переведенного на час вперед будильника.

Выяснилось, что в этом новом состоянии даже удобнее записывать лекции — надо было просто позволить руке двигаться самой, добившись, чтобы бормотание лектора скатывалось от уха прямо к пальцам, ни в коем случае не попадая в мозг; — в противном случае Никита или просыпался, или, наоборот, засыпал еще глубже, до полной потери представления о происходящем. Постепенно, балансируя между этими двумя состояниями, он так освоился во сне, что научился уделять одновременно нескольким предметам внимание той крохотной части своего сознания, которая отвечала за связи с внешним миром. Он мог, например, видеть сон, где действие происходило в женской бане (довольно частое и странное видение, поражавшее целым рядом нелепостей: на бревенчатых стенах висели рукописные плакаты со стихами, призывавшими беречь хлеб, а кряжистые русоволосые бабы со ржавыми шайками в руках носили короткие балетные юбочки из перьев), и одновременно с этим мог не только следить за потоком яичного желтка на лекторском галстуке, но и выслушивать анекдот про троих грузин в космосе, который постоянно рассказывал сосед.

Просыпаясь после философии, Никита в первые дни не мог нарадоваться своим новым возможностям, но самодовольство улетучилось, когда он понял, что может пока только слушать и писать во сне, а ведь тот, кто в это время рассказывал ему анекдот, тоже спал! Это было ясно по особому маслянистому блеску глаз, по общему положению туловища и по целому ряду мелких, но несомненных деталей. И вот, уснув на одной из лекций, Никита попробовал рассказать анекдот в ответ — специально выбрал самый простой и короткий, про международный конкурс скрипачей в Париже. У него почти получилось, только в самом конце он сбился и заговорил о

мазуте Днепропетровска вместо маузера Дзержинского. Но собеседник ничего не заметил и басовито хохотнул, когда за последним сказанным Никитой словом истекли три секунды тишины и стало ясно, что анекдот закончен.

Больше всего Никиту удивляла та глубина и вязкость, которые при разговоре во сне приобретал его голос. Но обращать на это слишком большое внимание было опасно — начиналось пробуждение.

Говорить во сне было трудно, но возможно, а до каких пределов могло в этом дойти человеческое мастерство, показывал пример лектора. Никита никогда бы не догадался, что тот тоже спит, если бы не заметил, что лектор, имевший привычку плотно прислоняться к высокой кафедре, время от времени переворачивается на другой бок, оказываясь к аудитории спиной и лицом к доске (чтобы оправдать невежливое положение своего туловища, он вяло взмахивал рукой в направлении пронумерованных белых предпосылок). Иногда лектор поворачивался на спину — тогда его речь замедлялась, а высказывания становились либеральными до радостного испуга, — но основную часть курса он читал на правом боку.

Скоро Никита понял, что спать удобно не только на лекциях, но и на семинарах, и постепенно у него стали выходить некоторые несложные действия — так, он мог не просыпаясь встать, приветствуя преподавателя, мог выйти к доске и стереть написанное или даже поискать в соседних аудиториях мел. Когда его вызывали, он сперва просыпался, пугался и начинал блуждать в словах и понятиях, одновременно восхищаясь неподражаемым умением спящего преподавателя морщиться, кашлять и постукивать рукой по столу, не только держа глаза открытыми, но и придавая им подобие выражения.

Первый раз ответить во сне получилось у Никиты неожиданно и без всякой подготовки — просто он краем сознания заметил, что пересказывает какие-то «основные понятия» и одновременно находится на верхней площадке высокой колокольни, где играет маленький духовой оркестр под управлением любви, оказавшейся маленькой желтоволосой старушкой с обезьяньими ухватками. Никита получил пятерку и с тех пор даже конспекты первоисточников вел не просыпаясь и приходил в бодрствующее состояние только для того, чтобы выйти из читального зала. Но мало-помалу его мастерст-

во росло, и к концу второго курса он уже засыпал входя утром в метро, а просыпался выходя с той же станции вечером.

Но кое-что стало его пугать. Он заметил, что все чаще засыпает неожиданно, не отдавая себе в этом отчета. Только проснувшись, он понимал, что, например, приезд к ним в институт товарища Луначарского на тройке вороных с бубенцами — не часть идеологической программы, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки (к этой дате готовилась в те дни вся страна), а обычное сновидение. Было много путаницы, и чтобы иметь возможность в любой момент выяснить, спит ли он или нет, Никита стал носить в кармане маленькую булавку с зеленой горошиной на конце; когда у него возникали сомнения, он колот себя в ляжку, и все выяснялось. Правда, появился новый страх, что ему может просто сниться, будто он колот себя булавкой, но эту мысль Никита отогнал как невыносимую.

Отношения с товарищами по институту у него заметно улучшились — комсорг Сережа Фирсов, который мог во сне выпить одиннадцать кружек пива подряд, признался, что раньше все считали Никиту психом или, во всяком случае, человеком со странностями, но вот наконец выяснилось, что он вполне свой. Сережа хотел добавить что-то еще, но у него заплелся язык, и он неожиданно стал говорить о сравнительных шансах Спартака и Салавата Юлаева в этом году, из чего Никита, которому в этот момент снилась Курская битва, понял, что приятель видит что-то римско-пугачевское и крайне запутанное.

Постепенно Никиту перестало удивлять, что спящие пассажиры метро ухитряются переругиваться, наступать друг другу на ноги и удерживать на весу тяжелые сумки, набитые рулонами туалетной бумаги и консервами из морской капусты, — всему этому он научился сам. Поразительным было другое. Многие из пассажиров, пробравшись к пустому месту на сиденье, немедленно роняли голову на грудь и засыпали — не так, как спали за минуту до этого, а глубже, полностью отъединяя себя от всего вокруг. Но услышав сквозь сон название своей станции, они никогда не просыпались окончательно, а с потрясающей меткостью попадали в то самое состояние, из которого перед этим ныряли во временное небытие. Первый раз Никита заметил это, когда сидевший перед ним мужик в синем халате, храпевший на весь вагон, вдруг

дернул головой, заложил проездным раскрытую на коленях книгу, закрыл глаза и погрузился в неподвижное неорганическое оцепенение; через некоторое время вагон сильно трянуло, и мужик, еще раз дернув головой, захрапел опять. То же самое, как догадался Никита, происходило и с остальными, даже если они не храпели.

Дома он стал внимательно приглядываться к родителям и скоро заметил, что никак не может застать их в бодрствующем состоянии, — они спали все время. Один только раз отец, сидя в кресле, откинул голову и увидел кошмар: завопил, замахал руками, вскочил и проснулся — это Никита понял по выражению его лица, — но тут же выругался, заснул опять и сел ближе к телевизору, где как раз синим цветом мерцало какое-то историческое совместное засыпание.

В другой раз мать уронила себе на ногу утюг, сильно ушиблась и обожглась и так жалобно всхлипывала во сне до приезда бригады «Скорой помощи», что Никита, не в силах вынести этого, заснул сам и проснулся только вечером, когда мать уже мирно клевала носом над «Одним днем Ивана Денисовича». Книгу принес заглянувший на запах бинтов и крови сосед, старик антропософ Максимка, с детства напоминавший Никите опустившегося библейского патриарха. Максимка, изредка посещаемый кем-нибудь из многочисленных уголовных внуков, тихо досыпал свой век в обществе нескольких умных котов да темной иконы, с которой он шепотом переругивался каждое утро.

После случая с утюгом начался новый этап Никитиных отношений с родителями. Оказалось, что все скандалы и непонимания ничего не стоит предотвратить, если засыпать в самом начале беседы. Однажды они с отцом долго обсуждали положение в стране; во время разговора Никита ерзал на стуле и вздрагивал, потому что ухмыляющийся Сенкевич, привязав его к мачте папирусной лодки, что-то говорил на ухо худому и злому Туру Хейердалу; лодка затерялась где-то в Атлантике, и Хейердал с Сенкевичем не скрываясь ходили в черных масонских шапочках.

— Умнеешь, — сказал отец, одним глазом глядя в потолок, а другим на тумбочку для морской капусты, — только непонятно, кто тебе эту чушь наплел насчет шапочек. У них фартуки, длинные такие. — Отец показал руками.

Вообще, выяснилось: к какому бы роду человеческой дея-

тельности ни пытался приспособить себя Никита, трудности существовали только до того момента, когда он засыпал, а потом, без всякого участия со своей стороны, он делал все необходимое, да так хорошо, что, проснувшись, удивлялся. Это относилось не только к институту, но и к свободным часам, бывшим для этого довольно мучительными из-за своей бессмысленной протяженности. Во сне Никита проглотил многие из книг, никак не поддававшихся до этого расшифровке, и даже научился читать газеты, чем окончательно успокоил родителей, нередко до этого с горечью шептавшихся по его поводу.

— У тебя прямо какое-то возрождение к жизни! — говорила ему мать, любившая торжественные обороты. Обычно эта фраза произносилась на кухне, во время приготовления борща. В кастрюлю упала свекла, и Никите начинало сниться что-то из Мелвилла. В открытое окно влетал запах жареной морской капусты и коровье мычание валторн; музыка стихала, и радиоголос говорил:

— Сегодня в девятнадцать часов предлагаем вашему вниманию концерт мастеров искусств, являющийся как бы заключительным аккордом в торжественной симфонии, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки!

Вечером семья собиралась у синего окна во вселенную. У Никитиных родителей была любимая семейная передача: «Камера смотрит в мир». Отец по-домашнему выходил к ней в своей полосатой серой пижаме и сворачивался в кресле; из кухни с тарелкой в руке подтягивалась мать, и они часами замороженно поворачивали полуприкрытые глаза за плывущими по экрану пейзажами.

— Если вы хотите отведать свежих бананов и запить их кокосовым молоком, — говорил телевизор, — если вы хотите насладиться шумом прибоя, теплым золотым песком и нежными лучами солнца, то...

Тут телевидение делало интригующую паузу.

— ...то это значит, что вы хотите побывать в бананово-лимонном Сингапуре.

Никита посапывал рядом с родителями. Иногда до него долетало преломленное мутной призмой сна название передачи, и содержание сновидения задавалось экраном. Так, во время программы «Наш сад» Никите несколько раз привиделся основатель популярного полового извращения; на

французской маркизе был клюквенный стрелецкий кафтан с золотыми галунами, и он звал с собой в какое-то женское общество. А иногда все смешивалось в полную неразбериху, и архимандрит Юлиан, непременный участник любого уважающего себя «круглого стола», выглядывал из длинного ЗиЛа с мигалкой и говорил:

— До встречи в эфире!

При этом он испуганно тыкал пальцем вверх, в небесную пустоту, где одиноко стояла красная точка Антареса из передачи об Иване Бунине. Кто-нибудь из родителей переключал программу, Никита чуть приоткрывал глаза и видел на экране майора в голубом берете, стоящего в жарком горном ущелье. «Смерть? — улыбался майор. — Она страшна только сначала, в первые дни. По сути, служба здесь стала для нас хорошей школой — мы учили духов, духи учили нас...»

Щелкал выключатель, и Никита отправлялся в свою комнату спать под одеялом на кровати. Утром, услышав шаги в коридоре или звон будильника, он осторожно приоткрывал глаза, некоторое время привыкал к дневному свету, вставал и шел в ванную, где в его голову обычно приходили разные мысли и ночной сон уступал место первому из дневных.

«Как же все-таки одинок человек, — думал он, ворочая во рту зубной щеткой. — Ведь я даже не знаю, что снится моим родителям, или прохожим на улицах, или дедушке Максиму. Хоть бы спросить кого, почему мы все спим».

И тут же он пугался, понимая, насколько эта тема невозможна для обсуждения. Ведь даже самые бесстыдные из книг, какие прочел Никита, ни словом об этом не упоминали; точно так же никто при нем не говорил об этом вслух. Никита догадывался, в чем дело, — это была не просто одна из недомолвок, а своеобразный шарнир, на котором поворачивались жизни людей, и если кто-то даже и кричал, что надо говорить всю как есть правду, то делал это не потому, что очень уж ненавидел недомолвки, а потому, что к этому его вынуждала главная недомолвка существования. Однажды, стоя в медленной очереди за морской капустой, заполнившей пол-универсама, Никита увидел даже особый сон на эту тему.

Он находился в каком-то сводчатом коридоре, потолок которого был украшен лепными виноградными кистями и курносими женскими профилями, а по полу шла красная ковровая дорожка. Никита пошел по коридору, несколько раз по-

вернул и вдруг оказался в аппендиксе, кончающемся закрашенным окном; одна из дверей короткого коридорного тупика открылась, оттуда выглянул пухлый мужчина в темном костюме и, сделав счастливые глаза, поманил Никиту рукой. Никита вошел.

В центре комнаты, за большим круглым столом сидели человек десять-пятнадцать, все в костюмах, с галстуками, и все довольно похожие друг на друга — лысоватые, пожилые, с тенью одной какой-то невыразимой думы на лицах. На Никиту не обратили внимания.

— Ни тени сомнения! — говорил выступающий. — Надо сказать всю правду. Люди устали.

— А почему бы и нет? Конечно! — отозвались несколько бодрых голосов, и заговорили все сразу; началась неразбериха, шум, пока тот, кто говорил в самом начале, не хлопнул изо всех сил по столу папкой с надписью «ВРПО Дальрыба» (надпись, как сообразил Никита, была на самом деле вовсе не на папке, а на банке морской капусты из другого сна). Удар пришелся всей плоскостью, и звук вышел тихим, но очень долгим и увесистым, похожим на звон колокола с глушителем. Все стихло.

— Понятно, — вновь заговорил хлопнувший, — надо сначала выяснить, что́ из всего этого выйдет. Попробуем составить комиссию, скажем, в составе трех человек.

— Зачем? — спросила девушка в белом халате.

Никита понял, что она здесь из-за него, и протянул ей деньги за свои пять банок. Девушка издала ртом звук, похожий на трещащее жужжание кассового аппарата, но на Никиту даже не поглядела.

— А затем, — ответил ей мужчина, хоть Никита уже миновал кассу и шел теперь к дверям универсама, — затем, что те, кто войдет в эту комиссию, сначала попробуют сказать всю правду друг другу.

Очень быстро договорились насчет членов комиссии — ими стали сам оратор и двое мужчин в синих тройках и роговых очках, похожие как родные братья: даже перхоти у обоих было больше на левом плече. (Разумеется, Никита отлично знал, что и перхоть на плечах, и простонародный выговор некоторых слов не настоящие и являются просто проявлениями принятой в таких снах эстетики.) Остальные вышли в коридор, где светило солнце, дул ветер и гудели машины, и пока



Никита спускался в подземный переход, дверь в комнату заперли, а чтоб никто не подглядывал, замочную скважину замазали икрой с бутерброда.

Стали ждать. Никита миновал памятник противотанковой пушке, магазин «Табак» и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного Дворца бракосочетаний — это значило, что до дома еще пять минут ходьбы, — когда из комнаты, откуда все это время доносились тихие неразборчивые голоса, вдруг послышалось какое-то бульканье и треск, вслед за чем наступила полная тишина. Вся правда, видимо, была сказана, и кто-то постучал в дверь.

— Товарищи! Как дела?

Ответа не было. В маленькой толкучке у дверей начали переглядываться, и какой-то загорелый европейского вида мужчина по ошибке переглянулся с Никитой, но сразу же отвел глаза и раздраженно что-то пробормотал.

— Ломаем! — решили наконец в коридоре.

Дверь вылетела с пятого или с шестого удара, как раз когда Никита входил в свой подъезд, после чего он вместе с ломавшими дверь очутился в совершенно пустой комнате, на полу которой расплзлась большая лужа. Никита сперва решил, что это лужа, которую он видел в лифте, но, сравнивая их контуры, убедился, что это не так. Хотя длинные языки мочи еще ползли к стенам, ни под столом, ни за шторами никого не было, а на стульях горбились и обвисали три пустых обгорелых изнутри костюма. Возле ножки опрокинутого стула блестели треснутые роговые очки.

— Вот она, правда, — прошептал кто-то за спиной.

Сон, уже порядком надоевший, никак не кончался, и Никита полез в карман за булавкой. Как назло, ее там не было. Войдя в свою квартиру, он швырнул на пол сумку с консервными банками, открыл шкаф и стал шарить по карманам всех висевших там штанов. Тем временем все вышли из комнаты в коридор и стали тревожно шептаться; опять загорелый тип чуть было не шепнул что-то Никите, но вовремя остановился. Решили, что надо срочно куда-то звонить, и загорелый, которому это было доверено, уже двинулся к телефону, как вдруг все взорвались ликующими криками — впереди, в коридоре, показались исчезнувшие трое. Они были в синих спортивных трусах и кроссовках, румяные и бодрые, как из бани.

— Вот так! — закричал, махая рукой, тот, что говорил в самом начале сна. — Это, конечно, шутка, но мы хотели показать некоторым нетерпеливым товарищам...

Со зла Никита уколол себя булавкой несколько раз сильнее, чем требовалось, и что случилось дальше, осталось неизвестным.

Подняв сумку, он отнес ее на кухню и подошел к окну. На улице был летний вечер, шли и весело переговаривались о чем-то люди, гудели машины, и все было так, как если бы любой из прохожих действительно шел сейчас под Никитиными окнами, а не находился в каком-то только ему ведомом измерении. Глядя на крохотные фигурки людей, Никита с тоской думал, что до сих пор не знает ни содержания их сновидений, ни отношения, в котором для них находятся сны и явь, и что ему совсем некому пожаловаться на повторяющийся кошмар или поговорить о снах, которые ему нравятся. Ему вдруг так захотелось пойти на улицу и с кем-нибудь — совершенно не важно с кем — заговорить обо всем этом, что он понял: как ни дик такой замысел, сегодня он именно это и сделает.

Минут через сорок он уже шел от одной из окраинных станций метро по поднимающейся к горизонту пустой улице, похожей на половинку разрезанной надвое липовой аллеи, — там, где должен был расти второй ряд деревьев, проходила широкая асфальтовая дорога. Он приехал сюда потому, что здесь были тихие, почти не посещаемые милицейскими патрулями места. Это было важно — Никита знал, что от спящего милиционера можно убежать только во сне, а адреналин в крови — плохое снотворное. Никита шел вверх, покаявая себе ногу и любуясь огромными, похожими на застывшие фонтаны зеленых чернил липами; он так загляделся на них, что чуть не упустил своего первого клиента.

Это был старичок с несколькими разноцветными значками на ветхом коричневом пиджаке, вышедший, вероятно, на обычный вечерний моцион. Он вышмыгнул из кустов, покосился на Никиту и пошел вверх. Никита догнал его и пошел рядом. Старичок время от времени поднимал руку и с силой проводил оттянутым большим пальцем по воздуху.

— Чего это вы? — помолчав, спросил Никита.

— Клопы, — отозвался старик.

— Какие клопы? — не понял Никита.

— Обыкновенные, — сказал старик и вздохнул. — Из верхней квартиры. Тут все стены дырявые.

— Надо дезинсекталем, — сказал Никита.

— Ничего. Я пальцем за ночь больше передавлю, чем вся твоя химия. Знаешь, как Утесов поет? «Мы врагов...»

Тут он замолчал, и Никита так и не узнал про клопов и Утесова. Несколько метров они прошли и тишине.

— Хряп, — вдруг сказал старик. — Хряп.

— Это клопы лопаются? — догадался Никита.

— Не, — сказал старик и улыбнулся. — Клопы тихо мрут.

А это икра.

— Какая икра?

— А вот поразмысли, — оживился старик, и его глаза заблестели хитроватым суворовским маразмом, — видишь киоск?

На углу и правда стоял запертый киоск «Союзпечати».

— Вижу, — сказал Никита.

— Видишь. Хорошо. А теперь представь, что тут косая такая будка стоит. И в ней икру продают. Ты такой икры не видел и не увидишь никогда — каждое зернышко с виноградину, понял? И вот продавщица, ленивая такая баба, взвешивает тебе полкило, совком берет из бочки — и на весы. Так она пока тебе твои полкило положит, на землю — хряп! — столько же уронит. Понял?

Глаза старика погасли. Он поглядел по сторонам, плюнул и пошел через улицу, иногда обходя что-то невидимое — возможно, лежащие на асфальте его сна кучки икры.

«Нет, — решил Никита, — надо прямо спрашивать. Черт знает, кто о чем говорит. А если милицию позовут, убегу...»

На улице уже было довольно темно. Зажглись фонари, работала из них половина, а из горевших большинство испускало слабое фиолетовое сияние, которое не столько освещало, сколько окрашивало асфальт и деревья, придавая улице характер строгого загробного пейзажа. Никита сел на скамейку под липами и замер.

Через несколько минут на краю видимой полусферы сумрака появилось что-то поскрипывающее и попискивающее, состоящее из темных и светлых пятен. Оно приближалось, двигаясь с короткими остановками, во время которых раскачивалось взад-вперед, издавая утешительный и фальшивый шепот. Приглядевшись, Никита различил женщину лет тридцати в

темной куртке и катящуюся перед ней светлую коляску. Было совершенно ясно, что женщина спит: время от времени она поправляла у головы невидимую подушку, притворяясь по обычной женской привычке лицемерить даже в одиночестве, что приводит в порядок свои пегие волосы.

Никита поднялся с лавки. Женщина вздрогнула, но не проснулась.

— Простите, — начал Никита, злясь на собственное смущение, — можно задать вам один личный вопрос?

Женщина задрала на лоб выщипанные в ниточку брови и растянула широкие губы к ушам, что, как понял Никита, означало вежливое недоумение.

— Вопрос? — переспросила она низким голосом. — Ну давай.

— Скажите, что вам сейчас снится?

Никита сделал идиотский жест рукой, обводя все вокруг, и окончательно смутился, почувствовав, что в его голосе прозвучала какая-то совершенно неуместная игривость. Женщина засмеялась воркующим голубиным смехом.

— Дурачок, — ласково сказала она, — мне не такие нравятся.

— А какие? — спросил Никита.

— С овчарками, глупыш. С большими овчарками.

«Издевается», — подумал Никита.

— Вы только поймите меня правильно, — сказал он. — Я и сам понимаю, что перехожу, так сказать, границу...

Женщина тихо вскрикнула и, отведя от него глаза, пошла быстрее.

— Понимаете, — волнуясь, продолжал Никита, — я знаю, что об этом нормальные люди не говорят. Может, я ненормальный. Но неужели вам самой никогда не хотелось с кем-нибудь это обсудить?

— Что обсудить? — переспросила женщина, словно пытается выиграть время в разговоре с сумасшедшим. Она уже почти бежала, зорко вглядываясь во тьму; коляска подпрыгивала на неровностях асфальта, и внутри что-то тяжело и безмолвно билось в клеенчатые борта.

— Именно это и обсудить, — ответил Никита, переходя на трюцу. — Вот, например, сегодня. Включаю телевизор, а там... Не знаю, что страшнее, — зал или президиум. Целый час смотрел и ничего нового не увидел, только, может, пара незнакомых поз. Один в тракторе спит, другой — на орбитальной станции, третий во сне про спорт рассказывает, а эти, ко-

торые с трамплина прыгают, тоже все спят. И выходит, что поговорить мне не с кем...

Женщина лихорадочно поправила подушку и перешла на откровенный бег. Никита, стараясь удержать сбиваемое разговором дыхание, побежал рядом — впереди стремительно росла зеленая звезда светофора.

— Вот, например, мы с вами... Слушайте, давайте я вас булавкой уколую! Как я не догадался... Хотите?

Женщина вылетела на перекресток, остановилась, да так резко, что в коляске что-то увесисто сместилось, чуть не прорвав переднюю стенку, а Никита, прежде чем затормозить, пролетел еще несколько метров.

— Помогите! — заорала женщина.

Как нарочно, метрах в пяти на боковой улице стояли двое с повязками на руках, в одинаковых белых куртках, делавших их похожими на ангелов. В первый момент они отпрянули назад, но, увидев, что Никита стоит под светофором и не проявляет никакой враждебности, осмелели и медленно приблизились. Один вступил в разговор с женщиной, которая горячо запричитала, махая руками и все время повторяя слова «пристал» и «маньяк», а второй подошел к Никите.

— Гуляешь? — дружелюбно спросил он.

— Типа того, — ответил Никита.

Дружинник был ниже его на голову и носил темные очки. (Никита давно заметил, что многим трудно спать при свете с открытыми глазами.) Дружинник обернулся к напарнику, который сочувственно кивал женщине головой и записывал что-то на бумажку. Наконец женщина выговорилась, победоносно поглядела на Никиту, поправила подушку, развернула свою коляску и двинула ее вверх по улице. Напарник подошел. Это был мужчина лет сорока с густыми усами, в надвинутой на самые уши — чтобы за ночь не растрепалась прическа — кепке и с сумкой на плече.

— Точняк, — сказал он напарнику, — она.

— А я сразу понял, — сказал очкарик и повернулся к Никите. — Тебя как звать?

Никита представился.

— Я Гаврила, — сказал очкарик, — а это Михаил. Ты не пугайся, это местная дура. Нам на инструктаже про нее каждый раз напоминают. Ее в детстве два пограничника изнасиловали, прямо в кинотеатре, во время фильма «Ко мне, Мухтар!»

С тех пор она и тронулась. У нее в коляске бюст Дзержинского в пеленках. Она каждый вечер в отделение звонит, жалуется, что ее трахнуть хотят, а сама к собачникам пристает, хочет, чтобы на нее овчарку спустили...

— Я заметил, — сказал Никита, — она странная.

— Ну и Бог с ней. Ты пить будешь?

Никита подумал.

— Буду, — сказал он.

Устроились на лавке, там же, где за несколько минут до этого сидел, размышляя, Никита, Михаил вынул из сумки бутылку экспортной «Особой московской», брелком в виде маленького меча отделил латунную пробку от фиксирующего кольца и свинтил ее одним замысловатым движением кисти. Он, видимо, был из тех еще встречающихся на Руси самородков, которые открывают пиво глазницей и ударом крепкой ладони вышибают пробку из бутылки болгарского сушняка сразу наполовину — так, что уже несложно ухватиться крепкими белыми зубами.

«А может, их спросить? — подумал Никита, принимая тяжелый картонный стаканчик и бутерброд с морской капустой. — Хотя страшно. Все-таки двое, а этот Михаил — здоровый...»

Выдохнув воздух, Никита устался в сложное переплетение теней на асфальте под ногами. С каждой волной теплого вечернего ветра узор менялся: то были ясно видны какие-то рожи и знамена, то вдруг появлялись контуры Южной Америки, то возникали три адидасовские полосы от висящих над деревом проводов, то казалось, что все это просто тени от просвеченной фонарем листвы.

Никита поднес стакан к губам. Призванная представлять страну за рубежом жидкость, решив, видимо, что дело происходит где-то в западном полушарии, проскользнула внутрь с удивительной мягкостью и тактом.

— Кстати, где это мы сейчас? — спросил Никита.

— Маршрут номер три, — отозвался очкарик Гаврила, принимая стакан.

— Ну и пенек же ты, — засмеялся Михаил. — Неужто если мент в опорном пункте чего-то там на схеме напишет, так это уже и впрямь будет «маршрут номер три»? Это бульвар Степана Разина.

Гаврила покачал пустым стаканом, ткнул почему-то пальцем в Никиту и спросил:

— Добьем?

— Ты как? — серьезно спросил Никиту Михаил, подбрасывая на ладони пробку.

— Да мне все равно, — сказал Никита.

— Ну тогда..

Второй круг стакан совершил в тишине.

— Вот и все, — задумчиво сказал Михаил. — Ничего другого людям пока не светит.

Он размахнулся и хотел уже зашвырнуть бутылку в кусты, но Никита успел поймать его за рукав.

— Дай поглядеть, — сказал он.

Михаил отдал ему бутылку, и Никита заметил на его кисти тщательно выполненную татуировку — кажется, всадника, вонзающего копьё во что-то под ногами коня, — но Михаил сразу спрятал руку в карман, а просить разрешения поглядеть на татуировку было неудобно. Никита уставился на бутылку. Этикетка была такой же, как и на «Особой московской» внутреннего розлива, только надпись была сделана латинскими буквами и с белого поля глядела похожая на глаз эмблема «Союзплодоимпорта» — стилизованный земной шарик с крупными буквами «СПИ».

— Пора, — вдруг сказал Михаил, поглядев на часы.

— Пора, — эхом повторил за ним Гаврила.

— Пора, — зачем-то произнес вслед за ними Никита.

— Надень повязку, — сказал Михаил, — а то капитан развоняется.

Никита полез в карман, вынул мятую повязку и продел в нее руку; тесемки были уже связаны. Слово «Дружинник» было перевернуто, но Никита не стал возиться: все равно, подумал он, ненадолго.

Встав с лавки, он почувствовал, что прилично закосел, и даже испугался на секунду, что это заметят в опорном пункте, но тут же вспомнил, в каком состоянии к концу дежурства был в прошлый раз сам капитан, и успокоился.

Втроем молча дошли до светофора и повернули на боковую улицу, к опорному пункту, до которого было минут десять ходьбы.

То ли дело было в водке, то ли в чем-то другом, но Никита давно не ощущал такой легкости во всем теле — каза-

лось, он не идет, а несется ввысь, в небо, качаясь на воздушных струях.

Михаил и Гаврила шли по бокам, с пьяной строгостью оглядывая улицу. Навстречу время от времени попадались компании. Сначала какие-то легкомысленные девочки, одна из которых подмигнула Никите, потом пара явных уголовников, потом несколько человек, прямо на улице поедавших торт «Птичье молоко», и другие, уже совсем непонятные люди.

«Хорошо, — подумал Никита, — что втроем. А то бы на части разорвали — вон какие хари...»

Думалось с трудом. В голове, как неоновые трубки, весело вспыхивали и гасли слова детской песни о том, что лучше всего на свете шагать вместе по просторам и хором напевать. Смысла слов Никита не понимал, но это его не беспокоило.

В опорном пункте оказалось, что все уже разошлись. Дежурный сказал, что можно было возвращаться еще час назад. Пока Никита ощупью искал свою сумку в темной комнате, где обычно проводили инструктаж и делили людей по маршрутам, Михаил и Гаврила ушли — им надо было успеть на электричку.

Сдав повязку, Никита тоже сделал вид, что спешит: ему совершенно не хотелось идти к метро вместе с капитаном и говорить о Ельцине. Выйдя на улицу, он почувствовал, что от хорошего настроения ничего не осталось. Подняв ворот, он направился к метро, обдумывая завтрашний день. Заказ с двумя батонами колбасы, звонок в Уренгой, литр водки на праздники (надо было спросить у случайных спутников по дежурству, где они брали «Особую», но теперь уже поздно), забрать Аннушку из садика, потому что жена идет к гинекологу — дура, даже тут у нее что-то не ладится, — в общем, взять у Германа Парменыча отгул на полдня за сегодняшний выход.

Вокруг уже был вагон метро, и беременная баба в упор сверлила глазами из-под низко опущенного платка его лысину; он все глядел в газету, пока сволочи не похлопали по плечу, тогда пришлось встать и уступить, но был уже перегон перед его станцией. Он подошел к дверям и поглядел на свое усталое морщинистое лицо в стекле, за которым неслись переплетенные электрические змеи. Вдруг лицо исчезло, и на его месте появилась черная пустота с далекими огнями: тоннель кончился, и поезд взлетел на мост над замерзшей рекой. Стала видна слава советскому человеку на крыше высокого дома, освещенная скрещенными голубыми лучами.



Через минуту поезд опять нырнул в тоннель, и в стекле возникли жестикулирующие алкаши, девушка со спицами, довязывающая что-то синее под схемой метрополитена, школьник с бледным лицом, мечтающий над фотографиями из учебника истории, полковник в папахе, непобедимо сжимающий чемодан с номерным замком, и еще были видны выведенные чьим-то пальцем с той стороны стекла печатные буквы «ДА». Потом впереди появилась длинная и пустая улица, занесенная снегом. Что-то колело ногу. Он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза. Небо в просвете между домами было высоким и чистым, и он очень удивился, различив среди мелкой звездной икры совок Большой Медведицы — почему-то он был уверен, что тот виден только летом.

## ОНТОЛОГИЯ ДЕТСТВА

Обычно бываешь слишком захвачен тем, что происходит с тобой сейчас, чтобы вдруг взять и начать вспоминать детство. Вообще жизнь взрослого человека самодостаточна и — как бы это сказать — не имеет пустот, в которые могло бы поместиться переживание, не связанное прямо с тем, что вокруг. Иногда только, совсем рано утром, когда просыпаешься и видишь перед собой что-то очень привычное — хотя бы кирпичную стену, — вспоминаешь, что раньше она была другой, не такой, как сегодня, хотя и не изменилась с тех пор совершенно.

Вот щель между двумя кирпичами — в ней видна застывшая полоска раствора, выгнутая волной. Если не считать лет, когда ты засыпал, ложась для разнообразия ногами в другую сторону, или того совсем уж далекого времени, когда голова еще постепенно удалялась от ног и утренний вид на стену претерпевал небольшие ежедневные сдвиги — если не брать всего этого в расчет, то всегда этот вертикальный барашек в щели между кирпичами и был первым утренним приветом от огромного мира, в котором мы живем, — и зимой, когда стена пропитывалась холодом и иногда даже покрывалась удивительной красоты серебристым налетом, и летом, когда двумя кирпичами выше появлялось треугольное, с неровными краями, солнечное пятно (только на несколько дней в июне, когда солнце уходит достаточно далеко на запад). Но за время своего долгого путешествия из прошлого в настоящее окружающие предметы потеряли самое главное — какое-то совершенно неопределимое качество. Даже не объяснить. Вот, например, с чего раньше начинался день: взрослые уходили на

работу, за ними захлопывалась дверь, и все огромное пространство вокруг, все бесконечное множество предметов и положений становилось твоим. И все запреты переставали действовать, а вещи словно расслаблялись и переставали что-то скрывать. Взять что угодно — самое привычное, хоть лежак — верхний, нижний — не важно: три параллельные доски, поперечная железная полоса снизу, и на каждой такой полосе по три выпирающих заклепки. Так вот, если рядом был хоть один взрослый, лежак, честное слово, как-то сжимался, становился узким и неудобным. А когда они уходили работать, не то он становился шире, не то появлялась возможность удобно на нем устроиться. И каждая из досок — тогда их еще не красили — покрывалась узором, становились видны годовые кольца, пересеченные когда-то пилой под самыми немыслимыми углами. То ли в присутствии взрослых они куда-то исчезали, то ли просто не приходило в голову обращать на такие вещи внимание под аккомпанемент тяжелых разговоров о пересменках, нормах и близкой смерти.

Самое удивительное, конечно, — это солнце. Главное — даже не ослепительное пятно в небе, а идущая от окна полоса воздуха, в которой висят пушистые пылинки и мельчайшие скрученные волоски. Их движения до того округлы и плавны (в детстве, кстати, видишь их рой издали с удивительной ясностью), что начинает казаться, будто есть какой-то особый маленький мир, живущий по своим законам, и то ли ты сам когда-то жил в этом мире, то ли еще можешь туда попасть и стать одной из этих сверкающих невесомых точек. И опять: на самом деле кажется совсем не это, но иначе не скажешь, можно только ходить вокруг да около. Просто видишь вокруг себя замаскированные области полной свободы и счастья. У солнца есть потрясающая способность выделять в том немногом, чего оно может коснуться, переходя из верхнего угла первого окна в нижний угол второго, все самое лучшее. Даже обитая железом дверь сообщает про себя что-то такое, что понимаешь — бояться того, что может появиться из-за нее, не стоит. Да и вообще бояться нечего, говорят полосы света на полу и на стенах. В мире нет ничего страшного. Во всяком случае, до тех пор, пока этот мир говорит с тобой; потом, с какого-то непонятого момента, он начинает говорить о тебе.

Обычно в детстве просыпаешься от утренней ругани взрослых. Они всегда начинают день с ругани; сквозь продолжающийся сон их речь кажется странно растянутой и вязкой, и отлично чувствуешь по их интонациям, что и те, кто орет, и те, кто оправдывается, на самом деле совершенно не испытывают тех чувств, которые стараются выразить своими голосами. Просто они тоже недавно проснулись, еще не совсем очухались от увиденного во сне — хоть ничего уже не помнят — и стараются побыстрее убедить себя и других, что утро, жизнь, несколько минут на сборы — все это на самом деле. А когда им это удастся, они приходят в зацепление друг с другом. Последние утренние сомнения исчезают, и они уже стараются найти в аду, куда только что с такой стремительностью въехали, места поуютнее. И от ругани переходят к шуткам. И то, что у них всех общая судьба, становится несущественно, раз есть минимальные различия, которые они научились видеть, — и уже не важно, что они все здесь подохнут; важно, что кто-то спит наверху и далеко от окна. Главное, что понимаешь все это еще совсем маленьким, когда никак не сумел бы выразить этого вслух, — понимаешь по голосам взрослых, которые долетают до тебя сквозь утренний полусон. И это кажется удивительным и странным — но тогда весь мир еще удивителен, все в нем странно. А потом тебя уже поднимают вместе со всеми.

Сначала взрослые нагибаются откуда-то сверху и подносят к тебе растянутое в улыбке лицо. Видимо, в мире действует закон, заставляющий их улыбаться обращаясь к тебе, — улыбка, понятно, деланная, но главное — понимаешь: зла тебе сделать не должны. Лица у них страшные: изрытые, в пятнах, с щетиной. Чем-то похожие на луну в окне — так же много деталей. Взрослые очень понятны, но сказать при них почти нечего. Часто бывает пакостно от их пристального внимания к твоей жизни. Вроде бы они не требуют ничего: на секунду отпускают невидимое бревно, которое несут всю свою жизнь, чтобы с улыбкой нагнуться к тебе, а потом, выпрямившись, опять взяться за него и понести дальше — но это только на первый взгляд. На самом деле они хотят, чтобы ты стал таким же, как они; им надо кому-то перед смертью передать свое бревно. Не зря же они его несли. По вечерам они часто

собираются по несколько человек и кого-нибудь бьют — тот, кого избивают, обычно очень тонко подыгрывает тем, кто бьет, и за это его бьют чуть слабее. Как правило, на это не дают смотреть, но всегда можно спрятаться между лежаков и все разглядеть через стандартную сантиметровую щель между досками. А потом — и хоть от той минуты, когда ты, прячась, смотришь на всю процедуру, до той, когда это случится, еще далеко, — потом наступит день, когда ты сам будешь корчиться на полу среди взлетающих ног в кирзачах и валенках, стараясь подыграть тем, кто тебя бьет.

Когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои мысли, а сами мысли — текст. Обрыв проходит всегда по самому интересному месту, и если узнаешь из кусочка газеты, как зал аплодисментами встретил товарищей такого-то и такого-то, начинаешь думать, что это двое — очень крутые люди, раз даже их товарищей специально встречают какими-то аплодисментами. И вот закрываешь глаза, и начинаешь представлять себе этих товарищей и аплодисменты, и успеваешь прожить целую маленькую жизнь, совершенно скрытую от сидящих на соседних парашах. И все это — из-за куска газеты размером со сторону чайной пачки, со следом подошвы кирзача. А если в руки попадает настоящая книга, это уже ни с чем не сравнить. И не важно какая — их тут совсем немного, пять-шесть, и каждую читаешь по несколько раз, — а не важно потому, что всякий раз читаешь книгу иначе. Сначала в ней бывают важны сами по себе слова, за любым из которых сразу же вспыхивает то, что оно обозначает («сапог», «параша», «ватник»), или зияет бессмысленная чернота («онтология», «интеллигент»), и надо идти к кому-нибудь из взрослых, чего всегда хочется избежать, отчего онтология становится ручным фонарем, а интеллигент — длинным разводным ключом со сменной головкой. В следующий раз интересуешься уже целыми ситуациями: как некто, плотно топя, входит в вонючую тесноту кухни и крепкими рабочими кулаками вдрызг расшибает кривляющееся и мерзкое лицо официанта Прошки. Нет взрослого, который не читал бы эту книжку, — и каждый раз, собравшись вокруг очередной жертвы в обычный дышащий гнилыми ртами круг, они по очереди делают маленький шагок вперед и на секунду становятся

справедливым парнем Артемом, вкладывающим в удар всю ненависть к кривляющемуся и официантскому, которое мечется в центре. Наверно, нет ни одного избиения, в котором не торжествовала бы воображаемая справедливость. А потом — в третий раз — находишь описание, как на верхних нарах горячо дышит какая-то девка, и замечаешь уже только это. Надо совсем повзрослеть, чтобы понять, насколько неинтересно и убого все то, что ты успел столько раз перечитать.

В детстве счастлив потому, что думаешь так, вспоминая его. Вообще, счастье — это воспоминание. Когда ты был маленький, тебя выпускали гулять на целый день, и можно было ходить по всем коридорам, заглядывать куда угодно и забредать в такие места, где ты мог оказаться первым человеком после строителей. Сейчас это стало тщательно охраняемым воспоминанием, а тогда — всего-то идешь по коридору и тоскуешь, что опять начинается зима и за окном будет почти все время темно, сворачиваешь, на всякий случай ждешь, пока по примыкающему коридору угромякают две матерящиеся овчины, и еще раз сворачиваешь в дверь, которая всегда закрыта, а сегодня вдруг нараспашку. Что-то светится в конце коридора. Оказывается, вдоль стены здесь идут две толстые трубы, покрытые штукатуркой и даже побеленные. А в конце — там, где виден свет и откинут железный люк, — видишь огромный агрегат синего цвета, который мелко-мелко сотрясается и гудит, а за ним — еще два таких же, и никого вокруг: можно хоть сейчас спуститься по лестнице и оказаться в этом магическом объеме, содрогающемся от собранной в нем силы. Не делаешь этого только потому, что за спиной в любой момент могут запереть дверь, — и идешь назад, мечтая попасть сюда когда-нибудь еще. Потом, когда начинаешь попадать сюда каждый день, когда уход за этими никогда не засыпающими металлическими черепашками становится номинальной целью твоей жизни, часто тянет вспомнить, как увидел их в первый раз. Но воспоминания стираются, если пользоваться ими часто, поэтому держишь это — о счастье — про запас.

Другое воспоминание, которым почти не пользуешься, тоже связано с покорением пространства. Кажется, это было раньше: один из боковых коридоров, зимний день (окна уже

синеватые — начинает смеркаться), тишина во всем огромном здании — все на работе. Похоже, что действительно никого нет — это видно по тому, как выглядит все вокруг. Взрослые изменяют окружающее, а сейчас полутемный коридор необычайно загадочен, весь в каких-то тенях — даже немного страшно. Свет еще не включили, но скоро уже должны, и можно позволить себе очень редкое удовольствие — бег. Сначала разгоняешься от пожарной доски в темном тупике коридора (очень странная доска — на ней нарисованы масляной краской топор, багор и ведро), некоторое время виляешь по коридору, наслаждаясь свободой и легкостью, с которой можешь заставлять стены наклоняться, приближаться или удаляться — и все это из-за крошечных команд, которые даешь своему телу. Но самое потрясающее, конечно, — это поворот направо, в короткое колено коридора, кончающееся затянутым проволочной сеткой окном. Уже метров за двадцать до угла забираешься к левой стене, а когда напротив мелькает фанерная дверца с надписью ПК-15Щ, отделяешься от стены и, вписываясь в длинную дугу, сильно наклоняешься вправо — вот эти-то несколько секунд, когда почти повисаешь правым боком над плитами пола, и дают ни с чем не сравнимую свободу. Потом легко пролетаешь остаток коридора и, вложив пальцы в проволочные ячейки, выглядываешь в окно: уже темно, и над забором, на столбах которого торчат высокие снежные папахи, горит несколько холодных синих фонарей.

Звуки, доносящиеся из-за окна, обладают совершенно иной природой, чем те, которые рождаются где-нибудь в коридоре или за перегородкой. Разница не столько в свойствах самого звука — громкий он или тихий, резкий или приглушенный, — сколько в том, что его одушевляет. Почти все звуки производятся людьми, но те, что возникают внутри огромного здания, воспринимаются как урчание в кишечнике или хруст суставов огромного организма — словом, не вызывают интереса из-за своей привычности и объяснимости. А то, что прилетает из-за окна, — почти единственное свидетельство существования всего остального мира, и кажется, что звук оттуда необыкновенно важен. Звуковая картина мира тоже успела сильно измениться со времен детства, хотя ее главные составляющие всё те же. Вот обычный законный звук: дале-

кие звонкие удары железа о железо, по сравнению с пульсом — реже раза в два-три. У них очень интересное эхо: кажется, что звук доносится не из какой-то одной точки, а сразу со всей дуги горизонта. Самое первое, чем был этот бой, — еще в те времена, когда можно было спать после общего подъема, — это шкалой времени или даже внешней точкой опоры, по отношению к которой вечерние разборки и утренний мордобой взрослых приобретали необходимую протяженность и последовательность. Позже этот размерный звон превратился в стук мирового сердца и оставался им до тех пор, пока кто-то не сказал, что это забивают сваи на стройплощадках. Еще среди звуков можно выделить гудение далеких машин, вой маневрового тепловоза на сортировочной, голоса и смех (очень часто — детский), гул самолетов в небе (в нем есть что-то доисторическое), шум, порождаемый ветром, и, наконец, лай собак. Говорят, что когда-то существовал такой способ сноситься с сидящим в соседней камере (в камерах сидели по одному — даже не верится, что так могло быть): сидящий в первой камере начинал определенным образом стучать в стену, зашифровывая в последовательности ударов свое сообщение, а из соседней камеры ему отвечали, пользуясь тем же кодом. Это, видимо, легенда — какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем поговорить, встретившись на общих работах? Но важна идея — передача сути через комбинацию самого что ни на есть простого, вроде доносящихся через стену ударов. Иногда думаешь — если бы наш Создатель захотел с нами перестукиваться, что бы мы услышали? Наверное, что-то вроде далеких ударов по свае, забиваемой в мерзлый грунт, — непременно через равные интервалы, тут неуместна никакая морзянка.

Чем ты взрослее, тем незамысловатее этот мир, и все же в нем есть много непонятого. Взять хотя бы два квадрата неба на стене (неба, если сидеть на нижнем лежаке, а с верхнего видны еще верхушки далеких толстых труб). Ночью в них появляются звезды, а днем — облака, вызывающие очень много вопросов. Облака сопровождают тебя с самого детства, и их столько уже рождалось в окнах, что каждый раз удивляешься, встречаясь с чем-то новым. Вот, например, сейчас в правом окне висит развернутый розоватый (уже скоро закат) ве-



ер из множества пушистых полос — словно от всей мировой авиации (кстати, интересно, как видят мир те, кто мотает свой срок в небесах?), а в левом небо просто расчерчено в косую линейку. Получается, что сегодня та бесконечно далекая точка, откуда дует ветер, — как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит, а тебе просто неизвестен код — вот оно, перестукивание с Богом. Здесь не ошибешься. Точно так же не ошибешься насчет смысла происходящего, когда на глухой ноябрьской туче появляется размытое пятно, бледный неправильный треугольник (ты уже видел его летним утром на кирпичках возле своего лица), и из его центра сквозь быстро летящие полосы тумана светит солнце. Или — летом — красный, в полнеба холм над горизонтом (только с верхних нар). Раньше существовало много вещей и событий, готовых по первому твоему взгляду раскрыть свою подлинную природу — собственно, почти все вокруг. Когда по рукам пошла фотография тюрьмы, сделанная снаружи (предположительно с каланчи над зоной кондитерской фабрики), было не очень понятно, чем так потрясены старые зэки, — неужели в их жизни нет более удивительного? Вечерний кусок плохого торта, знакомая вонь из параша и наивная гордость за возможности человеческого разума. А можно перестукиваться с Богом. Ведь отвечать ему — значит просто чувствовать и понимать все это. Вот так и думаешь в детстве, когда мир еще строится из простых аналогий. Только потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть его голос, постепенно становящийся все глуше и тише. С тобой, если вдуматься, происходит примерно то же, что и с чьим-нибудь криком, долетающим до тебя со двора, где играют в футбол.

Что-то творилось с миром, где ты рос, — каждый день он чуть-чуть менялся, каждый день все вокруг приобретало новый оттенок смысла. Начиналось все с самого солнечного и счастливого места на земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и черным ватникам люди — смешные и тем более родные; начиналось с радостных зеленых коридоров, с веселой игры солнца на облупившейся проволочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестяного цеха, с праз-

дничного рева ползущих на парад танков — хоть их и не видно за забором, умеешь по звуку определять, когда идет танк, а когда самоходка; с дружного хохота взрослых, встречающего некоторые из твоих вопросов; с улыбки натыкающегося на тебя в коридоре охранника; с виляния хвоста подбегающей к тебе огромной овчарки. Потом самое лучшее место понемногу блекнет: начинаешь замечать трещины на стенах, тяжелую вонь из пищеблока, неприятную именно своей ежедневностью; начинаешь догадываться, что и за родильным забором со свежешапкеванными выщербинами существует какая-то жизнь, — словом, с каждым новым днем все меньше вопросов по поводу твоей настоящей судьбы остается без ответа. А чем меньше остается скрытого от тебя, тем меньше взрослые склонны прощать тебе за твою чистоту и наивность; получается, что просто видеть этот мир уже означает замараться и соучаствовать во всех его мерзостях — а по вечерам в тупиках коридоров и темных углах камер бывает много страшного. И вот из зыбкого тумана забывающегося детства выплывает — как при наведении фокуса — понимание того, что ты родился и вырос в тюрьме, в самом грязном и вонючем углу мира. И когда ты окончательно понимаешь это, на тебя начинают в полной мере распространяться законы твоей тюрьмы. Но и что из этого? Дело в том, что мир придуман не людьми — как бы они ни мудрили, они не в состоянии сделать жизнь последнего зэка хоть сколько-нибудь отличной от жизни самого начальника хозяйственной части. И какая разница, что является поводом, если вырабатываемое душами счастье одинаково? Есть норма счастья, положенного человеку в жизни, и что бы с ним ни происходило, этого счастья не отнять. Говорить о том, что хорошо и что плохо, можно, если по меньшей мере знаешь, кем и для чего сконструирован человек.

Предметы не меняются, но что-то исчезает, пока ты растешь. На самом деле это «что-то» теряешь ты, необратимо проходишь каждый день мимо самого главного, летишь куда-то вниз — и нельзя остановиться, перестать медленно падать в никуда, можно только подбирать слова, описывая происходящее с тобой. Возможность смотреть в окна — не самое главное в жизни, но все же расстраиваешься, когда тебя перестают выпускать в коридор — ты уже почти взрослый и к праз-

днику получишь кирзовые сапоги и ватник. Из множества когда-то доступных панорам для постоянного пользования остается всего одна (из обоих окон под чуть разными углами видно то же самое), любоваться которой можно только прислонив короткую лавку к стене и встав на ее край; двор, окруженный невысоким бетонным забором, два ржавых автобуса — скорее уже останки, похожие на мертвых ос пустые внутри желтые оболочки; длинное здание соседней тюрьмы под полукруглой коричневой крышей; дальше уже совсем далекие тюрьмы и небо, занимающее всю остальную часть четырехугольного проема. То, что видишь каждый день много лет, постепенно превращается в памятник тебе самому — каким ты был когда-то, — потому что несет на себе отпечаток чувств уже почти исчезнувшего человека, появляющегося в тебе на несколько мгновений, когда ты видишь то же самое, что видел когда-то он. Видеть — на самом деле значит накладывать свою душу на стандартный отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза. Раньше в этом дворе играли в футбол, падали, вставали, били по мячу, а сейчас остались только ржавые автобусы. На самом деле с тех пор, как ты начал ходить на общие работы, ты слишком устаешь, чтобы внутри ожило хоть что-то, способное сыграть в футбол на твоей сетчатке. Но какая бы всенародная смена белья ни ждала впереди, уже никому не отнять у прошлого того, что видел кто-то (бывший ты, если это хоть что-нибудь значит), стоя на качающейся лавке и глядя в окно: несколько человек перекидывают друг другу мяч, смеются — их голоса и удары ног о кожу доносятся с небольшим опозданием; один неожиданно вырывается вперед — на нем зеленая майка, — гонит мяч к воротам из двух старых протекторов, бьет, попадает, исчезает из виду — и долетают крики игроков. Удивительно. В этой же камере жил когда-то маленький зэк, видевший все это, а сейчас его уже нет. Видно, побеги иногда удаются, но только в полной тайне, и куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он сам.

*Что они делают здесь,  
Эти люди?  
С тревогой на лицах  
Тяжелым ломом  
Всё бьют и бьют.*

Исикава Такубоку

## ДЕНЬ БУЛЬДОЗЕРИСТА

### 1

Иван Померанцев упер локти в холодный сырой бетон подоконника с тремя или четырьмя изгибающимися линиями склейки (Валерка, когда жену пугал, ударил утюгом), сдул со стекла ожиревшую черную муху и выглянул в залитый последним солнцем осенний двор. Было тепло, и снизу поднимался слабый запах масляной краски, исходивший от жестяной крыши пристройки, покрашенной несколько лет назад и начинавшей вонять, как только чуть пригревало солнце. Еще пахло мазутом и щами — тоже совсем несильно. Слышно было, как вдали орут дети и ржут лошади, но казалось, что это не природные звуки, а прокручиваемая где-то магнитофонная запись — наверное, потому казалось, что ничего одушевленного вокруг не было, кроме неподвижного голубя на подоконнике через несколько окон. Улица была какой-то безжизненной, словно никто тут не селился и даже не ходил никогда, и единственным оправданием и смыслом ее существования был выцветший стенд наглядной агитации, аллегорически, в виде двух мускулистых фигур, изображавший народ и партию в состоянии единства.

В коридоре продребезжал звонок. Иван вздрогнул, отложил уже размятую «пегасину» — сигарета была сырой, твердой и напоминала маленькое сувенирное полено — и пошел открывать. Идти было долго: он жил в большой коммуналке, переделанной из секции общежития, и от кухни до входа было метров двадцать коридора, устланного резиновыми ковриками и заставленного детскими кедами да грубой обувью взрослых. За дверью бухтел тихий мужской голос и время от времени коротко откликалась женщина.

— Кто? — спросил Иван бытовым тоном. Он уже понял кто — но ведь не открывать же сразу.

— К Ивану Ильичу! — отозвался мужчина.

Иван открыл. На лестничной клетке стояла так называемая пятерка профбюро, состоявшая у них в цехе из двух всего человек, потому что эти двое — Осьмаков и Алтынина (она была сейчас в марлевом костюмчике и держала в руках, далеко отнеся от туловища, пахнувший селедкой сверток) — совмещали должности.

— Иван! Ванька! — заулыбался с порога Осьмаков, входя и протягивая Ивану две подрагивающие мягкие ладони. — Ну ты как сам-то? Болит? Ноет?

— Ничего не болит, — смутясь, ответил Иван. — Идем в комнату, что ли.

От Алтыниной еще сильнее, чем селедкой, пахло духами; Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтоб не чувствовать.

— Вот так, значит, Ванюша, — грустно и мудро сказал Осьмаков, сев у стола, — всё выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Это, дорогой ты мой человек, дефект сварки был. На носовом кольце. И с имени твоего теперь снято всякое недоверие.

Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по сторонам, словно чтобы определить, где он, — определил и тихонько вздохнул.

— У ней ведь корпус из урана, у бомбы, — продолжал он, — а кольцо-то стальное. Надо спецэлектродом приваривать. А они, во втором цеху, простым приварили. Передовики майские. Вот оно и отлетело, кольцо-то. Ты хоть помнишь, как все было?

Иван прикрыл глаза. Воспоминание было какое-то тусклое, формальное, словно он не вспоминал, а в лицах представлял себе рассказанную кем-то историю. Он видел себя со стороны: вот он нажимает тугую кнопку, которая останавливает конвейер, кнопка срабатывает с большой задержкой, и щербатую черную ленту приходится отгонять назад. Вот он цепляет крючком подъемника за кольцо отбракованную бомбу с жирной меловой галкой на боку (криво приварен стабилизатор, и вообще какая-то косая), включает подъемник, и бомба, тяжело покачнувшись, отрывается от ленты конвейера и ползет вверх; цепь до упора наматывается на барабан, и срабатывает концевик.

«Уже четвертая за сегодня, — думает Иван, — так, глядишь, и премия маем гаркнет».

Он нажимает другую кнопку — включается электромотор, и подъемник начинает медленно ползти вдоль двутавра, приваренного к потолочным балкам. Вдруг что-то заедает, и бомба застревает на места. Так иногда бывает — вмятина на двутавре, кажется. Иван заходит под бомбу и начинает качать ее за стабилизатор — так она набирает инерцию, чтобы колесо подъемника перекаатилось через вмятину на рельсе, — как вдруг бомба странным образом поддается, а в следующую секунду Иван понимает, что держит ее в правой руке над своей головой за заусенчатую жесьь стабилизатора. Дальше в памяти — окно больничной палаты: шест с бельевой веревкой да половина дерева...

— Вань, — прозвучал осьмаковский голос, — ты чего?

— Порядок, — помотал Иван головой. — Вспоминаю вот.

— Ну и что? Помнишь?

— Частично.

— Самое главное, — сказала Алтынина, — что вы, Иван Ильич, из-под бомбы выскочить все-таки успели. Она рядом упала. А...

— А по почкам тебе баллон с дейтеридом лития звезданул, — перебил Осьмаков, — сжатым воздухом выкинуло, когда корпус треснул. Хорошо хоть, баллон не грохнул — там триста атмосфер давление.

Иван сидел молча, слушая то Осьмакова, то большую черную муху, которая через равные промежутки времени билась в окно. «Верно, гости растревожили, — думал он, — раньше тихо сидела... Чего ж они хотят-то?»

Скоро с Осьмаковым произошло обычное рефлекторное переключение, которое вызвал у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока: его глаза подобрели, голос стал еще человечней, а слова стали налезать одно на другое — чем дальше, тем заметней.

— Ты, Вань, — говорил он, маленькими кругами двигая по клеенке невидимый стакан, — и есть самый настоящий герой трудового подвига. Не хотел тебе говорить, да скажу: про тебя «Уран-Баторская правда» будет статью печатать, уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку. Там, короче, написано все как было, только завод наш назван уран-баторской консервной фабрикой, а вместо бомбы на тебя столитровая бочка с помидорами падает, но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить. Ну и фами-

лия у тебя другая, понятно... Мы советовались насчет того, какая красивее будет — у тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли... Май его знает. И имя неяркое. Придумали: Константин Победоносцев. Это Васька предложил, из «Красного полураспада»... Умный, май твоему урожаю...

Иван вспомнил — так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть. Ее было тяжело читать, потому что все там называлось иначе, чем на самом деле: линия сборки водородных бомб, где работал Иван, упоминалась как «цех плюшевой игрушки средней мягкости», так что оставалось только гадать, что такое, например, «цех синтетических елок» или «отдел электрических кукол»; но когда «Красный полураспад» писал об освоении выпуска новой куклы «Марина» с семью сменными платьицами, которой предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую границу с обложки «Шакала» и злорадно думал: «Что, выпелюги майские, схавали в своих небоскребах?» Правда, уже полгода «Красный полураспад» распространялся по списку — как было объяснено в редакционной статье, «в связи с тем значением, которое придается производству мягкой игрушки», — и Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке.

Осьмаков как-то незаметно перескочил на другую тему.

— В общем, жужло баба, — тихо говорил он, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица, — трудяга... Я ей кричу: какого же ты мая, мать твою, забор разбираешь...

— Это, Иван Ильич, — перебила Алтынина, — вообще первый случай, когда про наш завод городская газета напишет. И еще, может быть, с телевидения приедут. Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против.

— Чем? — не понял Иван.

— Совком, — отчетливо повторила Алтынина. — Товарищ Копченев сейчас занят — здание детям передает. Но сам лично звонил.

— Шуму-то сколько, Галина Николаевна.

— Надо ж на чем-то детей воспитывать. А то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на Санделя опять мусорный бак взорвали. По песочницам бродят...

Осьмаков вдруг издал булькающий звук и повалился головой на стол. Началась суета — Иван побежал на кухню за

тряпкой, Алтынина захлопотала вокруг Осьмакова, приводя его в чувство и объясняя, как он сюда попал и где находится. Когда Иван принес тряпку, Осьмаков выглядел уже совершенно трезвым и мрачно позволял Алтыниной оттирать ему лацкан пиджака носовым платком. Гости сразу же стали собираться: встали, Алтынина взяла со стола пахнущий селедкой сверток (Иван решил почему-то, что тот предназначался для него) и стала его переупаковывать — заворачивать в свежую газету, потому что бумага уже пропиталась коричневым рассолом и грозила вот-вот разорваться. Осьмаков с фальшивым интересом уставился в настенный календарь с изображением низенькой голой женщины у заснеженного «Запорожца». Наконец селедка была упакована и гости попрощались — Иван так и проводил их до выходной двери с тряпкой в руке и с этой же тряпкой вернулся в комнату, кинул ее на пол и сел на диванчик.

Некоторую странноватую вялость своего состояния он объяснял тем, что из-за ушиба почек не пил уже целых две недели: одну неделю в больнице, вторую — дома. Но всерьез смущало его то, что никак не удавалось вспомнить свою жизнь до несчастного случая. Хоть он более или менее помнил ее фактическую сторону, воспоминания не были по-настоящему живыми. Например, он помнил, как они с Валеркой пили после смены «Алабашлы» и Валерка на отрыжке произнес «слава труду» в тот момент, когда Иван подносил бутылку к губам, — в результате полный рот портвейна пришлось выплюнуть на кафельный пол, так было смешно. А сейчас Иван вспоминал самого себя смеющимся, вспоминал короткую борьбу с мышцами собственной гортани за отдающий марсианской нефтью глоток, вспоминал хохочущую рожу Валерки, но совершенно не мог припомнить самого ощущения радости и даже не понимал, как это он мог с таким удовольствием пить в пахнущем мочой закутке за ржавым шитом пятого реактора.

То же относилось и к комнате. Вот, например, этот календарь с «Запорожцем» — Иван совершенно не мог представить себе состояния, в котором могло появиться желание повесить этот глянцевый лист на стену. А он висел. Точно так же непонятно было происхождение большого количества пустых, зеленого стекла, бутылок, стоявших на полу перед шкафом, — то есть ясно, сам Иван с Валеркой их и выпили, да еще не



все здесь остались — много их повывлетало в окно. Непонятно было другое — почему весь этот портвейн оказался выпитым, да еще в обществе Валерки. Словом, Иван помнил все недавние события, но не помнил себя самого посреди этих событий, и вместо гармонической личности коммуниста или хотя бы спасающейся христианской души внутри было что-то странное — словно хлопала под осенним ветром пустая оконная рама.

— Марат, — убеждал за стеной женский голос, — будешь писать в окно, тебя в сандалята не примут. Послушай маму...

## 2

С утра весь город узнавал, что́ дают в винном. Бесплезно было бы пытаться понять как — об этом не сообщали по радио или телевизору, — но все же каким-то странным образом это становилось известно, и даже малыши, обдумывая планы на вечер, вполне могли думать что-нибудь вроде: «Ага... сегодня в винном портвейн по два девяносто... папа будет после восьми. А водка уже кончается. Значит — до одиннадцати...» Но они не задавались вопросом, откуда это узнали, — точно так же как не спрашивали себя, откуда они знают, что сегодня стоит солнечная погода или, наоборот, хлещет проливной дождь. Винных магазинов в городе было, конечно, не один и не два, но продавали в них всегда одно и то же; даже пиво кончалось одновременно и в подвале на улице Спинного Мозга, и в бакалее на Сухоточном проезде, на противоположном конце Уран-Батора, так что жители любого района думали обобщенно: «винный», о какой бы конкретной точке ни шла речь.

Вот и Иван, прикинув, что сегодня в винном коньяк по тринадцать пятьдесят, а с черного хода — еще и болгарский сушняк по рупь семьдесят плюс полтинник сверху, решил, что Валерка, сосед и кореш, наверняка возьмет сушняка, а потом еще задержится в подсобке поболтать с грузчиками, — и, подойдя к винному, наткнулся прямо на него. Валерка тоже не удивился, увидев Ивана, словно знал, что тот возникнет в прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков, на фоне уже повешенной на заборе гирлянды тряпичных гвоздик.

— Пойдем, — сказал Валерка, перекинул позвякивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил

его вниз по Спинномозговой, кивая друзьям и огибая пронзительно пахнувшие лужи рвоты.

Дошли до обычного места — дворика с качелями и песочницей. Сели: Валерка, как всегда, на качели, а Иван — на дощатый борт песочницы. Из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрагивающий на ветру, и несколько сухих веток. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек — она давала великолепные урожаи, почти такие же, как избушки на детской площадке в парке имени Мундинделя, и старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на Спинномозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками; из какого-то странного такта они всегда сражались молча, и единственным звуковым оформлением их побоищ — часто групповых — было торопливое дыхание и редкий звон медалей.

— Пить будешь? — спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль.

— Не могу, — ответил Иван. — Ты же знаешь. Почки у меня.

— У меня тоже не листья, — ответил Валерка, — а я пью. Ты на всю жизнь, что ли, дураком стал?

— До праздника потерплю, — ответил Иван.

— На тебя смотреть уже тошно. Как будто ты... — Валерка сморщился в поисках определения, — как будто ты нить жизни потерял.

Кисло пахнуло сушняком — Валерка задрал голову вверх, опрокинул бутылку над разинутым ртом и принял в себя ходящую из стороны в сторону из-за каких-то гидродинамических эффектов струю.

— Вот, — сказал он, — птиц сразу слышу. И ветер. Тихие такие звуки.

— Тебе б стихи писать, — сказал Иван.

— А я, может, и пишу, — ответил Валерка, — ты откуда знаешь, знамя отрядное?

— Может, пишешь, — равнодушно согласился Иван.

Он с некоторым удивлением заметил, что дворик, где они сидят, состоит не только из песочницы и качелей, а еще и из небольшой огороженной клумбы, заросшей крапивой, из длинного желтого дома, пыльного асфальта и идущего зигзагом бетонного забора. Вдали, там, где забор упирался в дом, на помойке копошились дети, иногда подолгу задумчиво замиравшие на одном месте и сливавшиеся с мусором, отчего

невозможно было точно определить, сколько их. «В центре дети воспитанные и уродов мало, — подумал Иван, глядя на их возню, — а отъехать к окраине, так и на качели залазят, и в песочнице роятся, и ножиком могут... И какие страшные бывают...»

Дети словно почувствовали давление Ивановой мысли: одна из фигурок, до этого совершенно незаметная, поднялась на тонкие ножки, походила немного вокруг мятой желтой бочки, лежавшей чуть в стороне от остального мусора, и нерешительно двинулась по направлению к взрослым. Это оказался мальчик лет десяти, в шортах и курточке с капюшоном.

— Мужики, — спросил он, подойдя поближе, — как у вас со спичками?

Валерка, занятый второй бутылкой, в которой отчего-то оказалась тугая пробка, не заметил, как ребенок приблизился, а обернувшись на его голос, очень разозлился.

— Ты! — сказал он. — Вас в школе не учили, что детям у качелей и песочниц делать нечего?

Мальчик подумал.

— Учили, — сказал он.

— Так чего ж ты? А если б мы, взрослые, стали бы к вам на помойки лазать?

— В сущности, — сказал мальчик, — ничего бы не изменилось.

— Ты откуда такой бойкий? — с недобрим интересом спросил Валерка. — Да ты знаешь, что у меня сын такой же?

Валерка чуть преувеличивал — его сын, Марат, был с тремя ногами и недоразвитый: третья нога была от радиации, а недоразвитость — от отцовского пьянства. И еще он был младше.

— Да у вас, может, и спичек нет? — спросил мальчик. — А я говорю тут с вами.

— Были бы — не дал, — ответил Валерка.

— Ну и успехов в труде, — сказал мальчик, повернулся и побрел к помойке. Оттуда ему махали.

— Я тебя сейчас догоню, — заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке, — и объясню, какие слова можно говорить, а какие — нет... Наглый какой, труд твоей матери...

— Да плюнь, — сказал Иван, — что, сам что ли таким не был? Давай поговорим лучше... Со мной, знаешь, что-то странное творится. Как будто с ума схожу. Вроде все про се-

бя помню, но так, словно не про себя, а про кого-то другого... Понимаешь?

— А чего тут не понять? — спросил Валерка. — Ты сколько уже не пьешь?

— Две недели, — ответил Иван. — Сегодня как раз.

— Так чего же ты хочешь. Это у тебя черная горячка начинается.

— Нет, — сказал Иван, — не может такого быть. Мне главврач сказал, что она раньше чем через полгода не бывает.

— Ты их слушай больше. Может, они думают, что ты через неделю первой отметись, и утешают — чтоб не мучился зря.

— Все равно, — сказал Иван, — не в этом дело. Я, представляешь, детства не помню. То есть помню, конечно, — могу в анкете написать, где родился, кто родители, какую школу кончил, но это все как-то не по-настоящему, что ли... Понимаешь, для себя ничего вспомнить не могу — для души. Закрываю глаза — и чернота одна или груша желтая, если лампочка отпечатается...

По двору торопливо пробежали дети с помойки и скрылись за углом. Последним бежал мальчик, искавший спички.

— Ну ты загнул, брат, — сказал Валерка. (Пока Иван говорил, он добил третью бутылку.) — Да кто ж его помнит, детство-то? Я тоже только слова одни помню. Так что можешь считать, с тобой все в порядке. Вот когда картинки всякие вспоминать начнешь — это и будет черная горячка. И потом, какого мая его помнить-то, детство? Чего в нем хорошего? Как раз и...

В углу двора, среди металлолома, багрово сверкнуло и оглушительно грохнуло — словно по ушам хлопнули чьи-то огромные ладоши. Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана.

— Вот оно, детство твое, — придя в себя от неожиданности, сказал Валерка. — Пошли. Я тут больше пить не смогу — какую вонь подняли...

Иван встал и пошел за Валеркой. Все-таки ему не удалось выразить того, что он хотел сказать, — все, что он произносил вслух, оказывалось путанным и полоумным, и Валерка был совершенно прав в своем раздражении. «Выпить бы», — почесал Иван в затылке. Что-то подсказывало ему: стоит вы-

пить, даже совсем немного, бутылки две сухого, — и все пройдет. «А что пройдет?» — подумал Иван. Действительно, непонятно было, что́ должно пройти. У Ивана, скорей, было чувство, что что-то уже прошло, и теперь именно этого, прошедшего, и не хватает. «Ладно. А что прошло?» Это было совсем неясно, и, как Иван ни старался, единственное, что он мог сказать себе, — что прошло то состояние, в котором этих вопросов не возникало. Самое главное, что он даже не помнил, существовало ли в его памяти до несчастного случая какое-нибудь другое, отличное от нынешнего, воспоминание о прошлом — или и тогда все ограничивалось бесцветными анкетными формулами.

Вышли на Спинномозговую. Валерка оглядел багровые кирпичные стены и развешанные к празднику красные шестерни на фасадах.

— Ну, куда теперь? — спросил он.

Иван пожал плечами. Ему было все равно.

— А пошли к совкому, — сказал Валерка. — Прямо на площади и выпьем. Может, там кто из наших будет...

До площади Санделя, где находился совком, идти надо было вниз по Спинномозговой. Иван задумался, а от задумчивости незаметно перешел к тихому внутреннему оцепенению, так что на площади оказался как-то незаметно для себя. На фасаде серого параллелепипеда совкома уже были вывешены три профиля — Санделя, Мундинделя и Бабаясина, а напротив, над приземистой совкомовской баней, развернута кумачовая лента со словами: «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина!»

— Слышь, Валер, — сказал Иван, — а почему тут Мундиндель с волосами? Он же лысый был. И про Санделя ничего не пишут — что оно, хуже, что ли? Раньше же вроде писали.

— Откуда я знаю? — отозвался Валерка. — Ты еще спроси, почему трава зеленая.

Высланное рубчатыми бетонными плитами, протяженное пустое пространство перед совкомом больше всего напоминало бы военный аэродром, если бы не огромный памятник прямо напротив здания — трехметровый усатый Бабаясин, занесший высоко над головой легендарную саблю, и худенькие крохотные Сандель и Мундиндель, словно подпирающие его с двух сторон и почти прекрасные в своем романтическом порыве. Со стороны памятника светило солнце, и своим конту-

ром он напоминал воткнутые кем-то в бетон огромные толстые вилы. В тени памятника на вынесенных из совкома белых табуретах сидели несколько человек; перед ними, прямо на бетоне, была расстелена газета, на которой зелено блестели бутылки и краснели помидоры.

— Пошли к этим, что ли, — сказал Валерка.

По гноящимся воспаленным глазам в сидящих у памятника легко было узнать рабочих с «Трикотажницы», пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке — весь город знал его как виртуоза-матерщинника (даже кличка у него была — «Валерка-диалектик»), а ребята с «Трикотажницы» очень гордились своими традициями краснословия.

— Пить кто будет, мужики? — спросил Валерка.

— Не, — после некоторой паузы ответил один из химиков, — мы секретаря ждем. Уже тяпнули, хватит пока.

— А... Ну и день, прямо не верится — даже на маяву не пьют...

Валерка сел на бетон и оперся спиной о низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатило полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, так же подоткнув под зад край ватника, и зажмурил глаза. На душе у него по-прежнему было беспричинно грустно — зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду в какой-то словно бы щели воспоминание — странного вида красная кепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой...

— Валерка! — тихо позвал кто-то из химиков. — Валерка!

— Чего? — перестав булькать, спросил Валерка.

— Как там у вас, на самоварно-матрешечном? Выполнит план ваш коллектив?

Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но, сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело, — давно привык.

— Выполняем помаленьку, — лениво ответил он. — А у вас как трудовая вахта? Какие новые почины к майским праздникам?

— Думаем пока, — ответил химик. — Хотим у вас в трудовом коллективе побывать, с передовиками посоветоваться. Главное ведь — мирное небо над головой, верно?

— Верно, — ответил Валерка. — Приходите, посоветуйтесь. Хотя ведь у вас и своих ветеранов немало, вон доска почета-то какая — в пять Стахановых твоего обмена опытом в от-дельно взятой стране...

Кто-то тихо крикнул.

— Точно, есть у нас ветераны, — не сдавался химик, — да ведь у вас традиция соревнования глубже укоренилась, вон вымпелов-то сколько насобирали, ударники майские, в Рот-Фронт вам слабое звено и надстройку в базис!

«Хорошо, — отметил Иван, — а то уж больно он от нервов по-газетному начал...»

— Лучше бы о материальных стимулах думали, пять при-знаков твоей матери, чем чужие вымпела считать, в горн вам десять галстуков и количеством в качество, — дробной скоро-говоркой ответил Валерка, — тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика!

Иван вдруг подумал, что сегодняшняя беседа с мальчи-ком у качелей все же как-то повлияла на Валерку, хоть он ни словом не обмолвился об этом, — что-то горькое прорывалось в его речи.

Химик несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал:

— Хоть бы ты заткнулся, мать твою в город-сад под телегу.

— Ну так и отмиришь от меня на три мая через Людвиг Фейербаха и Клару Цеткин, — равнодушно ответил Валерка.

Победа, как чувствовал Иван, не принесла ему особой ра-дости. Это был не его уровень.

— Дай выпить, а? — пробормотал смущенный химик.

Иван открыл глаза и увидел, как тот принимает протяну-тую Валеркой бутылку. Химик оказался совсем молодым пар-нем, но, судя по цвету лица и фиолетовым нарывам на шее, поработал уже и с «Черемухой», и с «Колхозным ландышем», а может, и с «Ветерком». Все молчали — Иван хотел было что-то сказать для сердечности, но передумал и уставился на черный кончик тени от сабли Бабаясина, незаметно для глаза ползущий по бетону.

— А ты ничего маюги травишь, — сказал через некоторое время Валерка, — только расслабляться нужно. И не испыты-вать ненависти.

Парень посинел от удовольствия.

— А вы чего тут маетесь? — спросил кто-то из химиков. — Ждете кого-то?

— Так, — ответил Иван, — нить жизни ищем.

— Ну и чего, нашли? — раздался сзади звучный голос.

Иван обернулся и увидел секретаря совкома Копченова, зашедшего, видно, со стороны памятника, чтобы послушать живой народный разговор. Копченова Иван видел пару раз на заводе — это был небольшой плотный человек совершенно неопределенного вида, обычно носивший дешевый синий костюм с большими лацканами, желтую рубашку и фиолетовый галстук. Раньше он работал в каком-то банке, где украл уйму денег, за что его частенько поругивали в печати.

— Послушал я вас, ребята, — сказал Копченов, потирая руки, — и подумал — ну до чего ж у нас народ талантливый... Как это ты, Валерий, диалектику с повседневной жизнью увязал — ну хоть сейчас в газету. Будем тебя в следующем году в народные соловьи выдвигать... А вы, ребята, чего?

— Записались, — ответил кто-то из химиков.

— Выслушаю, — сказал Копченов, — выслушаю. Ты, Иван, тоже не уходи — кое-что тебе вручить должен. Пошли...

Первое, что бросалось в глаза внутри совкома, — это огромное количество детей. Они были всюду: ползали по широкой мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, паясничали перед широким, в полстены, зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то вонючее, мучили под лестницей кошку — и непереносимо, отвратительно галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось переступить через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей.

— Вот так, — обернувшись, сказал Копченов. — Отдали детям.

Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике в глубоких креслах неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с прозрачными запотевшими забралами.

— Это кто? — полюбопытствовал Валерка.

— Это-то? Юные космонавты. Подсекция Дворца пионеров. У нас тут теперь Дворец пионеров, а внизу — еще детский сад и ясли.

— А зачем они в шлемах?

— Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся.



Наконец дошли до кабинета Копченова. Кабинет оказался совсем маленьким и скудно обставленным. Почти весь его объем занимал длинный стол для заседаний, из-под которого Копченев за ухо вытащил и пинком выпроводил в коридор слюнвявого малыша. Иван заметил, что штора на окне как-то подозрительно шевелится — видно, за ней тоже прятались дети, — но решил не вмешиваться.

— Садитесь, — сказал Копченев и показал на стол. Иван с Валеркой сели под портретом матери Санделя, пронзительно глядящей в комнату из-под белого чепца, а остальные присели к столу.

— Вот, значит, — сказал химик, который пытался состязаться с Валеркой, — хотим, значит, на хозрасчет переходить. И на самоокупаемость. Коллектив прислал.

— Хозрасчет, — сказал Копченев, — дело хорошее. Вы как, по какой модели собираетесь?

— А май его знает, — ответил, подумав, химик. — Ты и расскажи. Мы, думаешь, понимаем? Вот, допустим, сколько фосгена к хлорциану добавлять надо, чтоб «Колхозный ландыш» получился, это я знаю, а про модели эти — откуда? Вся жизнь в цеху прошла.

— Верно, — сказал Копченев. — Ох, верно. И правильно сделали, ребята, что сюда пришли. Куда ж вам, как не сюда...

Он встал из-за стола и заходил взад-вперед по узкому проходу вдоль стола, одной рукой держа себя сзади под пиджаком за брючный ремень, а другой — с оттопыренным большим пальцем — тыкая вперед, словно для незримого рукопожатия, сильно наклоняя при этом туловище вперед. Иван вспомнил виденную когда-то дээспэшную брошюру, называвшуюся «Партай-чи», где был описан целый комплекс движений, благодаря которым человек даже самых острых умственных способностей мог настроить себя на безошибочное проведение линии партии. Упражнение, которое выполнял Копченев, было оттуда.

— Да... — сказал он, вдруг остановившись.

Иван поглядел на него и поразился — глаза Копченова изменились и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как-то по-другому дышал, и его голос стал на октаву ниже.

— Чего сказать-то вам, — медленно произнес он и вдруг с каким-то горьким пониманием затряс головой. — Вижу! Все

ведь вижу, что́ думаете, газет почитавши! Верно, долго нам врать. Долго. Но только прошло это время. Всё теперь знаем — и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу — должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.

— Вроде должны, — сказал Валерка. — Конечно.

— Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы — хотим, чтоб им эту новую правду сказали, как нам нынче?

— Хотим, чего спрашивать-то, — зашумели за столом. — Ты дело говори!

— А дело самое простое. Руководство-то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.

Копченов о чем-то на секунду задумался и подобрел лицом.

— А вообще, — сказал он, — если сказать, черт возьми, по-человечески — до чего же хочется жить!

Видно, он нажал на какую-то кнопку — тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа пионеров и плотно-плотно обступила Валерку, Ивана и химиков. Пионеры были в отглаженных белых рубашках с галстуками и пахли леденцами и крахмалом, отчего у Ивана в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже — по выветрившейся памяти.

— В музей славы их, — сказал Копченов.

— Пошли, — скомандовал один из пионеров, и красногалстучный поток в две секунды смыл и Ивана с Валеркой, и химиков с пола копченковского кабинета.

Дальнейшее Иван помнил весьма смутно. От музея славы у него остались только обрывки воспоминаний — сначала их всех подвели к совсем маленькой стеклянной витрине, за которой хранились первые документы народной власти в Уран-Баторе (тогда называвшемся как-то по-другому) — «Декрет о земле», «Декрет о небе» и исторический «Приказ № 1»:

*«С первого числа мая месяца сего года под страхом смертной казни запрещается въезд и выезд из города.*

*Комиссары:*

*Сандель, Мундиндель, Бабаясин».*

Дальше почему-то шел стенд «Жизнь народов нашей страны до революции», где к обтянутой холстом доске были проволокой прикручены подкова, желтая лошадиная челюсть и сморщенный лапоть. Рядом, в освещенном стеклянном шкафу, висели крошечные дамские браунинги Санделя и Мундинделя, а под ними — зазубренная сабля Бабаясина, показавшаяся не такой уж и большой. Всюду были фотографии каких-то усатых рож, и все время что-то говорил голос пионера-экскурсовода, объяснявший, кажется, какую-то непонятную разницу. Потом голос приобрел глубокие и мягкие бархатные обертона и начал говорить о смерти — описывать различные ее виды, начиная с утопления. Неожиданно Иван понял...

### 3

— Я тебе покажу, щенок, как надо при матери разговаривать! Я тебе дам «майский жук»!

Это кричал где-то за стеной Валерка, и еще долетал детский плач.

— Маратик, потерпи, — говорил другой голос, женский. — Потерпи, милый, папа ведь...

Иван повернулся на спину и уставился на чуть золотящийся под потолком крендель люстры. Это была Валеркина комната, и он почему-то лежал на его кровати в брюках и пиджаке. Но главным было не это, а тот сон, который только что перестал ему сниться.

В этом сне он попал в какое-то странное место — в какую-то мрачноватую комнату со стрельчатыми окнами, бывшую когда-то, видимо, церковным помещением, а сейчас полную старых ободранных лыж с размокшими ботинками, от которых шел сырой тюремный дух. В узкой щели окна был виден кусочек серого неба и изредка мелькали поднимающиеся вверх клубы пара. Сам Иван сидел на крохотной скамеечке, а перед ним, на огромной куче старых ватников, спал старик с широкой бородой на груди — так выглядел Копченев, которого в этом сне отчего-то звали Иваном Ильичом. Иван попытался встать — и понял, что не может сделать этого, потому что ноги его нового тезки лежат у него на плечах. И еще Иван понял, что умирает и это связано не столько даже с ушибленной почкой, сколько с лежащими у него на плечах

ногами. А наступить смерть должна была тогда, когда Копченов проснется.

Иван попытался осторожно снять со своих плеч копченновские ноги, и Копченнов начал просыпаться — зашевелился, замычал, даже чуть приподнял руку. Иван в испуге притих. Старик захрапел опять, но спал он уже беспокойно, вертел во сне головой и мог, казалось, проснуться в любую минуту. Иван очень не хотел умирать — в его жизни было что-то, ради чего имело смысл терпеть и кислую вонь этой комнаты, и копченновские ноги на плечах, и даже тяжелую мысль, словно висящую в воздухе вместе с запахом размокшей кожи, — о том, что ничего, кроме этой комнаты, в мире просто нет.

«Должен быть какой-то способ, — подумал Иван, — выбрать-ся. Обязательно должен быть». И тут он заметил, что на ногах у Копченнова лыжи — их концы только чуть-чуть не доставали до пола. Тогда Иван вытащил из-под себя скамеечку и стал осторожно сгибаться, прижимаясь к полу. Концы лыж уперлись в пол, и Иван почувствовал, что может вылезти из-под копченновских ног. И как только он выбрался из-под них и сделал два шага в сторону, так сразу же перестала болеть ушибленная почка. А потом Иван понял, что он вообще никакой не Иван, но эта мысль его совершенно не опечалила. Теперь он твердо знал, что нужно делать. В стене напротив стрельчатого окна была маленькая дверца. Иван на цыпочках дошел до нее, открыл, протиснулся в тесную черноту и стал на ощупь продвигаться вперед. Его руки тесно прошлись по каким-то пыльным рамам, стульям, велосипедному рулю — и нащупали новую дверь впереди. Иван перевел дух и толкнул ее.

Снаружи был жаркий солнечный день. Иван стоял в маленьком дворе, по которому расхаживали куры и петухи. Двор был обнесен корявым, но прочным забором, за которым были видны поднимающиеся вверх оранжевые каменистые склоны с торчащими кое-где синими домиками. Иван подошел к забору, схватился за его край и поднял над ним голову. Совсем недалеко, метрах в трехстах, был берег моря. И там ослепительно сверкал на солнце тонкий белый силуэт... Больше Иван ничего не запомнил.

— Оклемался? — спросил Валерка, входя в комнату.

— Вроде, — вставая, ответил Иван. — А что со мной было?

— Переутомился маек. Нас в музей повели, на четвертый этаж, а потом Копченнов спустился, стал говорить, как ты то-

нущего ребенка от смерти спас, и хотел тебе от имени совкома альбом преподнести. Вот тут-то ты и грохнулся. Тебя сюда на совкомовской телеге привезли, прямо как короля. А альбом — вот он.

Валерка протянул Ивану пудовую книжищу в глянцевой обложке. Иван с трудом удержал ее в руках. «Моя Албания» — было крупными буквами написано на обложке.

— Чего это?

— Картины, — ответил Валерка. — Да ты погляди, там интересные есть. Я тоже сначала думал, что одно гээмка, а посмотрел — ничего.

Иван открыл альбом и попал на большую, в разворот, репродукцию. Она изображала большое полено и лежащего на нем вниз животом голого толстого человека.

— «В поисках внутреннего Буратино», — прочел Иван название. — Непонятно только, где он Буратино ищет — в бревне или в себе.

— По-моему, — ответил Валерка, — однамайственно.

Иван перевернул страницу и вдруг чуть не выронил альбом из рук. Он увидел — и сразу узнал — огороженный дворик с петухами и курами, забор, за которым по оранжевым горным склонам избегали вверх синие домики с белыми андреевскими крестами на ставнях. В центре двора на растрескавшейся лавке сидел человек в сером военном френче с закатанными рукавами и играл на небольшом аккордеоне, открытый футляр от которого лежал рядом.

— «Ожидание белой подводной лодки», — прочел Иван, подхватил альбом и отправился в свою комнату, даже не поглядев на Валерку.

Ключ от замка он хранил не как все, под половиком, а в кармане висящего на гвозде ватника. Иван понял, почему он проснулся у Валерки, — видимо, те, кто привез его домой, не смогли отпереть дверь.

Все в его комнате было по-прежнему: на скатерти — пятно от селедки; громоздился маленький бутылочный кремль у двери шкафа и, изо всех сил стараясь казаться обнаженной, улыбалась фотографу голая баба у «Запорожца» на календаре. Иван повалился спать.

С той самой минуты, как он коснулся головой поролоновой подушки, ему снова начали сниться сны. Он стоял на какой-то невероятно высокой крыше и глядел вниз, на раски-

нувшийся далеко кругом ночной город, похожий на нагромождение гигантских кварцевых кристаллов, освещенное изнутри тысячами оттенков электрического света, и совершенно не боялся, что сейчас его схватят и куда-то поволокут (в Уран-Баторе самым высоким зданием был пятиэтажный совком, но и мечтать было нечего когда-нибудь поглядеть на город с его крыши). Потом он оказался внизу, на широкой светлой улице, полной веселых и беззаботных людей, и даже не сразу сообразил, что дело происходит ночью, а светло вокруг от фонарей и витрин. В следующий момент он уже несся по висящей на тонких опорах дороге в тихо ревущей машине, и перед ним на приборной доске загорались синие, красные, оранжевые цифры и линии. Потом он оказался за столиком в ресторане — вокруг сидели несколько человек в военной форме, которых он отлично знал, а на столе, между неправдоподобными стаканами и бутылками, лежало несколько пачек «Винстона».

— А-а-а, — завыл Иван, просыпаясь, — а-а-а-а...

Странный сон рассыпался и исчез — когда Иван открыл глаза, вокруг была знакомая комната и за черным окном привычно тренькала гитара. У него осталось неясное воспоминание об испытанном потрясении, а в чем было дело, он не помнил совершенно. Но оставаться в кровати было страшно. Он встал и нервно заходил по крашеным доскам пола. Надо было чем-то себя занять.

«А не убраться ли в комнате? — подумал он. — Такое свинство, просто страшно делается... свинство... свинство... — повторил он несколько раз про себя, чувствуя, как от этого слова внутри что-то начинает подниматься, — свинство...»

Странное ощущение постепенно прошло.

Оглядевшись, он решил начать с бутылок. «Чего-то такое странное было, — вспомнил он, раскрывая окно и выглядывая вниз, в заваленный мусором двор, — насчет аккордеона...»

Во дворе было пусто, только в его дальнем конце — там, где были качели и песочница, — дрожали сигаретные огоньки. Дети давно разошлись по домам, и можно было выкидывать мусор прямо вниз, на помойку, не боясь кого-нибудь изувечить. Иван швырнул несколько бутылок в окно, прошла примерно секунда, и тут снизу долетел немыслимый по своей пронзительности кошачий вой, которому немедленно ответило радостное улюлюканье со стороны качелей и песочницы.

— Давай, трудячь, в партком твою Коллонтай! — закричал оттуда пьяный голос Валерки, и захохотали какие-то бабы. — Всем котам первой сделаем в три цэка со свистом!

— Со свистом, — повторил Иван, — свинство... со свистом... винстон...

Он вдруг отшатнулся от окна и схватился руками за голову — ему показалось, что его плашмя ударили доской по лицу.

— Господи! — прошептал он. — То есть oh God! Да как я забыть-то мог?

Он кинулся к шкафу, раскидал оставшиеся бутылки — они покатались по полу, несколько разбилось — и распахнул косяе дверцы. Внутри стоял ободранный футляр от аккордеона. Иван вытащил его из шкафа, перенес на кровать, щелкнул замками, откинул крышку и положил ладони на шероховатую панель передатчика. Одна его ладонь поползла вправо, перешла в другое отделение и нащупала холодную рукоять пистолета; другая нашла пакет с деньгами и картами.

— Господи, — еще раз прошипел он, — а ведь все позабыл, все-все. Не долбани эта штука по спине, так ведь и сейчас с ними пил бы... И завтра...

Он встал и еще раз прошелся по комнате, вороша волосы ладонью. Потом сел на место, пододвинул к себе раскрытый футляр и включил передатчик, который словно раскрыл на него два разноцветных глаза — зеленый и желтоватый.

#### 4

На следующее утро Ивана разбудила музыка. Проснувшись, он первым делом ощутил ужас от мысли, что все позабыл. Вскочив на ноги, он метнулся было к шкафу — и выдохнул, убедившись, что все помнит. Оказалась лишней сделанная карандашом на обоях контрольная надпись: «С САМОГО УТРА — ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СЫГРАТЬ НА АККОРДЕОНЕ». Стало даже чуть смешно и стыдно своего вчерашнего страха.

Иван повернулся на спину, заложил руки за голову и уставился в потолок. Со стороны окна долетела еще одна волна неопределенно-духовой музыки, похожей на запах еды. К ней примешались густые и жирные голоса солистов, добавлявшие в мелодию что-то вроде навару. «Почему музыка-

то?» — подумал Иван и вспомнил: сегодня праздник. День бульдозериста. Демонстрации, пирожки с капустой и все такое прочее — может, и легче будет уходить из города в пьяной суете, по дороге на вокзал спев со всеми что-нибудь на прощание у памятника Бабаясину.

В дверь постучали.

— Иван! — крикнул Валерка из-за двери. — Встал, что ли?

Иван что-то громко промычал, постаравшись не вложить в это никакого смысла.

— Договорились, — отозвался Валерка и пробухал сапожниками по коридору.

«На демонстрацию пошел», — понял Иван, повернулся к стене и задумался, глядя на крохотные пупырчатые выступы на обоях.

Через некоторое время во дворе стихли веселые, праздничные звуки построения и переключки — стало совсем тихо, если не считать иногда залетающих в окно музыкальных волн. Иван поднялся с кровати, по военной привычке тщательно и быстро ее убрал и стал собираться. Надев праздничный ватник с белой нитрокрасочной надписью «Levi's» и дерматиновый колпачок «Adidas», он тщательно огляделся себя в зеркале. Все вроде бы было нормально, но на всякий случай Иван выпустил из-под шапочки-колпачка длинный льняной чуб и приклеил к подбородку синтетическую семечную лузгу, вынутую из аккордеонного футляра. «Теперь в самый раз», — подумал он, подхватил футляр и оглядел на прощание комнату. Шкаф, женщина с «Запорожцем», кровать, стол, пустые бутылки. Прощание оказалось несложным.

Внизу, у выхода на улицу, стоял Валерка. Прислонясь к стене, он курил; как и на Иване, на нем был праздничный ватник, только «Wrangler». Иван не ожидал его здесь встретить — даже вздрогнул.

— Чего, — добродушно спросил Валерка, — проспался?

— Ну, — ответил Иван. — А ты разве с колонной не ушел?

— Ты даешь, мир твоему миру. Сам же орал через дверь, чтоб я подождал. Совсем, что ли, плохой?

— Ладно, май с ним, — неопределенно сказал Иван. — Куда пойдём-то теперь?

— Куда-куда. К Петру. Посидим с нашими.

— Это ж через центр мирюжить, — сказал Иван, — мимо совкома.



— Пройдем, не впервой.

Иван вслед за Валеркой поплелся по пустой и унылой улице. Никого вокруг видно не было, только откуда-то издалека доносилась духовая музыка, к которой теперь добавились острые и особенно неприятные удары тарелок, раньше отфильтровывавшиеся окном. Улица перетекла в другую, другая — в третью, музыка становилась все громче и наконец полностью вытеснила из ушей Ивана шарканье его и Валеркиных сапог об асфальт. После очередного угла стал виден затянутый красным помост, на котором стоял певец с неправдоподобно румяным лицом; он делал руками движения от груди к толпе и, несмотря на широко открытый рот, ухитрялся как-то удивленно улыбаться тому, что вот так запросто дарит свое искусство народу. Одновременно с тем, как он стал виден, долетели слова песни:

Стра-на моя! Сво-бод-ная!  
Как бом-ба во-до-род-ная!

Тут певца скрыл новый угол, и музыка опять превратилась в мутное месиво из духовых и баритона. Впереди стал виден хвост идущей к центру города колонны, и Валерка с Иваном прибавили шагу, чтобы пристроиться. Мимо проплыли хмурый Осьмаков с застиранным воротником плаща и улыбающаяся Алтынина с приколотым бантом. Они стояли в стороне от потока людей, в боковой улочке, возле лошадей, впряженных в огромный передвижной стенд наглядной агитации в виде бульдозера.

Вскоре вышли на площадь перед совкомом. Памятник Санделю, Мундинделю и Бабаясину был украшен тяжелыми от дождя бумажными орхидеями, а на острие высоко вознесенной над головой бронзового Бабаясина сабли был насажен подшипник с крючками на внешнем кольце; от этих крючков вниз тянулись праздничные красные ленты. Их сжимали в своих левых кистях человек двадцать членов городского актива — все они были в одинаковых коричневых плащах из клеенки и блестящих от капель шляпах и ходили по кругу, снова и снова огибая памятник, так что сверху, будь оттуда кому посмотреть, увиделось бы что-то вроде красно-коричневой зубчатой шестерни, медленно вращающейся в самом центре площади. Остальные живые шестерни, образованные взявшимися за руки людьми, приводились в движение главной, а

зубчатую передачу символизировало крепкое праздничное рукопожатие.

Иван и Валерка переминались с ноги на ногу, ожидая, когда их колонна вытянется в длинную петлю, чтобы пронестись мимо центральной шестерни. Ждать пришлось долго — руководство с утра здорово устало и крутилось теперь значительно медленнее.

— Валер, — спросил Иван, — а чего в этот раз все как-то по-другому?

— Радио, что ли, не слушал? Коробку передач усовершенствовали. Новая модель бульдозера теперь будет.

Валерка с опасением потер пальцем белые буквы на ватнике — не расплываются ли. Такие случаи бывали. Наконец народу впереди осталось совсем мало, и Иван с Валеркой, взявшись за руки и сцепившись с соседями, прошмыгнули между двух ментов и понеслись к центру площади.

Рукопожатие прошло как-то незаметно, если не считать того, что Иван не догадался перекинуть футляр из правой руки в левую — из-за этого он чуть замешкался перед памятником, но все же успел. Руку он пожал редактору «Красного полураспада» полковнику Кожеурову, а Валерке достался мокрый черный протез совкомовского завкультурой, который, по примете, приносит несчастье. От этого Валерка расстроился, и, когда площадь Санделя осталась позади, а народ вокруг опять споро собрался в колонну, он обернулся назад и погрозил кулаком уплывающему серому фасаду с огромными красными словами «МИР, ТРУД, МАЙ».

Ватник Ивана сильно пропитался водой и отяжелел. Но идти до Петра оставалось недолго. Милиции вокруг становилось все меньше, а пьяных все больше, но казалось, что происходит просто внешнее изменение некоего присутствия, общее количество которого остается прежним. Наконец вокруг оказались крытые толем парники проспекта Бабаясина, и Иван с Валеркой, доплыв вместе с толпой до знакомого дома, вышли из колонны и пошли наперерез движению, не обращая внимания на свист и маюги распорядителя. Быстро добрались до знакомого подъезда и поднялись на третий этаж; уже на лестничной клетке возле двери в общежитие, где проживал Петр, запахло спиртным, и Валерка, совершенно забыв зловещую встречу на площади, оживился и пихнул Ивана в плечо. Иван как-то неестественно улыбнулся. Общежитие сотрясала музыка.

Петр открыл дверь и высунул в проем свою небольшую голову — как всегда, показалось, что он стоит с той стороны дверей на скамеечке.

— Привет, — без выражения сказал он.

— Ну и гремит, — заходя в коридор, сказал Валерка, — кто это так трудячит?

— «Ласковый май», — ответил Петр, уходя по коридору.

Петрова комната отличалась от Ивановой расположением кровати и шкафа, количеством бутылок на полу и календарем на стене — здесь голая баба (другая), улыбаясь, протягивала в комнату стакан мандаринового сока — ее выкрашенные зеленым лаком ногти показались Ивану упавшими в стакан и потонувшими в нем мухами.

Иван сел на кровать, взял с тумбочки журнал и открыл наугад — на него глянул какой-то старый мушкетер в берете. Между Валеркой и Петром завязался односложный разговор, из которого Иван выцеживал вполуха только редкое Валеркино красное словцо.

*«В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого человека, — писал мушкетер, — как служения сверхличной цели, как служения не себе, а великому целому».*

Эти слова как-то очень гладко проскользнули в голову, настолько гладко, что совершенно неясен остался их смысл. Иван начал вдумываться в них, и вдруг в комнате стало темнее и сразу стих разговор за столом. Иван поднял глаза. Мимо окна проплывал огромный снаряд наглядной агитации — плоский фанерный бульдозер алого цвета со старательно прорисованными зубьями открытого мотора. Поражали в нем и величина, и то, что весь он был выполнен из цельного куска фанеры, специально для этой цели выпущенного местной фабрикой. Но было и какое-то странное несоответствие, которое Иван заметил еще на демонстрации, когда проходил мимо стоящего в боковой улочке снаряда и вглядывался в зеленые магниевые колеса, на которых тот стоял, — это, кажется, было шасси тяжелого бомбардировщика Ту-720. Тогда он не понял, в чем дело, а сейчас — наверно, из-за того, что в окне была видна только верхняя часть агитационной громадины — догадался: кабина бульдозера была абсолютно пустой. Не было даже нарисованных стекол — вместо них зияли две пропиленные квадратные дыры, в которых серело разбухшее мокрое небо.

Бульдозер проплыл мимо, и Иван, кивая головой набегающим мыслям, погрузился в журнал, дожидаясь, когда все напьются до такой степени, что можно будет незаметно уйти. Статья увлекла его.

— ...Какого молота ты там высерпить хочешь?

Иван поднял глаза. Валерка и Петр напряженно глядели на него. Тут он вдруг понял, что уже минут пять в комнате стоит полная тишина, и отложил журнал.

— Да тут интересно очень, — сказал он, на всякий случай поднося руку к карману, где лежал пистолет. — Философ Бердяев.

— И чего же? — странно улыбаясь, спросил Петр. — Чего пишет?

— Есть у него одна мысль ничего. О том, что психический мир коммуниста резко делится на царство света и царство тьмы — лагеря Ормузда и Аримана. Это, в общем, манихейский дуализм, пользующийся монистической до...

Удара табуреткой в лицо Иван даже не почувствовал — догадался, что получил именно табуреткой, когда увидел с пола, как Петр с этим инструментом в руке делает к нему медленный шаг. Сзади Петра так же медленно пытался остановить Валерка — и успел. Иван потряс головой и вытащил из кармана пистолет. В следующий момент в него попала табуретка, метко пущенная Петром, пистолет отлетел в угол, тихонько хлопнул, и на потолке появилась заметная выщербина. На пол посыпалась штукатурка.

— Под блатного косит, ударник, — сказал растерявшемуся Валерке Петр, нагибаясь за пистолетом. — Я полтора года сидел, музыку эту знаю. Сейчас, — повернулся он к Ивану, — будет тебе эпифеномен дегуманизации. Аккордеоном по тру-дильнику.

Он потянулся к футляру.

## 5

— Смотря на какую зарплату, — говорил Иван, прижимая к углу рта скомканный носовой платок, — и смотря какую машину. Зря вы думаете, что у вас тут царство тьмы, а у нас царство света. У нас тоже... Негры всякие бездомные... СПИД разносят...

Ничего, кроме каких-то обрывков из телепередачи с мрачным названием «Камера смотрит в мир», Ивану не вспоминалось, но этого было достаточно. Валерка с Петром слушали открыв рты, и Ивану даже не хотелось вставать из-за стола. Но было уже пора.

— Ты им скажи там, — говорил Валерка, пока Иван надевал ватник, — что мы люди не злые. Тоже хотим, чтоб над головой всегда было мирное небо. Хотим спокойно себе трудиться, растить детей... Ладно?

— Ладно, — отвечал Иван, пряча пистолет в футляр с рацией и аккуратно защелкивая никелированные замки, — обязательно скажу.

— И еще скажи, — говорил Петр, идя с ним по коридору с одинаковыми резиновыми половиками перед каждой дверью, — что наш главный секрет — не в бомбах и самолетах, а в нас самих.

— Скажу, — обещал Иван, — это я понял.

— Возьми журнал, — сказал Петр в дверях, — в дороге считаешь.

Иван взял. Потом обнялся на прощанье с Петром и притихшим Валеркой и не оборачиваясь вышел на лестницу. За ним щелкнула дверь. Он спустился вниз, оказался на темной улице и глубоко вдохнул воздух, пахнувший мазутом и сырыми досками. В небе ало сверкнуло — Иван шарахнулся было к подъезду («Неужто?..» — мелькнула мысль), но сообразил, что это салют.

— Ур-ра-а-а! — нестройно закричали на улице.— Ур-ра-а-а!

— Ура-а-а! — закричал Иван.

В небе разорвалась новая пачка ракет, и всё опять осветилось — желтые заборы, желтые трехэтажки, желтые полосы не то дыма, не то тумана в близком косматом небе. Издалека-издалека долетел печальный и протяжный механический вой — словно напоминало о себе что-то огромное и ржаво-масляное, требуя внимания от людей, а может быть, просто поздравляя их с праздником. Потом все стало зеленым.

Иван зашагал к вокзалу.

## УХРЯБ

### 1

— Ты мне умно не говори, — сказал Василий Маралов, гуманитарий на пенсии. — Я сам умный, три книги написал. Проще надо. Вот у тебя что на руке? Часы, да?

Собеседник — друг и в некотором роде ученик — утвердительно икнул.

— Ну вот и поразмысли. Тут своя диалектика. Носишь ты их, носишь, они у тебя тикают, тикают...

— А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы ж с тобой о научном ате...

— Ты дослушай. Они тикают, тикают, и вдруг — бац! Ударилась о раковину.

— Почему о раковину?

— Это со мной случай был, еще до пенсии, в Сестрорецке. Я там...

— Ладно, не важно... Ну, ударилась, и что дальше?

— А дальше у одного маленького колесика зубчик сломался. А все другие стали не доворачиваться. И часы тебе вместо пятницы возьмут и покажут какой-нибудь вторник. Вот так и человек... Эй, Петь!

Собеседник уже спал, прижавшись ухом к бежевой клеенке.

— Петь, — сказал Маралов и потряс его за плечо. — Слышь, Петь... Пойдем, на диванчик ляжешь.

### 2

Маралов проснулся, подвигал ногой, запутавшейся не то в сбившемся пододеяльнике, не то в не до конца снятых штанах, и хмуро, привычно выглянул из тающего ночного мира в

залитую серым светом комнату. По его пробуждающемуся мозгу медленно поползли первые утренние мысли — они касались окружающего беспорядка. Тот действительно был ужасен: в комнате царил такой хаос, что в нем даже угадывалась своя гармония — длинная лужа на полу как бы уравновешивалась вдавленным в кусок колбасы окурком, а сбитый с ног стул вносил в композицию что-то военное.

Несколько раз быстро шагнув в пустоте и полностью избавясь от штанов (ремень все-таки, как змея, цапнул холодной пряжкой за ногу), Маралов, как обычно, принялся наводить внутренний порядок. Что-то похожее на вкус во рту явно ощущалось и в душе и было, кажется, связано со вчерашним разговором, хотя его содержание, тема и даже примерная траектория совершенно не желали вспоминаться. Словно бы что-то застряло в мозгу, обособившись от всего остального, и теперь ощущалось как плотная масса посреди знакомых мыслей — холодная, бесформенная и угрожающая.

«Вспомнить надо, — думал Маралов, — о чем-то мы таком... О часах, что ли? Да нет, о часах — это я помню. Это мы с атеизма перешли. А вот потом, когда он на диванчик лег. Час, наверно, бредил... И вот тогда я чего-то такое... Нет, не помню».

Открывая глаза, Маралов видел вокруг себя загаженную комнату, закрывая — замечал в себе присутствие глубокой внутренней ямы, где явно скрывалось что-то опасное. Так продолжалось довольно долго. Маралов не то чтобы не мог вспомнить, в чем было дело, а скорее не мог себя заставить сделать это, как никогда не мог себя заставить сразу нырнуть в холодную воду. Получилось все автоматически — за окном что-то ухнуло, в квартире наверху громко заревел ребенок, и Маралов вспомнил.

— Ухряб, — громко сказал он.

Вчера успели еще поговорить о Боге. Оказалось, верят в него оба, но каждый по-своему. Петя признался, что берет с собой на работу высушенное волчье ухо, а в особо серьезных случаях три раза обходит клумбу во дворе, отчего получает небывалый заряд бодрости и мужества.

Маралов хотел было рассказать о том, что он когда-то видел в Сестрорецке, но совершенно неожиданно для себя начал говорить обобщениями: что никакого единого бога нет, просто в каждой стране у людей существует какое-то главное

чувство по поводу жизни, что ли, и если выразить это чувство в виде сказки или истории, то как раз и получится конкретное священное писание и каждый конкретный отдельно взятый бог.

— Бог, — объяснил Маралов, — и все остальные черти — это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного.

— Чего ж, — помолчал, сказал тогда Петя с диванчика, — в стране за все это время очень много непонятного набралось, и чем дальше, тем непонятнее. Выходит, и бог такой есть, который этому соответствует? Не тот, в которого раньше верили, а такой, который все это, как ты выражаешься, персонифицированно обобщает?

— Конечно, — сказал Маралов, — объективно должен быть.

— И соответствующая религиозная мистика тоже?

— А почему нет? Легко.

На этом разговор сам собой затих. Маралов долго ворочался, вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе такого бога. Только вдуматься: огромные портреты над городами и синие елочки, торжественные заседания и могилы в стенах, бронзовые бюсты и салют — не просто ведь все это так. Этому, так сказать, материальному, размышлял Маралов, неизбежно должно соответствовать что-то духовное, сущностное... Это и будет данный конкретный бог — нечто неявно вмещающее в себя все остальное... Маралов незаметно уснул. Потом проснулся и засуетился Петя — он уже опаздывал на работу в другом конце города. Проводив его до дверей, Маралов пошел обратно, и тут, в мутном утреннем полусне, когда он, сидя на кровати, стаскивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание — такое, что, испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться, а оглушенно повалился на простыни и воспользовался пьяной способностью мгновенно засыпать. Прошло несколько часов тяжелого сна, во время которого это понимание не рассосалось, а наоборот, как пущенный с откоса снежный ком, обросло рыхлым коконом страха и безнадежности.

— Ухряб! — вдруг сказал Маралов.

Ну да, все дело было в этом слове — именно оно родилось из утренней вспышки ясности, и именно оно находилось сейчас в центре темного образования в его душе.

«А что значит — „ухряб“? — подумал Маралов, с гримасой боли поворачиваясь к стене. — Ухряб. Ничего не значит».



Порядок был наведен, и похмелье прошло. Маралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную пегую прядь и думая, что так причесываться, в сущности, крайне нелепо — мало того что все видят его плешивость, так все еще видят и то, как он комплексует по ее поводу. Шевеление в душе вроде притихло и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Поправив галстук (пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западни), Маралов пошел на кухню.

Проходя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенного шкафа — квартира резко качнулась, некоторое время продержалась в наклоненном состоянии и медленно вернулась в обычное положение. Маралов твердо знал, что каким-то образом только что происшедшее было связано с ухрябом.

— Что ж это такое, а? — вслух спросил он.

— Ух-ряб-зз... Ух-ряб-зз... — пробило на стене.

Убедившись, что пол больше не качается, Маралов решил повременить с обедом и часик-другой почитать что-нибудь художественно-приключенческое. Он прошел в комнату, наугад взял из шкафа серенькую, с кружком на корешке, книгу и открыл ее, как это обычно делал, на странице своего возраста — шестьдесят восьмой. (Перед этим Маралов посмотрел, сколько еще осталось жить, и увидел: 228. Стало спокойно.)

*«...вкручиваясь в раскаленный воздух. Рябая гладь...»*

Маралов хмыкнул. Как это так — рябая гладь?

Он снова пробежал глазами по строке — и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухряб, разделенный точкой.

«К черту, — подумал Маралов. — Надо читать классиков».

Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу, с золотыми полосками на корешке.

*«...вот-с, умял двух рябчиков, да еще...»*

Маралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения, тоже очень театральный.

— Привяжется какая-нибудь чушь, — громко сказал он книжному шкафу, — так человек и с ума может сойти. Если, конечно, слаб духом.

Не раз еще в тот день Маралов остро ощутил враждебность судьбы.

Удивительная мерзость произошла в кинотеатре — казалось, уж там-то вовсе неоткуда было взяться ухрябу, и на тебе: на стене — картина, на картине — рябина, а по бокам два подсолнуха. Так что справа ли налево, слева ли направо — ухряб сидел в засаде и недобрый глазом смотрел на Маралова. И как замаскировался! Не будь Маралов начеку...

Выйдя из кинотеатра на улицу, Маралов прошел полсотни метров и оказался у магазина. «Надо бы мяса купить, — подумал он, — наделать котлет на праздники». Войдя в мясной отдел, он увидел мужчину в белом колпаке, который, коротко поглядев ему в глаза, поднял большой спортивного вида топор.

— У! — выдохнул он.

— Хряб! — вонзился топор в доску.

И голая мертвая нога — быка, что ли — разделилась надвое. Зажав рот, Маралов выскочил на улицу и быстро пошел к остановке. По дороге он заметил, как на другой стороне улицы несколько солдат-стройбатовцев в серых ордынских подшлемниках крепят на стене дома большущий плакат. На плакате была нарисована девушка в кокошнике, с детскими глазами и развитой грудью; ее выпяченное правое бедро огибала надпись:

УСПЕХА УЧАСТНИКАМ  
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  
ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ И ЯДЕРНУЮ БЕЗОПАСНОСТИ

И хоть Маралов и не заметил во всем этом никакого ухряба, все равно у него осталось четкое чувство, что тот присутствует и на плакате, и в этих солдатах, и даже в этом октябрьском небе над головой.

Надвинув поглубже шляпу и отворачиваясь от ветра, он засеменял домой.

За последние два дня ухряб из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную и безграничную пропасть, над которой Маралов висел, цепляясь за крохи уже не здорового

смысла или, скажем, разума, а просто некоторой остаточной неухрябности. То, что ухряб глядел отовсюду, уже не удивляло — удивляло скорее то, что внутри еще оставалось что-то еще. Маралов пробовал размышлять, почему ухряб не был замечен раньше, и быстро нашел ответ. Всё вокруг, без сомнения, было точно так же пронизано и наполнено ухрябом — и два дня, и пять лет назад, задолго до прозрения. Но тогда ухряб не был виден внутри, а раз так, не замечался и внешний ухряб, несмотря на всю свою безмерную грандиозность.

«Ведь заметить, — думал Маралов, — понять что-то про окружающий конкретный мир или про другого конкретного человека можно только одним способом — увидев в нем что-то, что уже есть у тебя внутри...»

До своего сна, до того, как это что-то, мелькнув сначала неясной точкой где-то на периферии души, вдруг с ужасающей скоростью понеслось к самому центру личности и лопнуло там, превратившись в ухряб и осветив внутренний мир Маралова тусклым красным мерцанием, — до этого сна Маралов видел воздух как воздух, асфальт как асфальт и так далее, теперь же оказалось, что всё вокруг — просто форма, в которой временно застыл ухряб, — так же как бронза остается той же бронзой, отливаясь и в солдатика, и в крестик, и в памятник Грибоедову. Итак, огромный, безмерный ухряб, а в центре — просвеченный ухрябом Маралов, осознающий, что самое главное для него — удержаться от понимания того, что и он, в сущности, тоже ухряб.

«Сколько ж я так протяну-то? — с тоской подумал Маралов и ничего не смог ответить на этот вопрос. — Надо отвлечься — заняться работой».

Работа, слава Богу, была — отвечать на письма трудящихся в журнал «Вопросы методологии», где Маралов, чтобы не чувствовать себя окончательным пенсионером, сидел на договоре. Стопка нераспечатанных писем как раз ждала на столе; Маралов наугад взял конверт, исписанный косым детским почерком, и вскрыл.

*«Дорогая редакция! — прочитал он. — Я очень люблю ваш журнал и все время его читаю. Особенно мне понравилась статья Н. Сколповского о мертвых космонавтах. Сейчас я закончил десятый класс и все думаю: зачем я живу на свете? И не понимаю. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос.*

*Коля М., г. Сестрорецк.»*

«Нормально,— прикинул Маралов,— и всегда уместно. Напутственное слово канает в любой номер. Допустим, одна колонка — это страницы полторы... Главное — без официоза, интимно».

Маралов сел за машинку и вставил в нее чистый лист.

*«Меня, признаться, надолго заставило задуматься твое письмо, Николай. Ты, судя по тому, что сообщаем о себе, еще очень молод, а уже чувствуется в твоём тоне какая-то усталость, расхоложенность — и это пугает. Может быть, это мне показалось — тогда извини. Теперь по существу твоего письма. Видно, что ты всерьёз размышляешь над жизнью, задавая себе вопрос, над которым всегда бились лучшие умы человечества. К сожалению, здесь вряд ли существует простой и однозначный ответ (хотя его и пытались в своё время дать многие религиозные и философские учения). Может быть, человек отвечает на этот вопрос всей своей жизнью и только в самом её конце начинает понимать, зачем он жил и какой в этом смысл... Для чего же все-таки мы живем? Да для того, чтобы каждое утро радоваться свежему дыханию утра...»*

«Нет, так не пойдет, — подумал Маралов, — как это так: „каждое утро радоваться дыханию утра...“ Некрасиво».

*«...свежему дыханию ветра, солнцу, прекрасным человеческим лицам; своему делу, которое обязательно должно приносить радость. Мы живем для того, чтобы по вечерам смотреть на звезды в темном небе и думать о той безмерности, крохотной частичкой которой мы являемся; мы живем для того, чтобы любить и быть любимыми, чтобы быть счастливыми и дарить счастье другим. Мы живем для того, чтобы разгадывать тайны Вселенной и оставлять знания нашим детям для того, чтобы...»*

«Достучу после „Времени“, — решил Маралов.

## 6

— ...Не обращая внимания на дождик пополам со снегом, сходятся к центру города. Бодрое, хорошее сегодня у людей настроение. День добрый! — мглистым ноябрьским вечером говорило на кухне радио.

«Ну и дался же им этот ухряб, — с тоской подумал Маралов, — хотя, если вдуматься совсем глубоко, дался он не им, а себе самому».

Окончательно он вот как ощущал свое положение: стоит на нижнем ухрябе, а сверху, плитою пресса, медленно опускается другой ухряб; сам Маралов жив до сих пор только потому, что не соглашается признать себя ухрябом, хоть и понимает, что это нечестно.

— В таких ситуациях не нужно бояться взглянуть правде в глаза. И конечно, нужно помнить все хорошее, что было. Об этом и поет группа «Дюран Дюран», — заключило радио.

— Ухряб ухряб! — крикнул Маралов, вскакивая с табуретки и кидаясь к репродуктору. — Ухряб ухряб!

Заткнувшись наконец, репродуктор повис на одном гвозде. Маралов перевел дух. Самым главным для продолжения существования было сохранить баланс между верхним и нижним ухрябом или, может быть, между внешним и внутренним. Ухряб, заключенный в словах из радио, чуть было не нарушил этого равновесия — но от страха, в миг балансирования на самом краю распада, сознание Маралова мгновенно выработало простой и ясный план.

Дело было в том, что ухряб хоть и поглотил весь видимый мир, но еще не выявил своей подлинной сущности. А у Маралова давно уже возникло основанное на некоторых мелких наблюдениях подсознание, что никакого ухряба никогда и не было — на самом деле существовало нечто другое, и в тот момент, когда оно ворвалось к нему в душу, оно проделало в ней дыру, из которой весь Маралов вытек бы, как молоко из бракованного пакета, не заткни он брешь. Ухряб — это было, во-первых, звуковое, во-вторых — буквенное и в-третьих — смысловое сочетание, служившее для закрывания дыры. (Борт «Титаника», пропоротый айсбергом, и всякая дрянь, затыкающая пробоину; в машинном отделении ухряб — это промасленная ветошь, в пассажирском — постельное белье, смокинги и платья, и так далее.)

«Ухряб — не что иное, как символ, конкретный, отдельно взятый символ, — думал Маралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла. — И вскрыть его надо с помощью самого этого символа, то есть ухряба. Да и исторический опыт свидетельствует, что один ухряб уничтожается с помощью другого, создаваемого на его месте».

— Сейчас узнаем, — шептал Маралов, запирая квартирную дверь и спускаясь к лифту, — сейчас узнаем, что там прячется...

Маралов знал, что там прячется нечто нестерпимое, нечто

такое, присутствия чего он не мог вынести даже секунды, — и теперь собирался зайти к этой нестерпимости как бы со спины, поглядеть на нее хоть одним глазом.

## 7

Такси остановилось скоро. Маралов сел на переднее сиденье, поглядел на шофера и даже вздрогнул от отвращения: у того между усов шевелился нежно-розовый раздвоенный ухряб. Зашевелившись, он растянулся сразу во все стороны, за ним мелькнуло что-то влажное, и Маралов услышал:

— Далеко?

— Ухряб, — тихо ответил Маралов, как и предусматривал его план.

— Тут рядом, — сказал водитель, — понятие растяжимое. Где — тут рядом?

— Ухряб, — произнес Маралов с чуть другой интонацией.

— Прямо... — задумался водитель, — до самого конца?

— Ухряб! — испуганно выпалил Маралов. Слова таксиста его смутили.

— Угу так угу, — пробормотал водитель. — Вот только кричать не надо.

Он явно обиделся.

Улица понеслась навстречу — улица для водителя, а для Маралова — известно что: имевшее по бокам отдельные вертикальные ухрябы серого цвета, на которых горели другие — желтые и квадратные.

## 8

— Тут? — недружелюбно спросил водитель.

Маралов поглядел вперед. Перед ним был словно конец города — асфальтовая дорога, поднимаясь, упиралась в сугроб, за которым, по всему чувствовалось, ее уже не было — там начинался уклон в другую сторону, и из-за снежного гребня торчали только хилые верхушки деревьев.

Маралов молча протянул водителю деньги. Тот, не включая света, начал монотонно шуршать бумажками — при этом контур его головы сливался с подголовником сиденья, а из

радио неслись какие-то жуткие завывания. Маралов испугался — вдруг таксист ограбит? Но тут же почувствовал, что его испуг совсем не настоящий и не страшный по сравнению с тем, как он сам может сейчас напугать таксиста.

— Да ты не ищи, голубок, Бог с ним, — вкрадчиво сказал он. — Ты послушай-ка лучше, что я тебе расскажу...

Когда крик таксиста стих где-то за домами, Маралов вылез из машины и пошел вперед, прямо по снежным заносам. Деревья, ударив ветвями по лицу, пропустили — Маралов даже не стал нагибаться за сбитой с головы шляпой. Впереди лежало поле, покрытое заснеженными буграми и ямами, а с ближайшего бугра на него глядел ухряб в виде небольшой собаки.

— Иду! — Маралов помахал ей рукой. — Сейчас...

Каким-то образом он чувствовал, что постепенно приближается к тайне, спрятанной за странным словом. Проваливаясь в снег, он шел вперед, и эта уверенность росла. Собака увязалась за ним, привлеченная решительностью его походки. Увиденное и понятое давней пьяной ночью начинало закипать в душе, как вода в кастрюле, а понятие «ухряб» стало как бы крышкой — подняв ее, можно было все мгновенно осознать, если, конечно, не бояться возможных ожогов.

Размашисто шагая по рытвинам и не обращая никакого внимания на забившийся в ботинки снег, Маралов начал размышлять о смысле, который таило в себе звучание слова. С такой точки зрения он никогда раньше не рассматривал проблему, и сама новизна и легкость, с которой ему думалось об ухрябе, свидетельствовала о близости разгадки. «„Ухряб“, — раскладывал Маралов, — „хребет“ и „ухаб“ — наверно, так. Или...»

«Или» уже не понадобилось. Маралов увидел ухряб сам по себе. Разумеется, все остальное — небо, снег, деревья — тоже было ухрябом, но как бы скрытым, принявшим другую форму, — а здесь был ухряб-сырец, находящийся в своем изначальном виде — это была длинная заснеженная яма с двумя довольно высокими, в половину мараловского роста, обледенелыми хребтами по краям.

Уже зная, что делать, Маралов побежал вперед, по дороге расстегивая пальто, стряхивая с ног ботинки и залившимся смехом отвечая на лай вертящейся под ногами собаки. Расстояние было небольшим, и было в этой пробежке что-то от последних шагов олимпийского факельщика перед огромной факельной чашей: чем она ближе, тем торжественней и мед-

ленной шаг, тем неизбежной самое главное. Маралову пригрезились все бесконечные трамваи, автобусы и электрички, самолеты и прогулочные катера, привезшие его сюда, вся обувь, изношенная на пути к этому месту, все возникавшие когда-то мысли по поводу того, как удобней и комфортабельнее достичь этой временной и пространственной точки, все те разумные и серьезные объяснения происходящего, которые нормальный взрослый человек наклеивает на каждый поворот своей жизни, — словом, вспомнилось очень многое.

— У-у-у-х-р-я-я-я-я-б! — подняв лицо к небу, закричал Маралов.

А затем решительно, с размаху, повалился в яму и, как сбрасывают покрывало с памятника, отбросил ненужное больше слово, приготовясь увидеть то, что за ним.

## 9

Нашли его через два дня — лыжники, по торчащему из снега красному носку.



## МУЗЫКА СО СТОЛБА

*«...кого уровня. Так, недавно известным американским физиком Ка... Ка... (Матвей пропустил длинную фамилию, отметив только еврейский суффикс) был представлен доклад («Вот суки, — подумал Матвей, вспомнив жирную куклоподобную жену какого-то академика, мерцавшую вчера золотыми зубами и серьгами в передаче „От сердца к сердцу“, — всюду нашу кровь пьют: и по телевизору, и где хочешь...»), в котором говорилось о математической возможности существования таких точек пространства, которые, находясь одновременно в нескольких эволюционных линиях, являются как бы их пересечением. Однако эти точки не могут быть зафиксированы сторонним наблюдателем: переход через одну из них приведет к тому, что вместо события А1 области А начнет происходить событие Б1 области Б. Но событие, происходившее в области А, теперь будет событием, происходящим в области Б, и у этого события Б1, естественно, будет существовать некая предыстория, целиком относящаяся к области Б и не имеющая ничего общего с предысторией события А1. Поясним это на примере. Представим себе пересечение двух железнодорожных путей и поезд, мчащийся по одному из них к стрелке. Приближаясь к то...»* Дальше был рваный край. Матвей поглядел на другую сторону обрывка журнальной страницы: *«...первый отдел Минздрава; в чужой стране — свою. Интеллигент...»*

Вертикально шла красная полоса, делившая обрывок на две части; справа от нее был разрез голубого самолета. Матвей вытер о бумагу пальцы, скомкал ее, бросил и прислонился спиной к забору.

Машина со сваркой ожидалась к десяти, а был уже полдень. Поэтому второй час лежали в граве у магазина, слушая, как гудят мухи и убедительно говорит радио на толстом сером колу, несколько косо вбитом в землю. Магазин был закрыт, и это казалось лишним доказательством полной невозможности существования в одной отдельно взятой стране.

— Может, она сзади сидит? У кладовой?

— Может, — ответил Матвею Петр, — да ведь все равно не откроет. И денег нет.

Матвей поглядел на бледное лицо Петра с прилипшей ко лбу черной прядью и подумал, что все мы, в сущности, ничего не знаем о людях, рядом с которыми проходит наша жизнь, даже если это наши самые близкие друзья.

Петру было лет под сорок. Он был человеком большой внутренней силы, которую расходовал стихийно и неожиданно, в пьяных разговорах и диких выходках. Его бесцветное лицо наводило приезжих из города на мысли о глубокой и особенной душе, а местных — на разговоры об утопленниках и болотах. По душевной склонности был он гомоантисемит, то есть ненавидел мужчин-евреев, терпимо относясь к женщинам (даже сам когда-то был женат на еврейке Тамаре; она уехала в Израиль, а самого Петра туда не пустили из-за грибка на ногах). Вот, пожалуй, и все, что Матвей и остальные в бригаде знали про Петра, — но то, что в другой среде называлось бы духовным превосходством, прочно и постоянно подразумевалось за ним, несмотря на его немногословие и отказ сформулировать определенное мнение по многим вопросам жизни.

— Выпить обязательно надо, — сказал Семен, сидевший напротив Петра спиной к дереву.

— Наши нордические предки не пили вина, — не отрывая взгляда от дороги, ровным голосом проговорил Петр, — а опьяняли себя грибом мухомором.

— Ты чё, — сказал Семен, — это ж помереть можно. Он ядовитый, мухомор. Во всех книгах написано.

Петр грустно усмехнулся.

— А ты посмотри, — сказал он, — кто эти книги пишет. Теперь даже фамилий не скрывают. Это, браток, нас специально спаивают. Я этим сукам каждый свой стакан вспомню.

— И я, — сказал Матвей.

Семен молча встал и пошел вдоль забора по направлению к небольшой рощице за магазином.

— А ты их пробовал когда-нибудь? — спросил Матвей.

Петр не ответил. Такая у него была привычка — не отвечать на некоторые вопросы. Матвей не стал повторять и замолчал.

— Гляди, что принес, — сказал, подходя, Семен и бросил на траву перед Матвеем что-то в мятой газете.

Развернув ее, Матвей увидел мухоморы, штук около двадцати, самых разных размеров и формы.

— Где взял?

— Да прямо тут растут, под боком. — Семен махнул рукой в сторону рощицы, куда несколько минут назад уходил.

— Ну и что с ними делать?

— Как что? Опьяняться, — сказал Семен, — как наши нордические предки. Раз бабок нет.

— Давай еще постучим, — предложил Матвей, — Лариса в долг одну даст.

— Стучали уже, — ответил Семен.

Матвей с сомнением посмотрел на красно-белую кучу и перевел взгляд на Петра.

— А ты это точно знаешь, Петя? Насчет нордических предков?

Петр презрительно пожал плечами, присел на корточки возле кучи, вытащил гриб с длинной кривой ножкой и еще не выпрямившейся шляпкой и принялся его жевать. Семен с Матвеем с интересом следили за процедурой. Дожевав гриб, Петр принялся за второй. Он глядел в сторону и вел себя так, будто то, что он делает, — самая естественная вещь на свете. У Матвея не было особого желания присоединиться к нему, но Петр вдруг подгрел к себе несколько грибов посимпатичнее, словно спасая их от возможных посягательств, и Семен торопливо присел рядом.

«А ведь съедят всё», — вдруг подумал Матвей и образовал третью сидящую по-турецки возле газеты фигуру.

Мухоморы кончились. Матвей не ощущал никакого действия, только во рту стоял сильный грибной вкус. Видно, на Петра с Семеном грибы тоже не подействовали. Все переглянулись, словно спрашивая друг друга, нормально ли, что

взрослые серьезные люди ни с того ни с сего взяли и съели целую кучу мухоморов. Семен подтянул к себе газету, скомкал ее и положил в карман; когда исчезло большое квадратное напоминание о том, что только что произошло, и на оголенном месте нежно зазеленела трава, стало как-то легче.

Петр с Семеном встали и, заговорив о чем-то, пошли к дороге; Матвей откинулся в траву и стал смотреть на редкий синий штакетник у магазина. Глаза сами переползли на покачивающуюся шелестящую листву неизвестного дерева, а потом закрылись. Матвей стал думать о себе, прислушиваясь к ощущению, производимому облепившей его нос дужкой очков. Размышлять о себе было не особо приятно — стоял тихий и теплый летний день, все вокруг было умиротворено и взаимоуравновешено, отчего и думать тоже хотелось о чем-нибудь хорошем. Матвей перенес внимание на музыку со столба, сменившую радиорасказ о каких-то трубах.

Музыка была удивительная: древняя и совершенно не соответствующая ни месту, где находились Матвей с Петром, ни исторической координате момента. Матвей попытался сообразить, на каком инструменте играют, но не сумел и стал вместо этого прикладывать музыку к окружающему, глядя сквозь узкую щелочку между веками, что из этого выйдет. Постепенно окружающие предметы потеряли свою бесчеловечность, мир как-то разгладился, и вдруг произошла совершенно неожиданная вещь.

Что-то забитое, изувеченное и загнанное в самый глухой и темный угол Матвеевой души зашевелилось и робко поползло к свету, вздрагивая и каждую минуту ожидая удара. Матвей дал этому странному непонятно чему полностью проявиться и теперь глядел на него внутренним взором, силясь осознать, что же это такое. И вдруг понял, что это непонятно что и есть он сам, и это оно смотрит на все остальное, только что считавшее себя им, и пытается разобраться в том, что только что пыталось разобраться в нем самом.

Это поразило Матвея. Увидев подошедшего Петра, он даже ничего не сказал, а торжественным движением руки указал на репродуктор.

Петр недоуменно оглянулся и опять повернулся к Матвею, отчего тот почувствовал необходимость объясниться словами, — но, как оказалось, сказать что-то осмысленное на тему своих чувств он не мог; с его языка сорвалось только:

— ...А мы... мы так и...

Но Петр неожиданно понял, сощурился и, пристально глядя на Матвея, наклонил голову набок и стал думать. Подумав, он повернулся, большими и как бы строевыми шагами подошел к столбу и дернул протянутый по нему провод.

Музыка стихла.

Петр еще не успел обернуться, как Матвей, испытав одновременно ненависть к нему и стыд за свой плаксивый порыв, надавил чем-то тяжелым и продолговатым, имевшимся в его душе, на это выползшее навстречу стихшей уже радиомызыке нечто; по всему внутреннему миру Матвея прошел хруст, потом появились тишина и однозначное удовлетворение кого-то, кем сам Матвей через секунду и стал. Петр погрозил пальцем и исчез; тогда Матвей ударился в тихие слезы и повалился в траву.

— Эй, — проговорил голос Петра, — спишь, что ли?

Матвей, похоже, задремал. Открыв глаза, он увидел над собой Петра и Семена, двумя сужающимися колоннами уходящих в бесцветное августовское небо. Он потряс головой и сел, упираясь руками в траву. Только что ему снилось то же самое — как он лежит, закрыв глаза, в траве, и сверху раздается голос Петра, говорящий: «Эй, спишь, что ли?» А дальше он вроде бы просыпался, садился, выставив руки назад, и понимал, что только что ему снилось это же. Наконец в одно из пробуждений Петр схватил его за плечо и проорал ему в ухо:

— Вставай, дура! Лариска дверь открыла.

Матвей покрутил головой, чтобы разогнать остатки сна, и встал на ноги. Петр с Семеном, чуть покачиваясь, проплыли за угол. Матвей вдруг дико испугался одиночества, и хоть этого одиночества оставалось только три метра до угла, пройти их оказалось настоящим подвигом, потому что вокруг не было никого и не было никакой гарантии, что все это — забор, магазин, да и сам страх — на самом деле. Но наконец мягко нырнул в прошлое угол забора, и Матвей закачался вслед за двумя родными спинами, приближаясь к черной дыре входа в магазинную подсобку. Там на крыльце уже стояла Лариска.

Это была продавщица местного магазина, невысокая и тучная. Несмотря на тучность, она была подвижной и мускулистой и могла сильно дать в ухо. Сейчас она не отрываясь смотрела на Матвея, и ему вдруг захотелось пожаловаться на

Петра и рассказать, как тот взял и оборвал провод, по которому передавали музыку. Он вытянул вперед палец, показал им Петру в спину и горько покачал головой.

Лариска в ответ нахмурилась, и из-за ее спины вдруг долетел шипящий от ненависти мужской голос:

— Об этом вы скажете фюреру!

«Какому фюреру, — покачулся Матвей, — кто это там у нее?»

Но Семен с Петром уже исчезли в черной дыре подсобки, и Матвею ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом.

Говорил, как оказалось, небольшой телевизор, установленный на вросшей в земляной пол плахе. С экрана глянуло родное лицо Штирлица, и Матвей ощутил в груди теплую волну приязни.

Какой русский не любит быстрой езды Штирлица на «мерседесе» в Швейцарских Альпах?

Коммунист узнаёт в коттедже Штирлица партийную дачу; в четвертом управлении РСХА — первый отдел Минздрава; в чужой стране — свою.

Интеллигент учится у Штирлица пить коньяк в тоталитарном государстве и без вреда для души дружить с людьми, носящими оловянный череп на фуражке.

Матвей же чувствовал к этому симпатичному эсэсовцу средних лет то самое, заветное, что полуграмотная колхозница питает к старшему брату, ставшему важным свиномордым профессором в городе; и сложно было сказать, что сильнее поддерживало эти чувства — зависть к чужой сытой и красивой жизни или отвращение к собственной. Но даже не это было тем главным, за что Матвей любил Штирлица.

Штирлиц до странности напоминал кого-то знакомого — не то соседа по лестничной клетке, не то мужика из соседнего цеха, не то двоюродного брата жены. И отраднo было видеть среди богатой и счастливой вражеской жизни своего — братка, кореша, который носил галстук и белую рубашку под черным кителем, умно говорил со всеми на их языке и был даже настолько хитрее и толковее всех вокруг, что ухитрялся за ними шпионить и выведывать их главные секреты. Но все же и это было не самым главным.

В конце — этого в фильме не было, но подразумевалось

всем его пафосом, — в конце Штирлиц вернется, наденет демисезонное пальто фабрики им. Степана Халтурина и ботинки «Скороход», встанет в одну из очередей за пивом, что светлыми воскресными днями выются по многим из наших улиц, и тогда Матвей окажется рядом, тоже в этой очереди, и уважительно заговорит со Штирлицем о жите-бытье, и Штирлиц расскажет о зяте, о резине для колес, а потом, когда уже выпито будет по два-три пива, в ответ на вопрос Матвея он солидно кивнет, и Матвей выставит на стол бутылку белой. А потом свою поставит Штирлиц.

— А-а-а... — сморщась, выдохнул Семен, когда Штирлиц с силой опустил коньячную бутылку на голову Холтоффа. — Козел, сходил бы на двор за кирпичом.

— Тихо, — зашипел Петр, — сам козел. Вот так наших и ловят.

— Или еще, — вступил в разговор Матвей, — когда они пепел стряхивают ногтем...

Матвей говорил и опять думал: «Зачем же он провод оборвал? Чем ему музыка-то помешала?» И в его душе постепенно выкристаллизовывалось чувство обиды, даже не личной обиды, а некой универсальной жалобы на общую инферность бытия.

Лариска открыла бутылку водки и положила на стол несколько крепких зеленых яблок.

...Штирлиц из-за руля вглядывался в мокрое шоссе впереди, а за его спиной над задним сиденьем безвольно моталась голова с черной повязкой на глазу — пьяного друга Штирлиц в беде не бросал...

— Мужики, — долетел Ларискин голос (Матвей только сейчас заметил, что у нее фиолетовые волосы), — ваш грузовик?

Матвей сидел ближе всех к двери; он привстал и выглянул.

— Пошли, — сказал он.

На дороге, метрах в тридцати от магазина, стоял грузовик, из ободранного кузова которого алтарем поднимался сварочный трансформатор.

— Пошли, — повторил за Матвеем Петр, повторил по-другому, сурово и с каким-то внутренним правом сказать всем остальным «пошли», и тогда действительно пошли.

В кузове сильно трясло, и сварочный трансформатор иногда начинал угрожающе наползать на Матвея — тогда он вытягивал ноги и упирался в него сапогами. Семен не то от тряски, не то от грибов и водки начал блевать, загадил весь перед своего ватника и теперь делал такое лицо, словно в облеванном ватнике сидел не он, а все остальные.

Проехав по шоссе километров пять, шофер затормозил в безлюдном месте. Матвей посмотрел направо и увидел просвет между деревьями, куда вела еле заметная, заросшая травой грунтовка, ответвлявшаяся от шоссе. Никаких знаков вокруг не было. Шофер высунулся из своей кабины:

— Чего, срежем, может?

Привстав, Петр сделал рукой жест безразличия и скуки. Шофер хлопнул дверцей, машина медленно съехала с откоса и углубилась в лес.

Матвей сидел спиной к борту и думал то об одном, то о другом. Ему вспомнился приятель детских лет, который иногда приезжал на лето в их деревню. Потом он увидел справа между берез поблекший фанерный щит со стандартным набором профилей; когда эта тройка пронеслась мимо, Матвей отчего-то вспомнил Гоголя.

Через минуту он заметил, что, думая о Гоголе, думает на самом деле о петухе, и быстро понял причину — откуда-то выползло немецкое слово «Gockel», которое он, оказывается, знал. Потом он глянул на небо, опять на секунду вспомнил приятеля и поправил на носу очки. Их тонкая золотая дужка отражала солнце, и на борту подрагивала узкая изогнутая змейка, послушно перемещавшаяся вслед за движениями головы. Потом солнце ушло за тучу, и стало совсем нечего делать — хоть в кармане кителя и лежал томик Гёте, вытаскивать его сейчас было бы опрометчиво, потому что фюрер, сидевший на откидной лавке напротив, терпеть не мог, когда кто-нибудь из окружающих отвлекался на какое-нибудь мелкое личное дело.

Гиммлер улыбнулся, вздохнул и поглядел на часы — до Берлина оставалось совсем чуть-чуть, можно было и потер-



петь. Улыбнулся он потому, что, поднимая глаза на часы, мельком увидел неподвижные застывшие рожи генштабистов — Гиммлер был уверен, что на их телах сейчас можно продемонстрировать феномен гипнотической катаlepsии или, попросту сказать, одеревенения. Толком он и сам не понимал, чем объясняется странный и, несомненно, реальный, что бы ни врали враги, гипнотизм фюрера, с проявлениями которого ему доводилось сталкиваться каждый день. Все было бы просто, действуй личность Гитлера только на высших чиновников рейха, — тогда объяснением был бы страх за свое с трудом достигнутое положение. Но ведь Гитлер ошеломлял и простых людей, которым, казалось, незачем было имитировать заворуженность.

Взять хотя бы сегодняшний случай с водителем бронетранспортера, который вдруг по непонятной причине остановил машину. Фюрер встал с лавки и высунулся за бронированный борт; Гиммлер встал рядом с ним, и шофер, вылезший из кабины, очевидно, чтобы сказать что-то важное, вдруг потерял дар речи и уставился на фюрера, как заяц на удава. Несуразность этой сцены усугублялась тем, что, пока шофер выпучив глаза глядел на Гитлера, его сзади хлопали ладонями по бокам и ногам незаметно выскочившие из другой машины агенты службы безопасности. Фюрер тоже не понял, в чем дело, но на всякий случай сделал величественный жест рукой. Чтобы свести все это к шутке, Гиммлер засмеялся; шофер попятился в кабину, а охрана исчезла; фюрер пожал плечами и продолжил прерванный остановкой разговор с генералом Зиверсом — говорили они о танковом деле и новых видах оружия. Эта тема вообще сильно занимала склонного последнее время к меланхолии фюрера — он оживлялся, начинал шутить и подолгу готов был беседовать о достоинствах зенитного пулемета или противотанковой пушки. Сегодняшняя поездка тоже была связана с этим: узнав, что на вооружение принимается новый бронетранспортер, фюрер за какие-нибудь полчаса обзвонил всех высших чинов генштаба и предложил (а попробуй откажись) увеселительную прогулку в одну из загородных пивных — разумеется, на этом бронетранспортере.

Гиммлеру не оставалось ничего другого, кроме как в спешке расставить своих людей вдоль дороги и заполнить пивную переодетыми чинами СС; фюрер, вероятно, разозлился бы, узнав, что после чая (сам он не пил пива) танцевал

танго не с безымянной девушкой из народа, а с шарфюрером СС, отличницей боевой и политической подготовки. А может, решил бы, что такой и должна быть безымянная девушка из народа.

Когда Гиммлер заметил, что фюрер проявляет нервозность, вокруг уже был Берлин. Собственно, ничего особого не происходило — просто Гитлер начал закручивать кончики своих усов. Жесткая и короткая щетина сразу же выпрямлялась, но Гитлер продолжал, морщась, подкручивать ее вверх. Давно изучивший привычки фюрера Гиммлер догадался, что сейчас произойдет, и точно: не прошло и пары минут, как Гитлер постучал сапогом в перегородку, за которой сидел водитель, и громко крикнул:

— Приехали! Стоп!

Бронетранспортер немедленно остановился, и сразу же сзади заудели, потому что стала образовываться пробка: впереди был уже почти самый центр.

Гиммлер вздохнул, снял с носа очки и протер их маленьким черным платочком с вышитым в углу черепом. Он знал причину остановки: на фюрера накатило, и ему совершенно необходимо было сказать речь — выделение речей у Гитлера было чисто физиологическим, и долго сдерживаться он не мог. Гиммлер покосился на генералов. Они оцепенело покачивались и походили на загипнотизированных удавом жертв; у фюрера с собой был пистолет — по дороге он пояснял на нем некоторые из своих соображений о духовных преимуществах парабеллума времен первой мировой перед «вальтером», пусть даже синего воронения, — и теперь они готовились к тому, что мог выкинуть распаленный собственной речью Гитлер. Одного из генералов, старого аристократа, который совершенно не привык к пиву, мутило от выпитого; плечо его зеленого мундира было блестящим и черным от блевотины, отчего мундир показался Гиммлеру похожим на эсэсовский.

Гитлер поднялся на кубическое возвышение для пулеметчика, алтарем торчавшее в центре кузова, пожал собственную ладонь и огляделся по сторонам.

Гудки сзади сразу же прекратились; справа за броней громко проскрипели тормоза. Гиммлер поднялся с лавки и выглянул на улицу. Машины вокруг стояли, а на тротуарах с

обеих сторон быстро, как в кино, росла толпа, передние ряды которой были уже вытеснены на проезжую часть.

Гиммлер догадывался, что в толпе были его люди, и немало, но все равно чувствовал себя беспокойно. Он сел обратно на лавку, снял фуражку и вытер пот.

Гитлер между тем уже начал говорить.

— Я не терплю предисловий, послесловий и комментариев, — сказал он, — и прочей жидовской брехни. Мне, как любому немцу, отвратителен психоанализ и любое толкование сновидений. Но все же сейчас я хочу рассказать о сне, который я видел.

Последовала обычная для начала речи минутная пауза, во время которой Гитлер, делая вид, что смотрит в глубь себя, действительно заглядывал в глубь себя.

— Мне снилось, что я иду по полю на восточных территориях, иду с простыми людьми, рабочими-землекопами. По бокам — бескрайняя огромная равнина с ветхими постройками, курганами; изредка попадаются деревушки, где поселяне трудятся у своих домов. Мы — я и мои спутники — проходим по одной из деревень и останавливаемся отдохнуть на лавке в тени от старых лип, напротив каких-то надписей.

Гитлер замахал руками, как человек, который разворачивает газету, проглядывает ее, с отвращением комкает и отбрасывает прочь.

— И тут, — продолжил он, — за моей спиной включается радио и раздается грустная старинная музыка — клавесин или гитара, точно я не помню. Тогда ко мне поворачивается Генрих...

Гитлер сделал рукой приглашающий жест, и над маскировочными разводами борта бронетранспортера появилась поблескивающая золотыми очками голова рейхсфюрера СС.

— ...А во сне он был одним из моих товарищей-землекопов, и говорит: «Не правда ли, старинная музыка удивительно подходит к русскому проселку? Точнее, не подходит, а удивительным образом меняет все вокруг? Испания, а? Быть может, это лучшее в жизни, — сказал мне он, — давай запомним эту минуту».

Гиммлер смущенно улыбнулся.

— И я, — продолжал Гитлер, — сперва согласился с ним. Да, Испания! Да, водонапорная башня — это кастильский замок! Да, шиповник походит на розу мавров! Да, за холмами мерещится море! Но...

Тут голос Гитлера приобрел необычайно мощный тембр и вместе с тем стал проникновенным и тихим, а руки, прижатые до этого к груди, двинулись — одна вниз, к паху, а другая — вверх, где приняла такую позицию, словно держала за хвост большую извивающуюся крысу.

— ...Но когда мелодия, сделав еще несколько простых и благородных поворотов, стихла, я понял, как был не прав бедный Генрих...

Ладонь Гитлера описал полукруг и шлепнулась на фуражку рейхсфюрера, посеревшее лицо которого медленно ушло за край брони.

— Да, он был не прав, и я скажу почему. Когда радио замолчало, мы оказались на просиженной лавке, среди кур и лопухов. Тарахтел трактор, нависали заборы, и хоть в обе стороны тянулась дорога, совершенно некуда было идти, потому что эта дорога вела к таким же лопухам и курам, к таким же заколоченным магазинам, стендам с пожелтевшими газетами, и ясно было, что, куда бы мы ни пошли, везде точно так же будет стрекотать трактор, наматывая на свой барабан нити наших жизней.

Гитлер обнял правой рукой левую плечо, а левую заложил за затылок.

— И тогда я задал себе вопрос: зачем? Зачем гудели за спиной эти струны, превращая унылый восточный полдень в нечто большее любого полдня в любой точке мира?

Гитлер, казалось, задумался.

— Если бы я был моложе — ну, как тогда, в четырнадцатом, — я бы, наверно, сказал себе: «Адольф, в эти минуты ты видел мир таким, каким он может стать, если...» За этим «если» я бы поставил, полагаю, какую-нибудь удобную фразу, одну из существующих специально для заполнения подобных романтических дыр в голове. Но сейчас я уже не стану этого делать, потому что слишком долго занимался подобными вещами. И я знаю: то, что приходило к нам, не было подлинным, раз оно бросило нас на заросшем травой полу этой огромной захолустной фабрики страданий, среди всей этой бессмыслицы, нагроможденной вокруг. А настоящее должно само позаботиться о тех, к кому оно приходит; не нужно ничего охранять в себе — то, что мы пытаемся охранять, должно на самом деле охранять нас... Нет, я не куплюсь так легко, как мой бедный Генрих...

Гитлер опустил яростно горящий взгляд внутрь бронетранспортера.

— И если теперь меня спросят: в чем был смысл этих трех минут, когда работало радио и мир был другим, я отвечу: а ни в чем. Нет его, смысла. Но что же это было такое? — опять спросят меня. А что было? Где это? — скажу я. И было ли это вообще?

Ветер подхватил гитлеровский чуб, свил его и на секунду превратил в подобие указателя, направленного вниз и вправо.

— ...Почему мы так боимся что-то потерять, не зная даже, что мы теряем? Нет, пусть уж лопухи будут просто лопухами, заборы — просто заборами, и тогда у дорог снова появляться начало и конец, а у движения по ним — смысл. Поэтому давайте наконец примем такой взгляд на вещи, который вернет миру его простоту, а нам даст возможность жить в нем, не боясь ждущей нас за каждым завтрашним углом ностальгии... И что тогда сможет нам сделать включенный за спиной приемник!

Гитлер опустил голову, покивал чему-то, потом медленно поднял глаза на толпу и выкинул правую руку вверх.

— Зиг хайль!

И, не обращая внимания на ответный рев толпы, повалился на лавку.

— Поехали, — сказал Гиммлер в решеточку, за которой было место водителя.

Остаток дороги Гиммлер глядел в бортовую стрелковую щель, притворяясь, что поглощен происходящим на улицах, — так было меньше вероятности, что с ним заговорят. Как это всегда бывало при плохом настроении, очки казались ему большим насекомым с прозрачными крыльями, впившимся прямо в переносицу.

«Интересно, — думал он, — как может этот человек столько рассуждать о чувствах и совершенно не задумываться о людях? Что он, не понимает, как просто оскорбить даже самую преданную душу?»

Сняв очки, Гиммлер сунул их в карман; теперь окружающее виделось расплывчато, зато мысли в голове прояснились и обида отпустила.

«Чего это он сегодня так разговорился о подлинности

чувств? Прошлая речь была о литературе, позапрошлая — о французских винах, а теперь вот взялся за душу... Но что он называет подлинным? И почему считает, что прекрасная сторона мира должна защищать его от дурного пищеварения или узких ботинок? И наоборот, разве прекрасное нуждается в какой-то защите? А эти уральские лопухи... сравнения у него, по правде сказать, пошлы: кастильский замок, севильская роза... Или не севильская? Море какое-то за холмами придумал... Да лучше пошел бы за холмы и поискал бы это самое море, чем орать во всю глотку, что его нет. Может, моря не нашел бы, а увидел бы что-то другое. Да и разве этому нас учат Ницше и Вагнер? Не может шагнуть, а говорит, что идти некуда. И как говорит — за других решает, думает, что круче его никого нету. А сам в Ежовске возле винного на прошлой неделе по харе получил. И сейчас надо было дать, в натуре так... А то провода обрывает, когда люди музыку слушают, а потом еще всю дорогу о жизни...»

Матвей сердито сплюнул в угол и уже совсем собрался начать думать о другом, когда грузовик вдруг затормозил и встал. Они были на месте.

Матвей быстро выпрыгнул из кузова, отошел, будто по нужде, за недостроенный кирпичный угол и заглянул в себя, пытаясь увидеть там хоть слабый след того, что увидел несколько часов назад, слушая радио. Но там было пусто и жутко, как зимой в пионерлагере, разрушенном гитлеровскими полчищами: скрипели на петлях ненужные двери и болтался на ветру обрывок транспаранта с единственным уцелевшим словом «надо».

— А Петра я убью, — тихо сказал Матвей, вышел из-за угла и вернулся к своей обычной внутренней реальности. Потом, уже работая, он несколько раз поднимал глаза и подолгу глядел на Петра, ненавидя по очереди то его подвернутые сапоги, то круглый затылок, то совковую во многих смыслах лопату.

## ВЕСТИ ИЗ НЕПАЛА

Когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся и теперь надо прыгать прямо в лужу. Любочка прыгнула, и так неудачно, что забрызгала холодной слякотью полу пальто, а уж на сапоги лучше было просто не смотреть. Выбравшись на узкий тротуар, она оказалась между двумя встречными потоками огромных грузовых машин, ревущих и брызжущих смесью грязи с песком и снегом. Светофора здесь не было, потому что не было перехода, и приходилось ждать, когда в сплошной стене высоких кузовов, железных (ободранных, с грубо приваренными для жесткости ребрами) и деревянных (ничего и не скажешь про них, но страшно, страшно), появится просвет. Грузовики, без конца шедшие мимо, производили такое гнетущее впечатление, что было даже неясно, чья же тупая и жестокая воля организует перемещение этих заляпанных мазутом страшилищ сквозь серый ноябрьский туман, накрывший весь город. Не очень верилось, что этим занимаются люди.

Наконец в сплошной стене кузовов стали появляться просветы. Любочка прижала пакет к груди и деликатно сошла на дорогу, стараясь наступать на черные пятна асфальта среди студенистой грязи. Напротив желтел длинный забор троллейбусного парка с широкими черными воротами — их обычно запирали к восьми тридцати, но сейчас одна створка была открыта и еще можно было прошмыгнуть.

— Куда идешь-то! — крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, с ломом в руках стоявшая за воротами. — Не знаешь — опоздавшим вход через проходную! Директор велел.

— Я быстренько, — пробормотала Любочка и попыталась пройти мимо.

— Не пушу тебя, — с улыбкой сказала баба и переместилась в самый центр прохода, — не пушу. Приходи вовремя.

Любочка подняла глаза: баба стояла, прижимая упертый в асфальт лом к боку и сцепив пухлые кисти на животе; большие пальцы ее рук вращались друг вокруг друга, будто она наматывала на них невидимую нить. Улыбалась она так, как советского человека научили в шестидесятые годы — с намеком на то, что все обойдется, — но проход заслоняла всерьез. Справа от нее была будка с фанерным щитом наглядной агитации, где на фоне Евразии обнимались трое: некто под опущенным на лицо черным забралом и со странным оружием в руках, человек с холодным недобрый взглядом, одетый в белый халат и шапочку, и Бог знает как попавшая в эту компанию девушка в полосатом азиатском наряде. Над щитом была прибита фанерная полоса с надписью:

ВСЯКИЙ ВХОДЯЩИЙ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ!  
НЕ ЗАБУДЬ НАДЕТЬ СПЕЦОДЕЖДУ!

Любочка повернула и пошла к проходной. Для этого надо было обогнуть угол высоченного дома с покрашенными до третьего этажа окнами — там, говорили, помещался какой-то секретный институт, — а потом идти вдоль желтого забора к серой кирпичной постройке, украшенной вывесками с волшебными словами: УПТМ, АСУС и еще чем-то черным на коричневом фоне.

Внутри, в ответвлении коридора, возле окошек касс в тяжелых облаках дыма хохотали шоферы. Любочка через другую дверь вышла в огромный двор парка, уже пустой и похожий на покинутый аэродром. На всем пространстве между циклопическими зданиями боксов и воротами, через которые Любочка пыталась пройти три минуты назад, не было видно никого, кроме высокого мужчины в красном фартуке, с большим широкоскулым лицом. Он держал в мускулистых розовых руках щит с надписью «КРЕПИ ДЕМОКРАТИЮ!» и шагнул прямо на Любочку, а неопределенное цветное месиво за его спиной, если приглядеться, оказывалось неисчислимой армией тружеников, среди которых было даже несколько негров. Этот плакат, висевший на одном из боксов, создали в



малярном цехе еще весной, и Любочка давно привыкла, что он встречает ее каждое утро. Плакат был устроен умно: текст призыва можно было менять, подвешивая на двух крюках новую фанерку, и сначала там были слова: «КРЕПИ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ», потом, в период некоторой политической неясности — «БЕРЕГИ РАБОЧУЮ ЧЕСТЬ», а сейчас, к празднику, повесили новый призыв, которого Любочка еще не видела.

Она дошла до дверей административного корпуса и поднялась на второй этаж, в техотдел, где уже третий год работала инженером по рационализации.

В коридоре между доской Почета и стендом с фотографиями побывавших в вытрезвителе сотрудников висело зеркало, и Любочка остановилась поглядеть на себя.

Она была маленькая, в черной синтетической шубке и спортивной шапочке, на которой были вышиты два красных зубца в синей окантовке. Лицо у нее было чуть обезьянье, испуганное от рождения, и когда она улыбалась, было видно, что она делает это с усилием и как бы выполняя то единственное служебное действие, на которое способна.

Расстегнув шубку (под ней была белая кофточка с широкой черной полосой на груди) и прижавшись к зеркалу, чтобы пропустить двух работяг в ватниках, горячо обсуждавших на ходу какое-то дело (и так махавших при этом руками, что не дай Бог кому-нибудь было оказаться на пути огромных растрескавшихся кулаков), она увидела почти вплотную свое припудренное лицо с ясно заметными морщинками у глаз. Двадцать восемь лет — это все-таки двадцать восемь лет, и уже не так легко быть порхающей по коридорам девочкой, подобием живого фикуса, на котором отдыхают утомленные крупногабаритными железными предметами мужские взгляды.

Она еще раз улыбнулась в зеркало и потянула на себя дверь с табличкой «Техотдел». Ее стол стоял в углу, у истыканной доски кульмана, и сейчас за ним, глядя прямо ей в глаза, сидел директор парка Шушпанов, похожий на сильно растолстевшего Раймонда Паулса. В руке у него был маленький пестрый флажок, вынутый из старинной китайской вазы, где у Любочки стояли ручки и карандаши. Флажок остался с того дня, когда весь техотдел сняли с работы встречать какого-то экзотического президента, — тогда всем выдали та-

кие и велели махать при появлении машин. Любочка сохранила его на память из-за какого-то особенно оптимистического глянца. Когда она вошла, Шушпанов так крутанул между пальцев ее амулет, что вместо двух треугольников над его рукой возникло размытое красноватое облако.

— Здрасьте, Любовь Григорьевна! — сказал он в отвратительно галантной манере. — Задерживаетесь?

Любочка в ответ пролепетала что-то про метро, про троллейбус, но Шушпанов ее перебил:

— Ну я же не говорю — опаздываете. Я говорю — задерживаетесь. Понимаю — дела. Парикмахерская там, галантерея...

Вел он себя так, словно и правда говорил что-то приятное, но больше всего ее напугало то, что к ней обращаются на «вы», по имени-отчеству. Это делало все происходящее крайне двусмысленным, потому что если опаздывала Любочка — это было одно, а если инженер по рационализации Любовь Григорьевна Сухоручко — уже совсем другое.

— Как у вас дела? — спросил Шушпанов.

— Ничего.

— Я про работу говорю. Сколько рацпредложений?

— Нисколько, — ответила Любочка, а потом наморщилась и сказала: — Хотя нет. Приходил Колемасов из жестяного цеха — он там придумал какое-то усовершенствование. К таким большим ножницам — жечь резать. Я еще не оформила.

— Понятно. А в прошлом месяце?

— Было два. Уже выплатили.

— Ага.

Директор положил флажок, соединил возле груди растопыренные пальцы и закрыл глаза, шевеля губами и делая вид, что что-то подсчитывает.

— Двадцать рублей. Ну а мы вам сколько платим?

И сам себе ответил:

— Сто семьдесят. Итого — сто пятьдесят рублей разницы. Понимаете мою мысль?

Любочка понимала. И не только эту мысль, но и многое другое, чего директор, наверное, вовсе не имел в виду. Ей показалось, что на ней, как лучи прожекторов, скрещиваются взгляды директора, начальника техотдела Шувалова, выглядывающего из маленькой смежной комнаты, превращенной им в кабинет, и всех остальных. И, чтобы не стоять неподвижно в самом фокусе садистического интереса трудового

коллектива, она повернулась, повесила пакет на вешалку и стала медленно снимать шубу.

— Таким, значит, образом, — сказал директор, — сегодня обойдете все цеха и сообщите мне завтра утром о ваших успехах. Советую, чтобы они были.

Он встал из-за стола, миновал замершую у вешалки Любочку, размашисто и медленно перекрестился на цветную фотографию троллейбуса ЗиУ-9 в углу и вышел из комнаты.

Ни на кого не глядя, Любочка села на теплый от директорского зада стул (минут десять, наверное, ждал) и полезла в нижний ящик стола. Все в комнате молчали, поглядывая на спрятавшую лицо за тумбой Любочку и стараясь ни в коем случае не показать испытываемого удовольствия, — наоборот, лица сослуживцев изображали неопределенное сострадание пополам с гражданской ответственностью.

— Вот ведь как интересно! — сказал вдруг Марк Иванович Миннезингер, решив, видимо, нарушить тягостную тишину.

— Что интересно? — спросил Толик Пурьгин, отрываясь от чертежа.

— Мы утром дроссель перетаскивали, чтоб не пылился, — и такая мне мысль в голову пришла...

Марк Иванович замолчал, и Толик, догадавшись, что тот ждет вопроса, задал его:

— Какая мысль, Марк Иванович?

— А такая. Ток ведь не может по воздуху течь, верно?

— Верно.

— А если провод под током разорвать, что будет?

— Искра. Или дуга. Это от индуктивности зависит.

— Вот. Значит, все-таки течет по воздуху.

— Ну и что? — терпеливо спросил Толик.

— А то, что для тока сначала ничего не меняется. Он так и думает, что течет по проводу — ведь в воздухе нет... нет...

— Носителей заряда, — подсказал Толик.

— Да. Именно так. Поэтому, когда провод уже порван...

— Во-первых, — сказал Шувалов, выходя из своей комнаты, — ток не думает. Его стихия иная. А во-вторых, при протекании разряда через газ происходит ионизация и появляются заряженные частицы. Я это точно знаю.

Он включил приделанный к стене приемник, отрегулировал громкость и вернулся в свой кабинет. В комнату вошло несколько невидимых балалаечников; они играли в такой ма-

нере, что если перед этим у кого-то из сидящих в техотделе и были сомнения насчет существования глубоких и истинно народных произведений для оркестра балалаек, то они сразу же исчезли.

Между тем у Любочки появилась уверенность, что она контролирует мускулы своего лица. Несколько раз улыбнувшись за тумбой стола, она подняла голову, огляделась, придвинула к себе папку для заявок и принялась изучать предложенное новшество.

*«...Заключается в том, что штанга металлорежущих ножиц комплектуется набором сменных грузов, что позволяет в результате несложной операции регулировать величину удельного момента, прикладываемого...»*

Она на секунду зажмурилась, как делала всегда, когда бывало непонятно, и решила, что надо идти в жестяной цех выяснить все на месте. По-прежнему ни на кого не глядя, она встала, открыла дверцу шкафа, вынула новенький ватник с торчащей из кармана сложенной бумажкой и вышла в коридор.

На улице стало еще гаже — полетели крупные снежные хлопья. Упав на асфальт, они пропитывались водой, но не таяли окончательно, отчего двор, над которым разносилось исступленное бляение балалаек, покрылся слоем полупрозрачной холодной жижи. Остановясь под навесом, Любочка накинула на плечи ватник (чтобы сохранить дистанцию между собой и рабочими, она никогда не продевала руки в рукава), сделала деловое лицо и двинулась по направлению к парящему над двором широколицему мужчине в красном.

Метрах в двадцати от бокса стояли двое — Любочка сначала решила, что они из столовой, а когда подошла поближе, так и замерла: то, что она приняла за белые халаты, оказалось длинными ночными рубашками, и это была единственная одежда незнакомцев. Один из них был толстым и низеньким, уже в годах, а другой — стриженным наголо молодым человеком. Держась за руки, они внимательно разглядывали плакат.

— Обрати внимание, — говорил низенький, причем над его ртом поднимался пар, — на сложность концепции. Как это загадочно уже само по себе — плакат, изображающий человека, несущего плакат! Если развить эту идею до полагающегося ей конца и поместить на щит в руках мужчины в красном

комбинезоне плакат, на котором будет изображен он сам, несущий такой же плакат, — что мы получим?

Молодой человек покосился на Любочку и ничего не сказал.

— Ничего, при ней можно, — сказал низенький и подмигнул Любочке, отчего она вдруг ощутила неожиданную неуверенную надежду.

— Мы получим модель вселенной, понятное дело, — ответил молодой человек.

— Ну это ты загнул, — сказал низенький и опять подмигнул Любочке. — По-моему, это будет что-то вроде коридора между двумя зеркалами, в который ты опять залез без всякой необходимости. Ты вообще в курсе, где ты сейчас находишься?

Молодой человек вздрогнул и внимательно огляделся по сторонам.

— Вспомнил? Ну то-то. Так что ж ты сюда забрел?

— Я насчет смерти хотел выяснить, — виновато сказал молодой человек.

Его собеседник нахмурился.

— Сколько раз тебе говорить — никогда не надо забегать вперед. Но раз уж ты сюда попал, давай внесем некоторую ясность. Представь себе, что каждому из бесконечной вереницы плакатов соответствует свой мир — вроде этого. И в каждом из них есть такой же двор, такие же... стояла для мамонтов... Девушка, как они называются?

— Это боксы, — ответила Любочка. — А вам не холодно?

— Да нет. Ему все это снится. Ну да, боксы, и перед каждым из них кто-то стоит. Тогда место, где мы сейчас стоим, будет просто одним из таких миров, и окажется...

— Окажется... Окажется... Господи!

Молодой человек вскрикнул, выдернул руку и побежал к боксу. Его собеседник выругался и кинулся за ним, на ходу оборачиваясь и виновато всплескивая руками. Оба исчезли за углом.

— Дураки какие-то, — пробормотала Любочка и двинулась дальше. Подходя к прорезанной в огромной двери бокса калитке, она уже думала о другом.

В жестяном цехе — небольшом помещении с высоким, в два этажа, потолком — было тихо и сумрачно. В центре возвышался обитый жостью стол, заваленный разноцветными ме-

галлическими обрезками, а у стены, на сдвинутых углом лавках, сидело трое человек. Они молча играли в домино — сдержанными и экономными движениями клали на стол фишки, иногда коротко комментируя очередной ход. Кроме коробки от домино, на чистом углу стола стояла пачка грузинского чая, несколько упаковок рафинада и три сделанных из черепов чаши с прилипшими к желтоватым стенкам чайниками. Любочка подошла к играющим и бодрым голосом сказала:

— А я к вам! Здравсьте, товарищ Колемасов!

— Привет, — рассеянно отозвался морщинистый дядька, сидевший с края, — как жизнь молодая?

— Ничего, спасибо, — сказала Любочка. — Я к вам по делу. По рацпредложению.

— Никак деньги принесла? — спросил Колемасов и пихнул локтем соседа в бок. Сосед улыбнулся.

— Уж сразу деньги, — сказала Любочка. — Надо оформить сначала.

— Ну так давай оформляй. Сейчас... Покажем...

Колемасов положил на стол фишку, чем, видимо, закончил партию — партнеры зашевелились, завздохали и побросали оставшиеся кости. Колемасов встал и пошел к верстаку, кивком пригласив за собой Любочку.

— Гляди, — сказал он. — К примеру, надо разрезать дюралевый лист.

Он вытащил из кучи обрезков блестящий серебристый треугольник и вставил его в раскрытую пасть ножниц.

— Попробуй.

Любочка положила журнал на стол, взялась за приваренную к ручке ножниц метровую трубу и потянула ее вниз. Но дюраль, видно, был слишком толстый — чуточку переместившись вниз, ручка замерла.

— Дальше не идет, — сказала Любочка.

— Во. А теперь делаем вот что.

Колемасов поднял с пола шестнадцатикилограммовую гирю, поднес ее к ножницам, побагровев, поднял ее на уровень груди и повесил на трубу.

— Давай жми.

Любочка всем своим весом надавила на трубу — та продвинулась еще немного и остановилась.

— Да сильней же надо, — сказал Колемасов и нажал на ручку сам — она медленно пошла вниз, и вдруг дюралева

пластина с треском разлетелась на две части, ручка дернулась, гиря соскочила и с тяжелым звуком врезалась в кафельный пол чуть левее Любочкиного сапога.

— Вот такое усовершенствование, — сказал Колемасов.

Двое партнеров по домино с интересом следили за происходящим.

— Понятно, — сказала Любочка. — А тут сказано, что сменные грузы.

— Пока их нет, — ответил Колемасов. — Но смысл простой: нужно несколько гирь. Берешь и вешаешь — или по одной, или по нескольку.

Любочка задумалась, пытаясь изобрести умный вопрос.

— Скажите, — наконец заговорила она, — а какой ожидается экономический эффект?

— Ой, не знаю. Не думал еще.

— Это надо обязательно. Или расчет экономического эффекта, или акт о его отсутствии. Еще нужен акт об использовании...

— Ну вот и составляй, — ответил Колемасов. — Ты ж по этим делам главная.

Он повернулся и пошел к корешам, один из которых уже начинал смешивать кости домино.

— А кто вам заявку писал? — спросила Любочка.

— Серега Каряев. Это мы с ним вместе придумали. Ты вот что — сходи в слесарный, он там как раз сейчас возится. Поговори.

Колемасов сел за стол и потянул к себе фишки.

Через минуту Любочка уже стояла у входа в слесарный, высматривая Каряева. Наконец она заметила в углу его крохотную перепачканную маслом мордочку в больших роговых очках. Каряев держал плоскогубцами длинное зубило, упертое в дно ржавого железного котла, а другой человек изо всех сил лупил по зубилу кувалдой. Любочка попробовала помахать им журналом, но они были слишком заняты и ничего не заметили. Тогда она пошла к ним сама.

— Очень просто, — сказал Каряев, выслушав Любочку. — Экономический эффект достигается за счет убыстрения слесарных работ. Надо подсчитать.

— А как?

— Будто сама не знаешь. Надо засечь, насколько быстрее проходит операция при использовании сменных грузов, и

помножить на количество троллейбусных парков. Еще надо ввести коэффициент, учитывающий количество ножниц в каждом парке. И вычесть стоимость гири. Это я примерную схему даю, ясно?

Каряев страдальчески морщился при каждом ударе кувалды, словно били не по зубилу, а по его голове, а Любочку грохот так оглушал, что ей стало казаться, будто Каряев говорит что-то очень умное. Вдруг каряевский напарник промахнулся и въехал кувалдой по котлу, отчего Любочке на секунду почудилось, что она стоит внутри огромного колокола. Каряев выпрямился и почесал ухо.

— Слышь, — сказал он, — я тебе завтра еще одну рацуху напишу. Видишь зубило? Вот я к нему приварю поперечину, чтоб держаться. А ты оформишь. Экономический эффект считать так же, только вычитать стоимость сварочных работ.

— А как ее узнать? — спросила Любочка.

— Как, как... В справочнике посмотри. Или позвони в институт сварки.

Каряев вдруг дернул Любочку за руку — они оба пригнулись, и над их головами с шелестом пронеслось что-то темное, размером с большую собаку.

Любочка выпрямилась, косясь на бьющуюся под потолком перепончатокрылую тварь, а Каряев поднял вылетевшее из плоскогубцев зубило, опять зажал его и приставил к котлу.

— Давай, Федор.

Федор прокашлялся и взмахнул кувалдой. Любочка поглядела на часы и охнула — десять минут как шел обед. Она помчалась в столовую.

Конечно, она опоздала — очередь в столовую уже изгибалась от кассы до самого входа. Любочка встала в ее хвост и приготовилась ждать. Сперва она некоторое время изучала роспись на стене, изображавшую висящий над пшеничным полем гигантский каравай, похожий на НЛО, затем заметила торчащий из кармана собственного ватника сложенный листок, вынула его и развернула.

«МНОГОЛИКИЙ КАТМАНДУ», — прочла она. Под заглавием мелким шрифтом было впечатано слово «памятка». Любочка прислонилась к стене и стала читать.

*«Город Катманду, столица небольшого государства Непал, расположен на живописных холмах в предгорьях Гималаев; если смотреть на линию холмов снизу, из долины, то они напо-*



минают хребет прилегшего отдохнуть дракона. Поэтому предки нынешних жителей Непала прозвали это место Драконовыми холмами.

Городу около трех тысяч лет. Упоминания о Катманду как о крупнейшем культурном и религиозном центре встречаются во многих древних хрониках; город был известен даже в ханьском Китае, где назывался Каньто и считался столицей мифического южного царства.

Во II-III веках нашей эры в Катманду проник буддизм, который вскоре образовал причудливый симбиоз с местными патриархальными культами. Тогда же в Катманду проникло и христианство, не получившее сколько-нибудь широкого распространения в городских верхах и оставшееся уделом небольших общин, занимающихся скотоводством на обширных низменностях к югу от города. Местные христиане — римские католики, но в последнее время церковь Катманду активно добивается статуса автокефальной».

Сзади послышалось тихое пение — Любочка обернулась и увидела трех сотрудников планово-экономической группы, вставших в несколько отделившийся от нее конец очереди. На них были длинные мешки с дырами для головы и рук, перетянутые на талии серым шпагатом, а в руках горели толстые парафиновые свечи. На мешках были оттиснуты какие-то цифры, черные зонтики и надписи «КРЮЧЬЯМИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». Любочка стала читать дальше.

«В конце прошлого века сюда переселилась русская секта духоборов, основавшая несколько деревень невдалеке от города; в их быту тщательно сохраняются все черты жизни русской деревни XIX века — например, на стенах изб можно увидеть вырезанные из „Нивы“ портреты императора Александра III с семьей.

Смешение в рамках одного города-государства нескольких культурных и религиозных традиций превратило Катманду в уникальный архитектурный памятник: буддийские пагоды соседствуют здесь с шиваистскими храмами, христианскими церквами и синагогами. По процентному отношению культовых построек к жилым Катманду занимает, безусловно, одно из первых мест в мире. Однако это не означает, что местные жители чрезмерно религиозны, — наоборот, им скорее свойственно эпикурейское отношение к жизни. Почти на каждую календарную дату в Катманду выпадает какой-нибудь празд-

них. Некоторые из этих праздников напоминают европейские — в них принимают участие члены правительства или хотя бы представители администрации; тогда на улицах поддерживается порядок и проводятся торжественные мероприятия, как, например, парад национальной гвардии, проезжающей в День Независимости на слонах по главной магистрали столицы. Другие праздники — такие, как День Заглядывания за Край, связанный с традицией ритуального употребления психотропных растений, — на время превращают Катманду в подобие осажденного города: по улицам разъезжают правительственные броневики, мегафоны которых призывают разойтись собравшихся на площадях молчаливых и перепуганных людей.

Наиболее распространенным в Катманду культом является секта „Стремящихся Убедиться“. На улицах города часто можно видеть ее последователей — они ходят в наглухо застегнутых синих рясах и носят с собой корзинку для милостыни. Цель их духовной практики — путем усиленных размышлений и подвижничества осознать человеческую жизнь такой, какова она на самом деле. Некоторым из подвижников это удается; такие называются „убедившимися“. Их легко узнать по постоянно издаваемому ими дикому крику. „Убедившегося“ адепта немедленно доставляют на специальном автомобиле в особый монастырь-изолятор, называющийся „Гнездо Убедившихся“. Там они и проводят остаток дней, прекращая кричать только на время приема пищи. При приближении смерти „убедившиеся“ начинают кричать особенно громко и пронзительно, и тогда молодые адепты под руки выводят их на скотный двор умирать. Некоторым из присутствующих на этой церемонии тут же удается убедиться самим — и их водворяют в обитые пробкой помещения, где пройдет их дальнейшая жизнь. Таким присваивается титул „Убедившихся в Гнезде“, дающий право на ношение зеленых бус. Рассказывают, что в ответ на замечание одного из гостей монастыря-изолятора о том, как это ужасно — умирать среди луж грязи и хрюкающих свиней, один из „убедившихся“, перестав на минуту вопить, сказал: „Те, кто полагает, что легче умирать в кругу родных и близких, лежа на удобной постели, не имеют никакого понятия о том, что такое смерть“.

Катманду — не только культурный центр с многовековы-

*ми традициями, но и крупный промышленный город; недавно с участием советских специалистов здесь построен современный электроламповый завод, продукция которого пользуется большим спросом на мировом рынке. Песчаные пляжи Катманду издавна привлекают туристов со всех уголков земного шара, и существующая здесь индустрия развлечений не уступает лучшим мировым образцам.*

*Есть тут и молодая коммунистическая партия, борющаяся за более справедливые условия жизни трудящихся этой небольшой живописной страны».*

Любочка поставила на свой поднос помидорный салат, рагу из свинины и бокал легкого итальянского вина. Подумав, она поставила рагу на место, взяла вместо него скумбрию с капустой, расплатилась и двинулась к угловому столику, откуда ей делали приглашающие жесты девочки из бухгалтерии.

— Чего, памятку читала? — спросила Настя Быкова, девушка с толстым слоем пудры на некрасивом лице.

— Да, — ответила Любочка, садясь рядом, — прочла.

— Тепло там, наверно, — мечтательно сказала Настя. — Круглый год тепло. Мужиков много. И фрукты всякие. А мы тут живем, живем — ничего не видим вокруг. А помираем — тоже небось в дурах оказываемся. Верно, Оль?

Оля, задумавшись, глядела в суп.

— Оль, ты чего? О чем думаешь?

Оля подняла глаза, слабо улыбнулась и произнесла:

— Возьми ладонь с моей груди. Мы провода под током. Друг к другу нас, того гляди, вдруг бросит ненароком...

— Это у нее хахаль электромонтажником работает, — вздохнув, пояснила Настя. — Ну ладно, чего болтать. Давайте есть, что ли.

Любочка доела быстрее всех, поставила поднос с тарелками на черную ленту транспортера, кивнула подругам и пошла в техотдел.

«Дура я, — думала она, поднимаясь по лестнице, — надо было выходить за Ваську Балалыкина и двигать с ним в армию. Сидела бы сейчас где-нибудь в гарнизонной библиотеке, выдавала бы книги...»

В коридоре она налетела на директора Шушпанова, который как раз выходил из парткома. Она даже не успела как следует испугаться — Шушпанов развернулся, взял ее под руку и повел по коридору навстречу плакату с тремя гигант-

скими брезгливо-гневными лицами, глядящими из-под строительных касок на корчащегося перед ними поганенького человечка с торчащей из кармана бутылкой.

— Ты сейчас чем занимаешься?

— Я? В цеху была. Два рацпредложения буду оформлять. Только насчет экономического...

— Все бросай, — заговорщически прошептал Шушпанов, — и дуй в библиотеку. Надо срочно стенгазету сделать. Там уже двое сидят — поможешь. Лады?

— Я рисовать не умею.

— Ничего, там раскрашивать нужно. Давай, девка, пулей! — Последние слова Шушпанов произнес так, словно их некоторая грубость искупалась небывалым счастьем, которое свалилось на Любочку в результате его предложения. Она растянула рот в улыбке и ответила:

— Лечу! Только журнал положу.

— Пулей! — на ходу повторил Шушпанов и бодро нырнул в дверь туалета, оставив Любочку наедине с гневом и брезгливостью висящего в тупике плаката.

Любочка пошла назад — Шушпанов протащил ее за собой лишних метров десять, — вошла в техотдел, положила журнал на обычное место и сменила ватник на синий халат, висевший в том же шкафу. Сослуживцы толпились у окна, наблюдая за двумя небесными всадниками, иногда выныривавшими из низких туч. Марк Иванович обернулся и сказал:

— Любочка! Позвони Василию Балалыкину.

— Я уже знаю, — сказала Любочка. — Спасибо.

Номер оказался занят, и через пять минут она была в библиотеке, где парковый художник Костя и библиотекарь Елена Павловна склонялись над двумя сдвинутыми столами, накрытыми склеенным из нескольких листов ватмана полотном стенгазеты — уже был готов карандашный рисунок, и оставалось только закрасить его гуашью. Костя выдал Любочке обломок маленькой кисти и велел как следует отмыть его в пятилитровой банке мутной воды, стоявшей на полу.

— Смотри только не вырони, — испуганно сказал он, — утонет.

Ей стало обидно от такого недоверия. Она тщательно отмыла кисть. Для раскрашивания ей достался огромный изгибающийся колос — будь он настоящим, им можно было бы накормить роту милиции. Любочка стала аккуратно наносить

на него слой желтой краски и уже начала ощущать радость от того, как у нее славно получается, когда Костя вдруг потрепал ее по плечу.

— Ну что ты делаешь, а? — спросил он. — Ведь надо объем передавать. Показываю.

Он обмакнул кисть в белила и стал исправлять Любочкину работу. Никакого объема все равно не получалось, зато стало казаться, что колос отлит из бронзы.

— Понятно?

— Понятно. — Она потерла пальцами виски и неожиданно для самой себя спросила: — Слушай, а ты не помнишь, в какой это сказке железный хлеб едят?

— Железный хлеб? — удивился Костя. — Черт знает.

За окнами уже было темно и горели холодные фиолетовые фонари. Когда в комнату стали входить люди, оставалось раскрасить улыбающуюся Луну и воина воздушных сил в покоем на аквариум гермошлеме.

Собрался почти весь административный штат; почему-то пришла баба в оранжевой безрукавке, утром не пускавшая Любочку в парк. Шушпанов подошел к столу, глянул на газету, похвалил и сказал, что сейчас будет короткое собрание, а потом можно будет продолжить.

Все расселись. Шушпанов, Шувалов и баба в безрукавке заняли места в маленьком президиуме, молодежь по привычке уселась подальше, возле книжных стеллажей, и собрание началось.

Шушпанов встал, потер ладони и уже собирался что-то сказать, когда открылась дверь и появился перепачканный маслом Каряев. В руках у него было зубило с приваренной к нему длинной поперечиной.

— Надо включить радио, — сказал он.

Шушпанов поглядел на него с хмурым недоумением, а потом его лицо прояснилось.

— Верно, надо включить радио.

Выйдя из-за стола, он подошел к стене и повернул черный кружок на боку маленького приемника с олимпийской эмблемой.

— ...Собственного корреспондента в Непале.

У звука появился фон. Долетели гудки машин, шум ветра, чей-то далекий смех.

— Стоя здесь, — заговорил вдруг громкий ухающий го-

лос, — на широких дорогах современного Непала, не перестаешь удивляться, как многообразен природный мир этой удивительной страны. Еще несколько часов назад светило солнце, вокруг вздымались высокие пальмы и палисандровые деревья, дивно пели голубые кукушки и красные попугаи. Казалось, этому не будет конца — но у мира свои законы, и вот мы поднялись выше, в редкий воздух предгорий. Как тихо стало вокруг! Как скорбно и сосредоточенно смотрит на землю небо! Недаром внизу, в долине, о жителях вершин говорят, что они едят железный хлеб. Да, здешние горы суровы. Но интересно вот что: когда поднимаешься из долины к безлюдным заснеженным пикам, пересекаешь много природных зон и в какой-то момент замечаешь, что прямо у обочины шоссе начинается березовая роща, дальше растут рябины и липы, и кажется, что вот-вот в просвете между деревьями покажутся скромные домики обычного русского села, пара коров, пасущихся за околицей, и, конечно же, маковка маленькой бревенчатой церкви. Нет-нет, а и вспомнишь о далеком колокольном звоне, узорчатых накупольных крестах и толпе старушек в притворе, отбивающих поклоны и спешащих поставить трогательную тонкую свечку Богу... Одно воспоминание приходит на смену другому, и скоро замечаешь, что думаешь уже не о природном мире Непала, а о том, что православная догматика называет воздушными мытарствами. Напомню дорогим радиослушателям, что в традиционном понимании это сорокадневное путешествие душ по слоям, населенным различными демонами, разрывающими пораженное грехом сознание на части. Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому... Вот вы, например. Вы ведь думаете, что после смерти все кончается, верно?

— Верно... — откликнулось несколько голосов в зале. Любочка сначала услышала их, а потом уже поняла, что и сама ответила со всеми.

— И ток не течет по воздуху. Верно?

— Верно...

— Нет. Неверно. (Давно уже в голосе появились издевательские ноты.) Но я не собираюсь портить вам праздник Октября этим пустым спором хотя бы из-за того, что у вас есть

отличная возможность проверить это самим. Ведь сейчас, друзья, как раз завершается первый день ваших воздушных мытарств. По славной традиции он проводится на Земле.

В зале кто-то тихо закричал. Кто-то другой завыл. Любочка повернулась, чтобы посмотреть, кто это, и вдруг все вспомнила — и завывала сама. Чтобы не закричать в полный голос, надо было сдерживаться изо всех сил, а для этого необходимо было занять себя хоть чем-то, и она стала обеими руками оттирать след протектора с обвисшей на раздавленной груди белой кофточки. По-видимому, со всеми происходило то же самое — Шушпанов пытался заткнуть колпачком от авторучки пулевую дырку в виске, Каряев — вправить кости своего проломленного черепа, Шувалов зачесывал чуб на зубастый синий след молнии, и даже Костя, вспомнив, видимо, какие-то сведения из брошюры о спасении утопающих, делал сам себе искусственное дыхание.

Радио между тем восклицало:

— О, как трогательны попытки душ, бьющихся под ветрами воздушных мытарств, уверить себя, что ничего не произошло! Они ведь и первую догадку о том, что с ними случилось, примут за идиотский рассказ по радио! О ужас советской смерти! В такие странные игры играют, погибая, люди! Не знавшие ничего, кроме жизни, они принимают за жизнь смерть. Пусть же оркестр балалаек под управлением Иеговы Эргашева разбудит вас завтра. И пусть ваше завтра будет таким же, как сегодня, до мгновения, когда над тем, что кто-то из вас принимает за свой колхоз, кто-то — за подводную лодку, кто-то — за троллейбусный парк и так далее, — когда надо всем тем, во что ваши души наряжают смерть, разольется задумчивая мелодия народного напева саратовской губернии «Уж вы ветры». А сейчас предлагаю вам послушать вологодскую песню «Не одна-то ли во поле дороженька», вслед за чем немедленно начнется второй день воздушных мытарств — ведь ночи здесь нет. Точнее, нет дня, но раз нет дня, нет и ночи...

Последние слова потонули в нарастающем гуле неземных балалаек — их звук был так невыносим, что в зале, уже не стесняясь, стали кричать во все горло.

Вдруг у Любочки возникла спасительная мысль. Что-то подсказало ей, что, если она сможет встать и выбежать в коридор, все пройдет. Наверное, похожие мысли пришли в го-

лову и остальным — Шушпанов, качаясь, кинулся к окну, баба в оранжевой безрукавке полезла под стол, сообразительный Каряев уже тянул руку к черной кнопке радио, намереваясь выключить его и посмотреть, что это даст, — а Любочка, с трудом переставляя ноги, заковыляла к двери. Неожиданно погас свет, и пока она ощупью искала ручку, на нее сзади навалилось несколько человек, охваченных, видимо, той же надеждой. А когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся и теперь надо прыгать прямо в лужу.



## МИТТЕЛЬШПИЛЬ

Участок тротуара у «Националя» — последние десять метров Тверской улицы Горького — был обнесен деревянными столбиками, между которыми на холодном январском ветру раскачивалась веревка с мятыми красными флажками. Желая спуститься в подземный переход приходилось сходить с тротуара и идти вдоль припаркованных машин, читая яркие оскорбления на непонятных языках, приклеенные к стеклам изнутри. Особенно обидной Люсе показалась надпись на огромном обтекаемом автобусе — «We show you Eugene». Насчет «We» было ясно — это фирма, которой принадлежал автобус. А вот кто этот «you»? Люсе что-то подсказывало, что имеются в виду не желающие прокатиться иностранцы, а именно она, а этот залепленный снегом автобус и есть Европа, одновременно близкая и совершенно недостижимая. Из-за Европы выглянула красная милицейская харя и ухмыльнулась настолько в такт Люсиным мыслям, что она рефлекторно повернула назад.

Поднявшись по ступенькам на площадку перед «Интуристом», она подошла к ларьку, где продавали кофе. Обычно перед ним топталась очередь минут на пять, но сегодня из-за мороза было пусто и даже плексигласовое оконце было закрыто. Люся постучала. Девушка, дремавшая возле гриля, встала, подошла к стойке и со знакомой ненавистью глянула на Люсину лисью шубу («пятнадцать кусков», как ее называли подруги), лисью шапку и на чуть тронутое дорогой косметикой лицо, глядевшее на нее из заснеженного темного мира.

— Кофе, пожалуйста, — сказала Люся.

Девушка сунула два кофейника в песок на плите, взяла рубль и спросила:

— Не холодно так, весь вечер на панели?

«Сука, а?» — подумала Люся, но в ответ ничего грубого не сказала, взяла кофе и отошла к столику.

Сегодня день был не очень удачный. Точнее сказать, совсем неудачный — возле «Националя» гужевались одни пьяные финны, да и то, похоже, какие-то рыболовы. Мелькнул только седоватый худой француз с выпуклыми развратными глазами — но, проشمгнув раза два мимо Люси, так ничего и не сказал, кинул на лед возле урны пустую пачку «Житан», сунул руки в карманы дубленки и исчез за углом. Мороз. Холодно было так, что даже шоферы, торгующие сигаретами, презервативами и пивом, перенесли свою особую экономическую зону с улицы в узкий тамбур «Националя», где шутили во переругивались с весельчаком швейцаром:

— Это ты раньше был в гэбухе полковник, а сейчас такое же говно, как все... Или ты, может, весь холл купил? У нас тоже права человека имеются...

Люся зашла к ним, купила за четвертной «Салем» у какого-то дедуни с разъеденным носом и вышла опять на мороз. Фирма дрыхла по своим номерам или глядела в окна на мигающий разноцветными огнями замерзший город и совсем, похоже, не думала о Люсином нежном теле.

«Пойти, что ли, в „Москву“?»

Люся брезгливо поглядела на серый имперский фасад, украшенный двухметровыми синими снежинками на белых полотнищах — от ветра по ткани проходили волны, и снежинки казались огромными синими вшами, шевелящимися на холодной стене.

«Хотя там тоже тухло...»

У подъезда «Москвы» было действительно безрадостно: снег, завывание ветра — так и казалось, что из-за колонн сейчас выйдут ребята с простыми открытыми лицами, в шинелях, с овчарками на широких брезентовых ремнях. Внутри, в больших мраморных сенях, пьяная восточная компания пела какой-то древний боевой гимн, а с третьего этажа долетала другая музыка — ресторанная, бляющая:

— Воу-оу, ю-ин-зи-ами-нау...

Люся сдала шубу и шапку, поправила невесомый свитер с серебряными блестками и пошла на второй этаж. Хоть место было и гнилое, а все же именно здесь осенью Люся сняла немца на триста марок и два флакона «Пуассона» с распылите-

лем. Лучше всего — это какой-нибудь пожилой коммивояжер с полоской от обручального кольца на волосатом безымянном пальце — толстячок, уже обтяпавший свои дела с соввластью и ждущий теперь от дикой северной земли в меру сладкого и опасного приключения. Такой клиент не торчит на ступенях «Интуриста», а идет в угол потемнее, вроде «Москвы» или даже «Минска», от страха платит много, да и не заразный наверняка. А в запросах трогательно прост. Но встречается он редко и, главное, непредсказуемо — это как рыбу удить.

Люся взяла два коктейля, села за угловой столик в баре, шелкнула зажигалкой и дунула дорогим дымом в темный потолок. Вокруг было почти пусто. За столиком напротив сидели два морских офицера в черной форме — лысые, с гробовыми лицами. Перед каждым желтело по нетронутому стакану с коктейлем, а на полу под столиком стояла бутылка водки — они пили через длинную пластиковую трубочку, передавая ее друг другу таким же спокойным и точным движением, каким, наверно, нажимали кнопки и переключали тумблеры на пультах своего подводного ракетносца.

Допью — и домой, подумала Люся.

Заглушая музыку с третьего этажа, заиграл магнитофон, и тут вдруг у Люси по спине прошла слабая судорога. Это была старая песня «Аббы» — что-то про трубача, луну и так далее. В восемьдесят четвертом — или восемьдесят пятом? — именно ее все лето крутил старенький катушечный «Маяк» в штабе стройотряда. Где ж это было? Астрахань? Или Саратов? Господи, со странным чувством подумала Люся, вот ведь забросила жизнь. Сказал бы кто тогда, даже в шутку — сразу бы в рожу получил. И главное, как-то все само собой вышло. Или не само?

— Па-а-звольте вас пригласить.

Люся подняла голову. Перед ней стоял черный морской офицер, без выражения глядел ей в лицо и чуть покачивал длинными руками, вытянутыми вдоль туловища.

— Куда? — не поняла Люся.

— На танец. Армия — это танец. Танец рождает свободу.

Люся открыла было рот, а потом неожиданно для самой себя кивнула головой и встала.

Черные руки, как замок на чемодане, щелкнулись у нее за спиной, и офицер стал мелкими шагами ходить между столиков, увлекая Люсю за собой и норовя прижаться к ней сво-

им черным кителем — это был даже не китель, а что-то вроде школьной курточки, только большой и с погонами. Перемещался офицер совершенно не в такт музыке. Видно, у него внутри играл свой маленький оркестр, исполнявший что-то медленное и надрывное. Из его рта веяло водкой — не перегаром, а именно холодным и чистым химическим запахом.

— Ты чего лысый-то? — спросила Люся, чуть отпихивая офицера от себя. — Ведь молодой еще.

— Семь лет в стальном гробу-у, — тихо пропел офицер, подняв на последнем слове голос почти до фальцета.

— Шутишь? — спросила Люся.

— В гробу-у, — протянул офицер и откровенно прижался к ней.

— А ты знаешь хоть, что такое свобода? — отталкивая его, спросила Люся. — Знаешь?

Офицер что-то промычал.

Музыка кончилась, и Люся, без всяких церемоний отделив его от себя, вернулась к столику и села. Коктейль был на вкус отвратительным; Люся отодвинула его и, чтобы чем-нибудь себя занять, раскрыла на коленях сумочку. Раздвинув страницы лежащего между пудреницей и зубной щеткой номера «Молодой гвардии» (зная, что этого журнала никто никогда не откроет, она прятала в нем валюту), она стала на ощупь считать зеленые пятерки, вызывая в памяти благородное лицо Линкольна и надпись со словами «legal tender», которые она переводила как «легальная нежность». Бумажек оставалось всего восемь, и Люся, вздохнув, решила попытаться счастья на третьем этаже, чтобы не мучила потом совесть.

Дорогу наверх преграждал толстый бархатный шнур, перед которым толпились совки, желающие попасть в ресторан, а узкий остававшийся проход был заполнен сидящим на табурете старшим официантом в синей форме с какими-то желтыми нашивками. Люся кивнула ему, перешагнула шнур, поднялась в ресторан и свернула в кафельный закуток перед буфетом. Там как раз стоял знакомый официант Сережа и через пластмассовую воронку переливал остатки шампанского из множества бокалов в бутылку, уже перехваченную салфеткой и стоящую в ведерке.

— Привет, Сережа, — сказала Люся, — как сегодня?

Сережа улыбнулся и помахал ей рукой — он относился к Люсе с тем бескорыстным уважением и симпатией, с каким,

наверно, знатный токарь думает субботним вечером о знакомом асе-фрезеровщике.

— Ерунда, Люсь. Два поляка драных и Кампучия с тяпками. Ты в пятницу приходи. Нефтяные арабы будут. Я тебя к самому потному посажу.

— Боюсь я эту Азию, — вздохнула Люся. — Я как-то с одним арабом работала — ты, Сергей, не поверишь. Он с собой в чемодане дамасскую саблю возит — она сворачивается, как этот... — Люся показала руками.

— Ремень, — подсказал Сергей.

— Нет, не ремень, а этот... Метр складной. Он без этой сабли возбудиться не может. Всю ночь ее из руки не выпускал, подушку пополам разрубил. Я к утру вся в пуху была. Хорошо, там ванная в номере...

Сережа посмеялся, подхватил поднос с шампанским и убежал в зал. Люся задержалась на секунду у мраморного ограждения, поглядеть на расписной потолок, — в его центре была огромная фреска, изображавшая, как Люся смутно догадывалась, сотворение мира, в котором она родилась и выросла и который за последние несколько лет уже успел куда-то исчезнуть: в центре огромными букетами расплывались огни салюта, а по углам стояли титаны — не то лыжники в тренировочных, не то студенты с тетрадами под мышкой, — Люся никогда не разглядывала их, потому что все ее внимание притягивали стрелы и звезды салюта, нарисованные какими-то давно забытыми цветами, теми самыми, которыми утро красит еще иногда стены старого Кремля: сиреневыми, розовыми и нежно-лиловыми, напоминающими о давно канувших в Лету жестяных карамельных коробках, зубном порошке и ветхих настенных календариках, оставшихся вместе с пачкой облигаций от забытой уже бабушки.

При виде этой росписи Люсе всегда становилось грустно; стало и сейчас. Здесь ее часто посещали мысли о бренности существования — а тут еще вспомнилась знакомая, Наташа, которая нашла себе в мужа пожилого негра и уже совсем было собрала чемоданы, но совершенно неожиданно вместо хлебной и теплой Зимбабве попала на мерзлое советское кладбище. Кто ее убил, было совершенно непонятно, но, видимо, это был какой-то маньяк, потому что во рту у нее нашли белую шахматную пешку.

Люся представила себе покрытый ледяной коркой сугроб, а в нем — свой труп с открытым ртом, из которого торчит бе-

лая пешка, и ей вдруг стало страшно оставаться в этом огромном, нечистом, орущем пьяными голосами и дребезжащем посудой здании.

Она быстро вышла из зала и пошла вниз, к гардеробу. Видно, что-то произошло с ее лицом — старший официант посмотрел на нее и сразу отвел удивленный взгляд в сторону. «Успокойся, дура, — велела себе Люся, — как с такими мыслями работать будешь? Никто тебя не убьет». Музыка из ресторана была слышна внизу даже лучше, чем на третьем этаже, — тише, но отчетливей.

— Воу-оу, — Бог весть в какой раз провыл за сегодня певец, хлопнула дверь, и то же самое завыл ветер.

У подъезда стояла девушка в черном кожаном балахоне и зеленой шерстяной шапочке. Из ее кармана торчал номер «Молодой гвардии», и Люся поняла, что это коллега. Да и без журнала можно было догадаться.

— Дай сигарету, — попросила девушка.

Люся дала, и девушка закурила.

— Как там? — спросила она.

— Пустота, — ответила Люся, — пьяные матросы какие-то и совки. В «Интурист» пойти, что ли?

— Только что оттуда, — ответила девушка. — Там береза сидит, Аньку сегодня опять повязали. Ее кубинский генерал кокаином угостил, так ей, дура, так стало радостно, что она официанту двадцать долларов сунула на чай. А официант идейный оказался, в Сальвадоре контуженный. Он ей говорит: попалась бы ты мне, сука, в джунглях, я б тебя сначала ребятам отдал для потехи, а потом — голой жопой в термитник. Я, говорит, кровь проливал, а ты страну позоришь.

— Еще подумать надо, кто страну позорит. А чего они обнаглели так? Опять на венских переговорах тупик?

— Да при чем тут переговоры? — сказала девушка. — Это что-то новое идет. Ты про Наташу слышала?

— Про какую? Которую убили, что ли? — стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно, спросила Люся.

— Ну. Которую с пешкой во рту в сугроб бросили.

— Слышала. И что?

— А то, что позавчера у «Космоса» Таньку Поликарпову нашли. С ладьей.

— Таньку замочили? — похолодела Люся. — Неужто гэбэ? Или рэкет?

— Не знаю, не знаю, — задумчиво сказала девушка. — Непохоже. Валюту не взяли, сумку с продуктами — тоже. Только ладью положили в рот. Ну да ладно, чего об этом на ночь глядя...

Люся нервно полезла за сигаретой.

— Тебя как звать-то? — спросила она.

— Нелли, — ответила девушка, — а ты Люся, я знаю. Как раз Анька сегодня про тебя вспоминала.

Люся внимательно поглядела на собеседницу: ямочки на щеках, чуть вздернутый нос, подчеркнутые ресницы — Люсе казалось, что она уже видела где-то это лицо, видела много раз.

«Где же я ее встречала? — напряженно думала Люся. — Да уж и не контора ли?»

— Я вообще в «Космосе» работаю, — сказала Нелли, словно прочтя ее мысли, — только там неделю назад наряд на дверях сменили. А пока к новым подрулишь, состаришься. Они вчера француза не пускали, карточку в номере забыл. Он им кричит, чтоб в регистрационной книге посмотрели, а они — как столбы...

Люся вроде бы вспомнила.

— А я тебя в «Национале» видела, — неуверенно сказала она, — в баре. Платье у тебя классное.

— Какое?

— Коричневое с черным.

— А, — улыбнулась Нелли, — Ив Сен-Лоран.

— Врешь.

Нелли пожала плечами. Возникла неловкая пауза, и тут какой-то молодой человек, уже несколько минут тершийся рядом, сделал к ним шаг и фрикативно, с малоросским выговором, но очень отчетливо выговаривая слова, спросил:

— Эй, герлы, гринов не пихаете?

Люся брезгливо поглядела на его кроличью ушанку и куртку из плохой кожи, а потом только — на румяное лицо с рыжеватыми усиками и водянистыми глазами.

— Эх, береза, — сказала она, — навезли вас в Москву. Да ты хоть знаешь, как мы грины называем?

— Как? — покраснев поверх румянца, спросил молодой человек.

— Доллары. И мы не герлы никакие, а девушки. Скажи своему командиру, что ваши словари уже десять лет говно.

Молодой человек хотел что-то сказать, но его перебила Нелли:

— Не обижайся, Вась. Мы ведь тоже такими, как ты, когда-то были. На вот тебе пять долларов, выпей кофе в баре.

Люся вздрогнула.

— Зря ты его так, — сказала Нелли, когда молодой человек побито скрылся за квадратной колонной. — Это ж Вася, постовой из Внешэкономбанка. Его каждую неделю присылают курс узнавать.

— Ладно, — сказала Люся, — я домой порулила. Увидимся еще.

— Может, выпьем вместе?

Люся помотала головой и улыбнулась.

— Увидимся, — сказала она, — пока.

Дойдя с поднятой рукой аж до самого Манежа, Люся всерьез замерзла. Холодно было лицу и рукам, и, как всегда на морозе, тупо заныли груди. Она поймала себя на том, что морщится от боли, вспомнила о наметившейся на лбу морщинке и постаралась расслабить лицо, и через несколько минут боль отпустила.

Такси не останавливаясь пролетали мимо, издевательски подмигивая своими зелеными огоньками. Таксисты в основном торговали водкой и только изредка, для души, брали приглянувшихся им пассажиров, поэтому Люся даже и не поднимала руку навстречу салатовым «Волгам» — ждала частного. Один — очкарик в раздолбанном «Запорожце» — остановился, выслушал адрес и сухо спросил:

— Сколько?

— Четвертной.

Очкарик, не ответив, отрулил.

Люся все никак не могла отделаться от эха разговора на ступенях «Москвы». «Таньку замочили», — бессмысленно повторяла она про себя. Смысл этого словосочетания как-то не доходил до сознания. Становилось совсем холодно, и опять заныла грудь. Еще можно было успеть в метро, но потом пришлось бы полчаса брести по обледенелому проспекту имени какого-то звероящера — одной, в дорогой шубе, вздрагивая от пьяного хохота ветра в огромных бетонных арках. Она совсем уже было решила, что вечер кончится именно так, когда рядом вдруг остановился маленький зеленый автобус — «пазик» с двухбуквенным военным номером.



За рулем сидел офицер — тот самый танцор из ресторана, только теперь он был в черной шинели и надетой набекрень пилотке с большим жестяным гербом.

— Садись, — сказал из салона второй лысый и черный, — не бзди.

Люся заглянула в полутемный салон и с удивлением увидела Нелли, сидящую в вольной позе на боковом сиденье, возле моряка.

— Люся! — весело крикнула та. — Залазь. Морячки смиренные. Мимо меня едут, а там — тебе куда?

— Крылатское, — сказала Люся.

— Тоже Крылатское?! Ну, подруга, мы, значит, соседи. Садись давай...

Второй раз за сегодня Люся поступила странно — вместо того чтобы послать всю компанию подальше, как сделала бы любая серьезная конвертируемая девушка, она, согнувшись, шагнула вверх по ступеням, и сразу же автобус сорвался с места, лихо развернулся и понесся мимо Большого театра, «Детского мира», мимо памятника знаменитому художнику и его огромной мастерской — в какие-то темные, завывающие улочки, перекрытые полуразвалившимися деревянными заборами, чернеющие провалами пустых окон.

— Я Вадим, — сказал второй лысый. — А это (он кивнул на сидящего за рулем) Валера.

— Валер-р-ра, — повторил тот, как бы вслушиваясь в непонятное слово.

— Хочешь водки? — спросил Вадим.

— Давай, — ответила Люся, — только через трубочку.

— Почему это через трубочку? — спросила Нелли.

— А они через трубочку пьют, — сказала Люся, принимая тонкий и мягкий конец трубочки и поднося его к губам.

Пить так водку было тяжело и неприятно, но все же занятней, чем из горлышка.

— Как вам, девочки, живется весело, — прошептал Вадим, — а мы...

— Не жалуемся, — сказала ему Нелли, — а мне, если можно, в стакан.

— Сделаем...

Люся вдруг заметила, что в автобусе тоже играет музыка — рядом с Валерой на чехле мотора лежал кассетник. Это были «Бэд бойз блю». Люся очень их любила — конечно, не

саму музыку, а ее действие. Всё вокруг постепенно становилось простым и, главное, уместным — темные внутренности автобуса, два поблескивающих военно-морских черепа, Нелли, покачивающая ногой в такт мелодии, мелькающие в окне дома, машины и люди. Начала действовать водка; неясная грусть пополам с отчетливым страхом, вынесенная Люсей из «Москвы», улетучилась. И обычная девичья, целомудренная в своей безнадежности мечта о загорелом и человечном американце овладела Люсиной душой, и так вдруг захотелось поверить поющему иностранцу, что у нас не будет сожалений и мы еще улетим отсюда в машине времени, хотя давно уже трясемся в поезде, идущем в никуда.

— A train to nowhere... A train to nowhere...

Кассета кончилась.

Автобус выскочил на какую-то широкую дорогу, по краям которой стояли обледенелые деревья, и поехал за грузовиком с желтой табличкой «Люди» на заднем борту — в кузове тяжело гроыхало что-то железное, и этот лязг словно разбудил Люсю.

— А мы куда катим-то? — вдруг спросила она, озаботившись тем, что места вокруг мелькали незнакомые и даже не очень московские.

— Ни-ч-ч-че-во, — громко сказал Валера за рулем, и обе девушки вздрогнули.

— Да понимаешь, заправиться надо, — оживленно сказал Вадим, — бензина до Крылатского не хватит.

— И далеко это? — спросила Люся.

— Да нет, есть тут рядом колонка, где за талоны...

Слово «талоны» окончательно успокоило Люсю.

— А мы, девочки, на флоте служим, — заговорил Вадим. — На гвардии подводном атомоходе «Тамбов». Это, можно сказать, такой большой подводный бронепоезд с дружным, как семья, экипажем. Да... Семь лет уже.

Он снял пилотку и провел ладонью по тускло блеснувшему черепу.

Автобус свернул на боковую дорогу — узкую, с какими-то бетонными дотами по бокам, — уже, кажется, вокруг был не город, а сельская местность; на небе, как глаза давешнего француза, выпукло горели холодные развратные звезды, и

шум мотора показался вдруг странно тихим, а может, просто исчезло гудение ехавших вокруг грузовиков.

— Океан,— говорил Вадим, обнимая Нелли за плечи,— огромен. Во все стороны, куда ни посмотришь, уходит его бесконечный серый простор. Сверху — далекий звездный купол с плывущими облаками... Толща воды... Огромные подводные небеса, сначала светло-зеленые, потом темно-синие, и так на тысячи километров. Гигантские киты, хищные акулы, таинственные существа глубин... И вот, представь, в этой безжалостной вселенной висит тоненькая скорлупка нашей подводной лодки, такая... такая, если вдуматься, крохотная... И горит желтой точкой иллюминатор в борту, а за ним — партсобрание, и Валера делает доклад. А вокруг — пойми! — океан... Древний великий океан...

— При-е-ха-ли, — сказал Валера.

Люся подняла голову и погладела по сторонам. Автобус стоял на заснеженной равнине, метрах в тридцати от пустого шоссе. Двигатель заглох, и стало совсем тихо. За окном страшно мигали звезды и виднелся далекий лес. Люся вдруг удивилась, что вокруг довольно светло, хоть нет ни одного огонька, а потом подумала, что это, наверно, снег отражает рассеянный звездный свет. От выпитой водки было уютно и безопасно — мелькнула, правда, мысль, что происходит что-то не то, но сразу и исчезла.

— Чего приехали-то? Шутишь? — резким голосом спросила Нелли.

Вадим снял с ее плеча свою руку и теперь сидел, уткнувшись лицом в сложенные ладони, и тихо хихикал. Валера выскочил из кабины, и через секунду с выдохом раскрылась дверь в салон. С мороза влетели клубы пара; Валера медленно и как-то торжественно поднялся по ступеням. В полутьме выражение его лица было неопределимым, но в руке у него был пистолет «макаров», а под мышкой — большая ободранная шахматная доска. Не оборачиваясь, одним толчком левой руки он закрыл дверь, пискнувшую на морозе резиной, и махнул пистолетом Вадиму.

Люся соскользнула с лавки и, со страшной скоростью трезвея, попятилась в конец салона. Нелли тоже подалась назад, споткнулась обо что-то на полу и чуть не упала на Люсю, но все же удержалась на ногах.

Валера стоял на передней площадке, держась за навешенный на девушек пистолет, как за поручень. Вадим встал ря-

дом, одной рукой вытащил пистолет, а другой взял у Валеры доску и высыпал из нее шахматы на кожных мотора. Потом он замер, будто забыв, что делать дальше. Валера тоже стоял неподвижно, и между двумя силуэтами, словно вырезанными из черного картона, старательно мигала на приборном щитке зеленая лампочка, сообщая создавшему ее разуму, что в сложном механизме автобуса все в порядке.

— Мальчики, — тихо и ласково сказала Нелли, — все сделаем, что захотите, только шахматы спрячьте...

«Шахматы!» — повторила про себя Люся, и до нее наконец дошло.

Слова Нелли словно включили моряков.

— При-е-ха-ли, — повторил Валера и взвел пистолет. Вадим поглядел на него и сделал то же.

— Давай, — сказал Валера, и Вадим, отвернувшись, положил свой «макаров» на кожных мотора и склонился над каким-то пакетом, лежащим возле горсти шахматных фигур. Люся не могла понять, что он делает, — Вадим чиркал спичками, заглядывал в какую-то бумажку и опять нагибался к затянутой коричневым дерматином поверхности, где у нормальных шоферов лежат пачки талонов, жестянка с мелочью и микрофон. Валера стоял неподвижно, и Люсе пришло в голову, что его вытянутая рука сильно устала.

Наконец Вадим закончил свои приготовления и сделал шаг в сторону. На чехле мотора, превратившемся в странного вида алтарь, горели четыре толстые свечи. В центре образованного ими квадрата поблескивала раскрытая шахматная доска, на которой, далеко вклиниваясь друг в друга, стояли черная и белая армии; их ряды были уже довольно редки, и Люся, чьи чувства предельно обострил ужас, вдруг ощутила драматизм столкновения двух непримиримейших начал, представленных грубыми деревянными фигурками на клетчатом поле, — ощутила, несмотря на полное равнодушие к шахматам, которое она испытывала всю жизнь.

У края доски, занятого черными, стоял небольшой металлический человек, худой, в пиджаке, со втянутыми щеками и падающей на лоб стальной прядью. Он был сантиметров двадцати ростом, но казался странно огромным, а из-за подрагивающего пламени свечей — еще и живым, совершающим какие-то мелкие бессмысленные движения.

— Таз-з-зик, — сказал Валера, и Вадим достал откуда-то из

кабины маленький эмалированный таз. Он поставил его на пол, выпрямился, и они опять замерли.

— Ребята, не надо, — услышала вдруг Люся свой знакомый голос, услышала и поняла, что допустила ошибку, потому что две черные фигуры снова пришли в движение.

— Ты, — сказал Валера, указывая на Нелли.

Нелли вопросительно ткнула в себя большим пальцем, и двое в черном синхронно кивнули головами. Нелли пошла вперед, жалко покачивая французской сумочкой, ремешок которой она сжимала в кулаке. Дойдя до середины салона, она остановилась и оглянулась на Люсю. Люся ободряюще улыбнулась, чувствуя, как на ее глазах выступают слезы.

— Ты, — повторил Валера.

Нелли пошла дальше. Дойдя до двух черных фигур, она остановилась.

— Девушка, — казенным голосом сказал Вадим, — пожалуйста, сделайте ход белыми.

— Какой? — спросила Нелли. Она казалась спокойной и безучастной.

— На ваше усмотрение.

Нелли поглядела на доску и передвинула какую-то фигуру.

— Теперь, пожалуйста, встаньте на колени, — тем же тоном сказал Вадим.

Нелли опять оглянулась на Люсю, неправильно перекрестилась и медленно встала на колени, откинув край юбки. Валера спрятал пистолет и вытащил из кармана длинное шило.

— Наклонитесь над тазиком, — сказал Вадим.

— Таз-з-зик, — сказал Валера.

Нелли втянула голову в плечи.

— Я повторяю, наклонитесь над тазиком.

Люся зажмурилась.

— При-е-ха-ли, — сказал вдруг Валера.

Люся открыла глаза.

— При-е-ха-ли, — опуская руку с шилом, повторил Валера, — конь так не ходит.

— Да ведь это не важно, — успокаивающе проговорил Вадим, беря Валеру под руку, — совсем не важно...

— Не важно? Ты хочешь, чтобы он опять проиграл? Да? Они тебя тоже купили? — визгливо выкрикнул Валера.

— Успокойся, — сказал Вадим, — пожалуйста. Хочешь, она переходит?

— Он опять проиграет, — сказал Валера, — и опять из-за тебя, дура проклятая.

— Девушка, — напряженно сказал Вадим, — встаньте и сделайте нормальный ход.

Нелли поднялась с колен, поглядела на Валеру и увидала в его руке подрагивающее шило. Дальше все произошло очень быстро — Нелли, видимо, наконец поняла, что происходящее действительно происходит. Она схватила металлического человека за голову и с криком обрушила его кубический постамент на черную пилотку Валеры, который сразу же, будто поговору, свалился в ступенчатую яму у передней двери.

Люся сжала ладонями уши, ожидая, что Вадим сейчас начнет стрелять из пистолета, но он вместо этого быстро сел на корточки и закрыл голову руками. Нелли еще раз взмахнула металлическим человеком, и Вадим взвыл от боли — удар пришелся по пальцам, — но не изменил позы. Нелли стукнула его еще раз, но он по-прежнему остался в неподвижности, только спрятал ушибленную кисть под пальцы здоровой и сказал тихо:

— Уй, сука.

Нелли замахнулась было в третий раз, но заметила пистолет, оставленный Вадимом возле шахматной доски, швырнула на пол металлическую фигуру, схватила пистолет и навела на закрытого от Люси металлической загородкой Валеру.

— Бросай оружие, — хриплым, мужским голосом сказала она. — А ну быстро!

За загородкой послышалось копошение, потом оттуда вылетел пистолет — Валера подбросил его почти к самому потолку — и стукнулся о пол. Нелли быстро подняла его и сказала:

— А теперь вылазь! Руки вверх!

Над перегородкой поднялись ладони в черных рукавах, а вслед за ними — лысый череп и внимательные глаза. Нелли стала медленно пятиться по салону и остановилась, дойдя до остолбеневшей Люси. Вадим все так же сидел на корточках, словно под штормовым ветром прижимая к голове черную пилотку. Валера взглянул на девушек, опустил на четвереньки и принялся собирать рассыпавшиеся по полу шахматные фигуры.

— Семь лет в стальном гробу-у, — тихо запел он.

Нелли из двух стволов выпалила в потолок, и Валера, дернувшись, вскочил на ноги и выбросил руки над головой. Вадим только глубже втянул голову в шинель.

— Какие сволочи, — сказала Люся, опасливо принимая дымящийся пистолет, и по ее щекам хлынули два черных ручья.

— Слушай, что я скажу, — зашипела Нелли двум черным офицерам, — ты не шевелись, а ты, — она повернула ствол к Валере, — садись за руль. И если ты хоть раз притормозишь не там, где надо, я тебе из этой волюны блямбу припаяю прямо в лысину, не сомневайся...

Жаргон правоохранительных органов подействовал на морячков мгновенно — над плечами Вадима осталось совсем немного лба и пилотки, остальное ушло в шинель, а Валера сел прямо на шахматную доску, повалив еще горящие свечи, и рывком перенес ноги в кабину. Затарахтел мотор, и автобус выполз на шоссе.

— Нелли, — вдруг сказала Люся, — скажи ему, чтоб он «Бэд бойз блю» поставил.

Нелли ничего не сказала, но Валера, видимо, услышал: заиграла музыка. Качающийся на короточках Вадим сначала несколько раз всхлипнул, а потом глубоко, всем животом, зарыдал и затрясся, перемещаясь от одного ряда сидений к другому. На каком-то перекрестке Валера повернулся и сказал ему:

— Что ж ты, падла, хнычешь... Весь флот позоришь...

Но Вадим продолжал рыдать, — казалось, он ревел не из-за случившегося, а оплакивал что-то другое — словно бы потерянный в детстве альбом марок, о котором он вдруг вспомнил. Люсе стало его по-женски жаль, а потом ее рука наткнулась на так и лежавшую на сиденье бутылку с трубочкой в горлышке.

— Вот этот дом, — сказала Нелли, показывая на зеленую башню-шестнадцатизэтажку. — К подъезду, лысый... Открой дверь.

Дверь зашипела и открылась.

— В комендатуру нас сдадите? — спросил Валера. — Или как?

— Валите отсюда, гады, — сказала Нелли, — и чтоб... Я на ментов никогда не работала.

— Вот и я говорю, — рассудительно сказал Валера, — лучше всего — гражданское согласие. А пистолеты как?

Нелли задумалась.

— Видишь сугроб? — Она показала на снежную горку мет-

рах в пяти от автобуса. — Мы их тебе из форточки выкинем. Нам лишняя статья не нужна, правда, Люсь?

Люся кивнула — она уже совсем успокоилась и теперь чувствовала себя маленькой героической пулеметчицей.

— Сидеть в автобусе еще пять минут, гады, поняли? — сказала Нелли, когда Люся была уже на улице. Выходя, Нелли подняла с пола металлическую фигуру и зажала ее под мышкой — Люся увидела, как Валера сжал кулаки у искаженного лица и издал тихий стон. Вадим так и сидел, закрыв голову руками.

До подъезда дошли пятак — мотор автобуса негромко урчал, и за стеклами были видны два неподвижных черных силуэта.

— В лифт, быстрее, — бормотала Нелли. Люся вслед за ней вбежала на площадку к лифтам, но Нелли вдруг вернулась к газетному ящику, открыла его, вытащила свежий номер «Молодой гвардии» и кинулась назад. Как раз подошел лифт, и только когда его двери закрылись, Люся окончательно расслабилась.

«Ну и денек сегодня», — подумала она, косясь на торчащую из-под Неллиной руки небольшую голову.

— Очень испугалась? — спросила Нелли.

— Есть немного, — ответила Люся. — Они ж маньяки оба — грохнули б нас и в сугроб до весны. С пешками во рту. Слушай, так ведь это они Наташу с Танькой... Как же это мы их отпустили?

— А вот посмотри сюда, — сказала Нелли, открывая последнюю страницу журнала и поднося разворот к Люсиному лицу, — видишь, какой тираж?

— Ну и что?

— А то. В любом лесу есть свои санитары. Регулировка численности.

— Как-то ты уж очень цинично, — пробормотала Люся.

— А жизнь тоже циничная, — ответила Нелли.

Лифт остановился на одном из верхних этажей — на каком именно, Люся не заметила. Дверь квартиры была единственной на этаже без дерматиновой обивки — просто деревянная. Щелкнул замок.

— Заходи.

В квартире у Нелли был редкостный беспорядок. Дверь в единственную комнату была распахнута, и там горел свет — видно, Нелли не выключила его, уходя. Повсюду раскидана



одежда; флаконы дорогих духов валялись на полу, как бутылки в жилье алкоголика; на ковре, между разбросанных журналов (большой частью «Вог», но была и пара «Ньюсуиков») щетинились окурками несколько пепельниц. На полу у стены стоял маленький японский телевизор, а рядом чернел огромный двухкассетник. У окна была небольшая книжная полка, и на ней стояло не меньше десяти разбухших «Молодых гвардий» — у Люси даже в лучшие времена никогда не скапливалось больше пяти, и она на секунду ощутила зависть. Пахло кислым; Люся сразу узнала этот запах, возникающий, когда разливают шампанское и лужа несколько дней испаряется, превращаясь во что-то вроде пятна клея.

Главное место в комнате занимала двуспальная кровать — такая громадная, что с первого взгляда даже не замечалась. На ней лежало синее пуховое одеяло и разноцветные махровые простыни, дар братского Вьетнама.

«Тоже к себе водит, — думала Люся, внимательно глядя на металлического человека, — и ничего в этом, выходит, нет страшного. Не я одна...»

— Изделие карпов, — вслух прочитала она надпись на маленькой серой бумажке, приклеенной к кубическому пьедесталу.

— Каких карпов, — сказала Нелли, снимая свой кожаный балахон. — Это советское.

Люся непонимающе подняла на нее глаза.

— Карпы, — объяснила Нелли, отбирая изделие, — это на милицейском языке американцы.

Она осталась в зеленом шерстяном платье, перехваченном тонким черным пояском, — оно очень шло к ее черным волосам и зеленым эмалевым сережкам.

— Раздевайся, — сказала она, — я сейчас.

Люся сняла шубу и шапку, повесила их на рога оленя, служившие вешалкой, подтянула к себе два разных тапочка, сунула в них ноги и пошла в ванную, где первым делом смыла со щек черные косметические ручки. Потом она пошла на кухню к Нелли. Там был такой же беспорядок, как и в комнате, и так же пахло прокисшим шампанским. Нелли собирала в пластиковый пакет из продовольственной «Березки» разную еду — две коробки зефира в шоколаде, батон сервелата, булку хлеба и несколько банок пива.

— Это морячкам, — сказала она Люсе. — Пусть согреются. Этот, который на полу рыдал...

— Вадим, — сказала Люся.

— Точно, Вадим. Что-то в нем есть трогательное, светлое. Люся пожалала плечами.

Нелли положила в пакет оба пистолета, взвесила в руке фигуру великого шахматиста и поставила ее на холодильник.

— Пусть на память останется, — сказала она, открывая окно.

В кухню — точь-в-точь как полчаса назад в салон автобуса — ворвались густые клубы пара. Далеко внизу зеленой елочной игрушкой поблескивал автобус, а рядом на снегу покачивались две долгих тени. Нелли кинула пакет — тот полетел, уменьшаясь, вниз и шлепнулся на заснеженном прямоугольнике газона. И сразу к нему кинулись черные фигурки.

Нелли торопливо закрыла окно и поежилась.

— Я бы в них кирпичом кинула, — сказала Люся.

— Ничего, — сказала Нелли, — так им обиднее будет. Хочешь чаю?

— Лучше б выпить, — сказала Люся.

— Тогда пошли в комнату и этого возьмем, железного... У меня «Ванька-бегунок» есть, полбутылки.

Люся не поняла сначала, а потом вспомнила: так в кругах, близких к продовольственной «Березке» на Дорогомиловской, назывался «Джонни Уокер» — по слухам, любимый напиток покойного товарища Андропова. Господи, подумала вдруг Люся, ведь как недавно все это было — метель на Калининском, битва за дисциплину, нежное лицо американской пионерки на телеэкране, косая синяя подпись «Андроп» под печатным текстом ответа... И что шепчет сейчас суровый его дух нежной душе Саманты Смит, так ненадолго его пережившей? Как мимолетна жизнь, как бретен человек...

Нелли торопливо убирала переполненные пепельницы, вывернутые наизнанку колготки, свисавшие со спинки кресла, кожуру грейпфрута и раскрошенное по полу печенье, и вскоре на ковре осталась только стопка журналов и железный грассмейстер.

— Вот, теперь не так позорно...

Люся села на край кровати и отхлебнула из широкого стакана. После водки из пластмассовой трубки она даже не заметила вкуса — так, чуть-чуть обожгло горло.

Нелли присела рядом и уставилась на фигуру в центре ковра.

— Знаешь, — сказала она, — я в какой-то книге читала та-

кую сказку. Будто бы на какой-то равнине воюют две армии, а над ними — огромная гора. И на вершине сидят два мага и играют в шахматы. Когда кто-нибудь из них ходит, одна из армий внизу приходит в движение. Если берет фигуру, внизу гибнут солдаты. И если один выигрывает, то армия второго гибнет.

— Что-то я тоже похожее видела, — сказала Люся. — А, точно, в «Звездных войнах», в третьей серии. Когда Дар Ветер дерется с этим, как его, на своем звездолете, а внизу, на планете, все как бы повторяется. Ты про этих психов говоришь?

— Так вот я сейчас подумала, — не отвечая на Люсин вопрос, продолжала Нелли, — может, все совсем наоборот?

— Наоборот?

— Ну да. Наоборот. Когда какой-нибудь отряд одной армии наступает или отходит, одному из магов приходится делать ход. А когда солдаты другого гибнут, он берет у него фигуру.

— По-моему, никакой разницы, — сказала Люся. — И вообще, как посмотреть... Пстой, ты что, намекаешь, что мы...

— Или они, — сказала Нелли, кивая головой куда-то вверх. — Ты это правильно сказала, что нет разницы.

Она протянула руку с черной пластинкой дистанционного пульта в сторону телевизора, и по его экрану беззвучно замелькали разноцветные хоккеисты.

— А что это за две армии? — спросила Люся. — Добро и зло?

— Прогресс и реакция, — сказала Нелли таким тоном, что Люся засмеялась. — Не знаю я. Давай-ка лучше посмотрим.

— Слушай, — сказала через некоторое время Люся, — как интересно получается. Я все думаю про это твое наоборот с шахматами. И сейчас подумала: ведь если, например, мы — прогрессивное явление, то тогда прогресс — это мы?

— Sure, — ответила Нелли.

Хоккейное поле на экране исчезло, и появился полный человек в очках, стоящий возле настенной шахматной доски.

— Неожиданно развивались события при доигрывании очередной партии чемпионата мира по шахматам, — все громче и громче (по мере того как Нелли щелкала кнопкой на пульте) говорил он. — Отложенная при явном преимуществе черных, игра приобрела неожиданное и интересное развитие после парадоксального хода белой ладьи...

Застучали фигуры на доске.

— Один из двух офицеров... простите, слонов, составлявших основу позиции черных, оказался под ударом, причем удар этот

ему нанес, если можно так выразиться, сам претендент, не сумевший при домашнем анализе партии учесть всех последствий непродуманного на первый взгляд хода коня белых.

На экране мелькнули крупные пальцы комментатора и профиль белого коня.

— Белопольный слон черных вынужден уйти... — Опять застучали фигуры. — ...А положение чернопольного становится практически безнадежным.

Комментатор потыкал сначала в белые, потом в черные фигурки на доске, покрутил рукой в воздухе и печально улыбнулся.

— О том, чем закончилась партия, станет известно, как я надеюсь, к вечернему выпуску «Новостей».

На экране возникло заснеженное поле, кончающееся лесом и стиснутое с двух сторон длинными заборами. Внизу кадра была видна кромка шоссе, и по ней неторопливо потянулись белые метеорологические цифры, бóльшая часть которых начиналась с похожего на силикатный кирпич минуса.

«Взять бы такой кирпич, — думала Люся, — и этому Валере по лысине...»

— Знаешь, что это за музыка? — спросила Нелли, подвигаясь к Люсе.

— Нет, — ответила Люся, чуть отстраняясь и чувствуя, как у нее снова начинает ныть грудь. — Раньше она всегда после «Времени» была. А сейчас только иногда заводят.

— Это французская песня. Называется «Манчестер—Ливерпуль».

— Но города-то английские, — сказала Люся.

— Ну и что. А песня французская. Знаешь, сколько я себя помню, всё мы едем, едем в этом поезде... Манчестера я не запомнила, а в Ливерпуль, наверно, так и не попаду.

Люся почувствовала, как Нелли опять придвигается к ней ближе, так что стало ощутимо тепло ее тела под тонкой зеленой шерстью. Потом Нелли положила ей руку на плечо — еще неопределенным движением, которое можно было истолковать и как простое выражение приязни, — но Люся уже поняла, что сейчас произойдет.

— Нелли, что ты...

— Ах, Франция, — чуть слышно выдохнула Нелли. Она придвинулась еще теснее, и ее рука соскользнула с Люсиного плеча на талию.

«Время» кончилось, но вместо вечности на экране возник сначала диктор, а потом какой-то ободранный цех, в центре которого толпились угрюмые рабочие в кепках. Мелькнул корреспондент с микрофоном в руке, и появился стол, за которым сидели дородные мужчины в пиджаках; один из них взглянул Люсе в глаза, спрятал под стол непристойно волосатые ладони и заговорил.

— Париж... — шептала Нелли в самое Люсино ухо.

— Не надо этого, — шептала Люся, автоматически повторяя слова экранной хари, — рабочие этого не одобряют и не поймут...

— А мы им не скажем, — безумно бормотала Нелли в ответ, и ее движения становились все бесстыдней; пахло от нее заворачивающим зноем «Анаис Анаис», и была еще, кажется, горьковатая нотка «Фиджи».

«Ну что же, — с неожиданным облегчением подумала Люся, роняя ладонь на бедро Нелли, — пусть это станет моим последним экзаменом...»

Люся лежала на спине и глядела в потолок. Нелли задумчиво рассматривала ее покрытый нежным пушком пудры профиль.

— Ты знаешь, — нарушила она наконец долгую тишину, — а ведь ты у меня первая.

— Ты у меня тоже, — ответила Люся.

— Правда?

— Да.

— Тебе хорошо со мной?

Люся закрыла глаза и чуть заметно кивнула.

— Послушай, — зашептала Нелли, — обещай мне одну вещь.

— Обещаю, — прошептала Люся в ответ.

— Обещай мне, что ты не встанешь и не уйдешь, что бы я тебе ни сказала. Обещай.

— Конечно, обещаю. Что ты.

— Ты во мне ничего необычного не заметила?

— Да нет. Милицейских слов только много говоришь. Знаешь, если ты на них и работаешь — какое мне дело?

— А кроме этого? Ничего?

— Да нет же.

— Ну ладно... Нет, я не могу. Поцелуй меня... Вот так. Ты знаешь, кем я раньше была?

— Господи, да какая разница?

— Нет, я не в том смысле. Ты когда-нибудь про транссекс слышала? Про операцию по перемене пола?

Люся почувствовала, как на нее вдруг накатила страх — даже сильнее, чем в автобусе, — и опять мучительно заболела грудь. Она отодвинулась от Нелли.

— Ну, слышала. А что?

— Так вот, — быстро и сбивчиво зашептала Нелли, — только слушай до конца. Я мужиком раньше была, Василием звали, Василием Цыруком. Секретарем райкома комсомола. Ходила, знаешь, в костюме с жилетом и галстуком, всё собрания какие-то вела... Персональные дела... Повестки дня всякие, протоколы... И вот так, знаешь, идешь домой, а там по дороге валютный ресторан, тачки, бабы вроде тебя, все смеются — а я иду в этом жилете сраном, со значком и усами, и еще портфель в руке, а они хохочут и по машинам, по машинам... Ну, думаю, ничего... Партстаж наберу, потом, глядишь, инструктором в горком — все данные у меня были... Еще, думал, не в таких ресторанах погуляю — на весь мир... И тут, понимаешь, пошел на вечер палестинской дружбы, и надо же: Авада Али, араб пьяный, стакан с чаем мне в морду кинул... А в райкоме партии спрашивают — что ж это, Цырук, стаканы вам в морду кидают? Вам почему-то кидают, а нам — нет? И — выговор с занесением. Чуть с ума я не сошел, а потом читаю в «Литгазете», что есть такой мужик, профессор Вишневский, который операцию делает — это для этих, значит, гомиков — ты не подумай только, что я тоже... Я без склонностей был. Просто читаю, что он гормоны разные колет и психика изменяется, а мне как раз психику старую трудно было иметь. Короче, продал я свой старый «Москвич» и лег — шесть операций подряд, гормоны без конца кололи. И вот год назад вышла из клиники, волосы отросли уже, и все по-другому — иду по улице, а вокруг сугробы, как когда-то вата возле елки... Потом привыкла вроде. А недавно стало мне казаться, что все на меня смотрят и всё про меня понимают. И вот встретила я тебя и думаю: а ну, проверю, женщина я или... Люся, ты что?

Люся, уже отодвинувшись, сидела у стены, обеими руками прижимая к груди колени. Некоторое время стояла тишина.

— Я тебе противна, да? — прошептала Нелли. — Противна?

— Усы, значит, были, — сказала Люся и откинула упавшую на лицо прядь. — А помнишь, может, у тебя зам был по оргработе? Андрон Павлов? Еще Гнидой называли?

— Помню, — удивленно сказала Нелли.

— За пивом тебе ходил еще? А потом ты ему персональное дело повесила с наглядной агитацией? Когда на агитстенде Ленина в перчатках нарисовали и Дзержинского без тени?

— А ты откуда... Гнида? Ты?!

— И кличку эту ты мне придумала — за что? За то, что я в рот тебе смотрел, протоколы собраний переписывал каждый вечер до одиннадцати? Господи, да все по-другому могло бы... Ты знаешь, о чем я второй год мечтаю? Чтоб прокатить мимо твоего райкома на пятисотом «мерседесе», в крутом навороте — и чтоб Цырук, ты то есть, шел там со своими татарскими усиками и портфелем с протоколами собраний — чтоб, значит, просто посмотреть на него с заднего сиденья, в глаза, и взгляд так дальше, на стену... Не заметить. Понимаешь?

— Андрон, да ведь это не я... Это ведь в партбюро Шерстеневи́ч сказал, что зам по оргработе отвечает... Ведь какой скандал — старейший в районе член партии с ума сошел, хер старый, когда твой стенд увидел. Сходил за кефиром... Нет, Андрон, правда — ты, что ли?

Люся вытерла простыней губы.

— У тебя водка есть?

— Спирт есть, — сказала Нелли, вставая с кровати, — я сейчас.

Прикрываясь скомканной простыней, она убежала на кухню, оттуда донесся лязг посуды; что-то стеклянное упало и разбилось. Люся прокашлялась и длинно сплюнула на ковер, а потом еще раз тщательно вытерла губы о простыню.

Через минуту Нелли вернулась с двумя наполовину наполненными гранеными стаканами.

— Держи... Райкомовские... Не знаю даже, как к тебе обращаться...

— А как раньше — Гнида, — сказала Люся, и на ее глазах блеснули слезы.

— Да забудь ты. А то как баба прямо... Давай. За встречу. Выпили.

— Ты кого-нибудь из наших видишь? — спросила после паузы Нелли.

— Да нет. Так, слухи доходят. Вот Васю Прокудина из ин-терсектора помнишь?

— Помню.

— Третий год за шведом замужем.

— Ты что... Он что, тоже операцию сделал?

— Да нет. В Швеции можно хоть на жирафе жениться.

— А-а. А то я думаю — он же рябой был, как Батый, и глаза косые.

— Черт их поймет, иностранцев этих, — устало сказала Люся. — Бесятся с жиру. Я вот тут недавно видела одного мужика в метро — лет сорок, харя как булыжник, лба нет почти, а в авоське — «Молодая гвардия». Значит, и на таких спрос есть... Слушай, а ты Астрахань помнишь? Стройотряд?

Нелли нежно посмотрела на Люсю.

— Конечно.

— Помнишь, там одна песня все время играла? Про тру-бача? И про то, как мы танцуем под луной? Сегодня в «Москве» ее крутили.

— Помню. Да она у меня есть. Поставить?

Люся кивнула, слезла с кровати и, накинув на голые плечи простыню, подошла к столику. Сзади тихо заиграла музыка.

— А тебе кто операцию делал? — спросила Нелли.

— В кооперативе, — сказала Люся, разглядывая разбросан-ные по столику упаковки французских гигиенических тампо-нов. — Они меня, кажется, кинули круто. Вместо американ-ского силикона совдеповскую резину поставили. Я под Ле-нинградом с финнами работала на перроне, так аж скрипела вся на морозе. И болит часто.

— Это не от резины. У меня тоже часто болит. Говорят, потом проходит.

Нелли вздохнула и замолчала.

— Ты о чем задумалась-то? — спросила Люся через минуту.

— Да так... Иногда, знаешь, кажется, что я так и иду по партийной линии. Морячкам вот в окно колбасы могу кинуть. Понимаешь? Время просто другое.

— А не боишься, что все назад вернется? — спросила Лю-ся. — Только честно.

— Да не очень, — сказала Нелли. — Вернется — посмотрим. У нас с тобой опыт работы есть? Есть.



Над широким полем расплывалась бледная зимняя заря. По пустому шоссе ехал маленький зеленый автобус. Иногда ему навстречу выскакивало ярко-красное название колхоза на придорожном щите, затем мимо проносились несколько стоящих у обочины безобразных домов, а потом появлялся щит с тем же названием, только перечеркнутым жирной красной чертой.

Два черных офицера сидели внутри. Один был с перебинтованной головой, на которой еле держалась пилотка: он вел автобус. У другого, сидящего на ближайшем к кабине месте, перебинтованы были руки, а лицо было заплаканным и вымазанным в шоколаде. Переворачивая страницы толстого белого журнала и морщась от боли, он медленно и громко читал.

— *Вкус к дисциплине. Дисциплина и благородство. Дисциплина и честь. Дисциплина как проявление создающей воли. Сознательная любовь к дисциплине. Дисциплина — это порядок. Порядок создает ритм, а ритм рождает свободу. Без дисциплины нет свободы. Беспорядок — это хаос. Хаос — это гнет. Беспорядок — это рабство. Армия — это дисциплина. Здесь, так же как при закалке стали, главное — не перекалить металл, для этого его иногда отпускают...*

Автобус вдруг резко вильнул, и офицер выронил журнал.

— Ты что? — спросил он второго. — Совсем уже?

— Как же мы их отпустили... — простонал тот. — Теперь он проиграет. Приграет этому... Этому...

— Это они нас отпустили, — ядовито сказал первый, нагибаясь за журналом. — Ну что, дальше читать?

— Ты в себя еще не пришла?

— Нет. Не пришла я ни в какую себя.

— Тогда прочти про шинель.

— А где это? — спросил первый, возясь с заляпанной грязью страницами.

— Забыла уже, да? — с кривой улыбкой сказал второй. — Короткая же у тебя память.

Первый ничего не ответил, только посмотрел на него мутно и тяжело.

— Со слова «Лермонтов», — сказал второй.

— *Лермонтов*, — начал читать первый, — *когда-то назвал кавказскую черкеску лучшим в мире нарядом для мужчин. К горной черкеске как одежде-символу можно теперь смело причислить еще русскую офицерскую шинель. Она совершенна по форме, силуэту и покрою, а главное, что бывает в истории*

*редко, она стала после Бородина и Сталинграда национальна. Ее древний силуэт художник различит на фресках старинного письма. Даже если сейчас все дизайнеры мира засядут за работу, они не смогут создать одежду совершенней и благороднее, чем русская шинель. «Не хватит на то, — как сказал бы полковник Тарас Бульба, — мышинной их натуры...»*

— Там нет слова «полковник», — перебил второй.

— Да, — сказал первый, пробежав глазами по странице, — нет. Это в другом месте: *«Завет отца — отчет, как живешь. Помните полковника Тараса Бульбу? Отцовское начало прежде всего нравственное. В этом...»*

— Хватит, — сказал второй. От последних слов его лицо словно засветилось изнутри, а черные точки зрачков уверенно запрыгали от шоссе к постепенно белеющей Луне, висящей над далекой снежной стеной леса.

Первый положил журнал на заляпанную застывшим парафином дерматиновую плоскость, придвинул к себе коробку зефира в шоколаде и стал есть. Вдруг он всхлипнул.

— Я ведь тебя слушаю, — заговорил он, кривясь от подступившего к горлу плача, — слушаю с детства. Во всем тебе подражаю. А ведь ты, Варя, давно сошла с ума. Сейчас мне стало ясно... Ты посмотри, на кого мы похожи — лысые, в тельняшках, плаваем на этой консервной банке и пьем, пьем... И эти шахматы...

— Но идет борьба, — сказал второй. — Непримируемая борьба. Мне ведь тоже тяжело, Тамара.

Первый офицер закрыл лицо и несколько секунд был не в состоянии говорить. Постепенно он успокоился, взял из коробки зефирину и целиком затолкал ее в рот.

— Как я тогда тобой гордилась! — заговорил он опять. — Даже подругу жалела, что у нее старшей сестры нет... И всё за тобой, за тобой, и всё — как ты... А ты все время делаешь вид, что знаешь, зачем мы живем и как жить дальше... Но теперь — хватит. Трястись перед каждым медосмотром, а по ночам — с шилом... Нет, уйду я. Все.

— А как же наше дело? — спросил второй.

— А никак. Мне, если хочешь знать, вообще наплевать на шахматы.

Тут автобус опять вильнул и чуть не врезался в сугроб на обочине. Первый офицер схватился забинтованными руками за поручень и взвыл от боли.

— Нет! Хватит! — заорал он. — Теперь я своим умом жить буду. А ты езжай на «Тамбов». Слышишь, тормози!

Его опять скрутило в рыданиях. Он полез в карман своей куртки, с трудом вытащил несколько разноцветных книжечек и кинул их на коричневый дерматин. Следом туда же полетел пистолет.

— Тормози, гадина! — закричал он. — Тормози, а не то я на ходу прыгну!

Автобус затормозил, и передняя дверь открылась. Офицер с воем выскочил на дорогу и, прижимая к груди пакет с сервелатом, диагонально побежал по огромному квадрату снежной целины, зажатою между шоссе, лесом и какими-то заборами — навстречу далекому лесу и Луне, теперь уже окончательно белой. В его движениях было что-то неуклюже-слоновье, но все же он перемещался довольно быстро.

Второй молча глядел на черную фигурку, постепенно уменьшавшуюся на ровном белом поле. Фигурка иногда спотыкалась, падала, опять поднималась на ноги и бежала дальше. Наконец она совсем исчезла из виду. Тогда по щеке сидящего за рулем проползла маленькая блестящая слеза.

Автобус тронулся. Постепенно лицо офицера разгладилось; повисшая на подбородке слеза сорвалась на мундир, а оставленная ею дорожка высохла.

— Семь лет в стальном гробу-у, — тихо запел он навстречу новому дню и широкой, как жизнь, дороге.

## ОТКРОВЕНИЕ КРЕГЕРА (комплект документов)

---

### АКАДЕМИЯ РОДОВОГО НАСЛЕДИЯ ОТДЕЛ РЕКОНСТРУКЦИЙ

---

*Совершенно секретно*  
*Срочно*

Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру  
от реконструктора «Анэнербе» Т. Крегера,  
штандартенгемайндефорштеера АС,  
младшего имперского мага

#### РАПОРТ

Рейхсфюрер!

Я знаю, какую ответственность влечет за собой обращение непосредственно к Вам. Но посетившее меня видение настолько значительно, что как патриот рейха и истинный немец я чувствую себя обязанным передать его описание, выполненное с максимальной точностью, лично на Ваше рассмотрение, и пусть мои слова говорят сами за себя.

10.1.1935, в 14.00 по берлинскому времени, находясь в медитативном бункере «Анэнербе», я вышел в астрал для обычного патрульного рейда. Как всегда, меня сопровождало астральное тело собаки Теодорих и два демона пятой категории Ганс и Поппель. Оказавшись в астрале, я заметил, что флуктуации Юпитера странно напряжены и излучают необычное для них фиолетовое сияние. В таких случаях инструкция

рекомендует выстроить защитный пентаэдр и не выходить за его границы. Однако я — за что готов нести ответственность — счел возможным ограничиться пением «Хорста Весселя», так как находился недалеко от линии перспективного излучения воли фюрера немцев Адольфа Гитлера, освещавшей в этот вечер левый нижний квадрант Зодиака. Неожиданно из флуктуаций Юпитера выделился серповидный красный элементаль. Через несколько секунд он пересекся с линией волеизъявления фюрера. Вслед за этим произошла мощная эфирная вспышка, и я потерял сознание.

Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь в сплюснутом черном пространстве, причем собака Теодорих и демон Ганс погибли, а демон Поппель перешел в состояние, называемое на внутреннем языке «Анэнербе» «перевернутый стакан». Неожиданно сзади возникло разрежение, и из него появился неясный силуэт. Когда он приблизился, я различил старика весьма преклонных лет с окладистой бородой и тонким поясом вокруг белой крестьянской рубахи. В одной руке он нес горящую свечу, а в другой — несколько коричневых книг со своим же изображением, вытисненным на обложке. На лбу у старика было укреплено медицинское зеркальце с отверстием посередине, наподобие тех, что используются отоларингологами, а вслед за ним шла белая лошадь, впряженная в рессорную коляску в виде декоративного плуга. Оказавшись рядом со мной, старик погрозил мне пальцем, потом положил на нижнюю плоскость окружающего нас пространства свои книги, укрепил на них свечу, вскочил на лошадь и сделал вокруг свечи несколько кругов, выполняя на спине лошади сложные гимнастические приемы. При этом зеркало на его голове сверкало так нестерпимо, что я вынужден был отвести взгляд, а демон Поппель перешел в состояние «пустая труба». Затем свеча погасла, старик ускакал, и тогда же стихла гармонь. (Все это время где-то вдалеке играла гармонь — русское подобие ручного органчика.) Затем я оказался в астральном тоннеле № 11, по которому и вернулся в медитативный бункер Академии. Выйдя из медитации, я немедленно сел за настоящий рапорт.

Хайль Гитлер!

Младший имперский маг Крегер.

## РЕЙХСФЮРЕР СС ГЕНРИХ ГИММЛЕР

«Анэнербе», Вульффу

В у л ь ф!

1. Кто посмел посадить Крегера за рапорт? Немедленно выпустить. Этот человек — патриот фюрера и Германии.

2. Я не понял, причем здесь Юпитер. Может, все-таки Сатурн? Пусть этим займется астрологический отдел.

3. Провести реконструкцию откровения, представить протокол и рекомендации.

4. Всё.

Хайль Гитлер!

Гиммлер.

## АКАДЕМИЯ РОДОВОГО НАСЛЕДИЯ ОТДЕЛ РЕКОНСТРУКЦИЙ

*Совершенно секретно*

*Срочно*

Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
(Об «откровении Крегера»)

Рейхсфюрер!

Значение откровения Т. Крегера для рейха неизмеримо. Можно сказать, что оно увенчивает длительную деятельность «Анэнербе» по изучению тактики и стратегии коммунистического заговора и подводит черту под одной из его наиболее зловещих глав. Как известно, после уничтожения большинства грамотного населения России многие зашифрованные тексты донесений майора фон Леннена в Генеральный штаб, замаскированные под бессмысленные русскоязычные тексты, получили там распространение в качестве так называемых «работ». Среди них — донесение «О перемещении третьей Заамурской дивизии к западной границе» (в зашифрованном виде — «Лев Толстой как зеркало русской революции»).

В мистической системе Молотова и Кагановича, на основе которой осуществляется управление страной, русскому тексту этой шифровки и особенно ее заглавию придается огромное значение. Первоначально Сталин (в настоящее время предположительно — Сероб Налбандян) и его окружение приняли тезис Кагановича, утверждавшего, что эту фразу надо понимать буквально. Такая установка влечет за собой следующий вывод: манипулируя отражающим русскую революцию зеркалом, можно добиться перемещения ее отражения на любое другое государство, что приведет, по законам симпатической связи, к аналогичной революции в выбранной стране. Этот вывод был сделан Кагановичем, по данным абвера, еще два года назад. Однако с практической реализацией этой идеи возникли трудности. Строительство огромного рефлектора в районе Ясной Поляны, который должен был посылать луч на Луну и от Луны на Землю, было остановлено в связи с недостаточной точностью расчетов. В настоящее время рефлектор находится в замороженном состоянии (см. рис.1).

Далее. Около полугода назад Молотов пришел к выводу, что зеркальность Льва Толстого является духовно-мистической и рефлектирующая функция может быть осуществлена с помощью издания нового собрания сочинений писателя, коэффициент отражения которого будет увеличен за счет исключения идеологически неприемлемых работ вроде перевода Евангелий. При этом наводка и фокусировка могут быть достигнуты варьированием тиража каждого отдельного тома. Привожу таблицу тиражей восьмитомного собрания Толстого за 1934 год (данные РСХА):

- 1 том — 250 тыс. экз.
- 2 том — 82 тыс. экз.
- 3 том — 450 тыс. экз.
- 4 том — 41 тыс. экз.
- 5 том — 22 721 экз.
- 6 том — 22 720 экз.
- 7 том — 75 241 экз.
- 8 том — 24 экз.

Легко видеть, что грубая наводка осуществляется с помощью первых четырех томов, а точная — с помощью томов с пятого по восьмой. Значение откровения Крегера в этой связи заключено в том, что оно позволило ввести новый метод

определения мишени наносимого красными удара. На этот раз удалось получить абсолютно точные результаты. Протокол реконструкции и рекомендации прилагаю.

Хайль Гитлер!

Гл. реконструктор И. Вульф

АКАДЕМИЯ РОДОВОГО НАСЛЕДИЯ  
ОТДЕЛ РЕКОНСТРУКЦИЙ

*Совершенно секретно*

*Срочно*

ПРОТОКОЛ РЕКОНСТРУКЦИИ № 320/125

12.1.1935 в «Анэнербе» была проведена реконструкция по делу Толстого—Кагановича. Метод реконструкции — «открытие Крегера». В 14.35 в первом реконструкционном зале была установлена гипсовая статуэтка Льва Толстого высотой 1,5 м с прикрепленным на лбу зеркалом площадью 11 кв. см с отверстием посередине. Там же был установлен глобус диаметром 1 м на подставке высотой 0,75 м. Для моделирования русской революции был подожен макет усадьбы Ивана Тургенева «Липки» масштаба 1:40, размещенный в правом дальнем углу зала. Расстояния между объектами и их точное геометрическое положение были рассчитаны на основе данных РСХА по тиражам последнего издания Толстого в России. После этого имперским медиумом Кнехтом был погашен свет, и в зал вошла реконструктор Марта Эйхенблум, переодетая Сталиным. Ею в левом направлении был раскручен глобус. После его остановки пятно света от зеркала на голове Толстого оказалось в районе Абиссинии. Затем в зал вошел реконструктор Брокманн, переодетый фюрером, и осуществил правую раскрутку глобуса. После его остановки пятнышко темноты в центре зеркального блика оказалось на Апеннинском полуострове. На этом реконструкция закончилась.

Имперский медиум И. Кнехт  
Реконструкторы М. Эйхенблум, П. Брокманн.



АКАДЕМИЯ РОДОВОГО НАСЛЕДИЯ  
ОТДЕЛ РЕКОНСТРУКЦИЙ

*Совершенно секретно*  
*Срочно*

ВЫВОДЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ № 320/125

1. По данным реконструкции, в настоящее время рейху не угрожает непосредственная опасность.

2. В ближайшее время следует ожидать коммунистического переворота в Абиссинии, однако это может быть предотвращено вводом туда контингента итальянских войск.

Гл. реконструктор И. Вульф

*Примечание*

*За проявленный астральный героизм руководство «Анэнербе» просит представить Т. Крегера к награждению рыцарским крестом первой степени с дубовыми листьями.*

РАСШИФРОВКА МАГНИТОФОННОЙ ЗАПИСИ № 462-11  
ИЗ АРХИВА ПАРТИЙНОГО СУДА ЧЕСТИ НСАДП

*Секретно*

Запись проведена 14.1.1935  
подслушивающим механизмом ВС-М/13.  
установленным в спальне Эрнста Кальтенбруннера

*Эмма Кальтенбруннер.* Какая у тебя смешная кисточка на колпаке, Эрнст.

*Эрнст Кальтенбруннер.* Отстань...

*Эмма Кальтенбруннер.* Да что с тобой сегодня?

*Эрнст Кальтенбруннер.* Творятся странные вещи, Эмма. Мой человек в «Анэнербе» сообщил, что некий Крегер две недели пил с советскими перебежчиками-окультистами, а потом представил Гиммлеру совершенно безумный рапорт. А Вульф — Вульф, которому мы доверяли, — пошел выяснять, в чем дело, и тоже нажрался как свинья.

*Эмма Кальтенбруннер.* Ну и что?

*Эрнст Кальтенбруннер.* А то, что все пришло в движение. Вчера Риббентроп два часа говорил с Римом по ВЧ-связи, а через два дня будет расширенное совещание у фюрера.

*Эмма Кальтенбруннер.* Эрнст!

*Эрнст Кальтенбруннер.* Что?

*Эмма Кальтенбруннер.* Я знаю, что ты должен сделать. Ты должен пойти к Гиммлеру и рассказать все, что ты знаешь.

*Эрнст Кальтенбруннер.* А где я сегодня, по-твоему, был? Я целый час стоял перед ним навтыжку и говорил, говорил, а он... Он все это время возился в головоломкой — знаешь, такой стеклянный кубик, а в нем три шарика... Когда я кончил, он снял свое пенсне, протер платочком — у него даже на платочке вышит череп — и сказал: «Послушайте, Эрнст! Вам никогда случайно не снилось, что вы едете в кузове ободранного грузовика неизвестно куда, а вокруг вас сидят какие-то монстры?» Я промолчал. Тогда он улыбнулся и сказал: «Эрнст, я ведь не хуже вас знаю, что никакого астрала нет. Но как вы думаете, если у вас и даже у Канариса есть свои люди в „Анэнербе“, должны же там быть свои люди и у меня?» Я не понял, что он имеет в виду. «Думайте, Эрнст, думайте!» — сказал он. Я молчал. Тогда он улыбнулся и спросил: «Как вы считаете, чей человек Крегер?»

*Эмма Кальтенбруннер.* О Боже!

*Эрнст Кальтенбруннер.* Да, Эмма... Наверно, я слишком прост для всех этих интриг... Но я знаю, что, пока я нужен фюреру, мое сердце будет биться... Ты ведь будешь со мной рядом? Иди ко мне, Эмма...

*Эмма Кальтенбруннер.* Ах, Эрнст... Бигуди... Бигуди...

*Эрнст Кальтенбруннер.* Эмма...

*Эмма Кальтенбруннер.* Эрнст...

*Эрнст Кальтенбруннер.* Знаешь, Эмма... Иногда мне кажется, что это не я живу, а фюрер живет во мне...

## ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ

Ближе к концу второй мировой войны, когда даже тем из членов НСДАП, кто контролировал свои мысли со спокойным автоматизмом Марлен Дитрих, подправляющей макияж, когда даже тем из них, кто вообще обходился без мыслей, полностью сливая свое сознание с коллективным разумом партии, — словом, когда даже самым тупым и безмозглым партийцам стали приходиться в голову неприятные догадки о перспективах дальнейшего развития событий, германская пропаганда глухо и загадочно заговорила о новом оружии, разрабатываемом и почти уже созданном инженерами рейха.

Делалось это сперва исподволь. Например, «Фолькишер Беобахтер» печатала в рубрике «Ты и Фатерлянд» материал о каком-то ученом, потерявшем на Восточном фронте все, кроме правой руки, но ставшем на протезы и продолжающем одной рукой ковать победу «где-то у суровых балтийских волн», как поэтично зашифровывалось местоположение секретной лаборатории, о которой шла речь; статья кончалась как бы вынужденным умолчанием о том, что именно кует однорукий патриот. Или, например, киножурнал «Дойче Руденштау» показывал копящие обломки английских бомбардировщиков, летевших, как сообщалось, «к одному из расположенных на побережье научных институтов, занятых чрезвычайно важной работой»; в конце сюжета, когда уже вступала бодрая музыка, диктор скороговоркой добавлял, что немцы могут быть спокойны: научный мозг нации, занятый созданием небывалого доселе оружия, защищен надежно.

Через некоторое время появился сам термин — «оружие возмездия». Уже из самого факта употребления слова «возмездие» видно, что росшая в стране паника затронула и аппа-

рат пропаганды, который начал давать сбои, — ведь возмездие предполагает в качестве повода успешные вражеские действия, а все военные операции союзников официально объявлялись неуспешными, обеспечившими новые позиции ценой невероятных жертв. Но, может быть, это было не сбоем, а тем кусочком эмоциональной правды, которым любой опытный пропагандист сдобривает свое вранье, создавая у слушателя чувство, что к нему обращается человек пусть и стоящий на официальных позициях, но по-своему честный и совестливый. Как бы там ни было, но слова «оружие возмездия» одинаково доходили и до сердца матери, потерявшей сыновей где-то в Северной Африке, и до работника партийного аппарата, предчувствующего скорую ликвидацию своей должности, и до паренька из гитлерюгенда, ничего не понимающего в развитии событий, но по-детски любящего оружие и тайны. Поэтому неудивительно, что это словосочетание стало в скором времени так же популярно в летящей навстречу гибели стране, как, скажем, слова «Новый курс» в послекризисной Америке. Без всякого преувеличения можно сказать, что мысль об этом загадочном оружии захватила умы; даже скептики, иронически переглядывавшиеся при каждой новой радиосводке с театра военных действий, даже надежно замаскированные евреи, тихо качавшие головами при очередном безумном радиопризыве Геббельса, — даже они, совершенно забыв о своем подлинном отношении к режиму, пускались в бредовые разговоры о природе оружия возмездия и о предполагаемом месте и времени его применения.

Сначала прошел слух, что это какая-то особая, небывалой силы бомба. Эта мысль увлекла в основном малышню и подростков — известно много детских рисунков того времени, на которых изображен взрыв, какой обычно рисуют дети: черно-красный куст с волнистой опушкой, только очень-очень большой, и в углу листа — маленький зеленый самолетик с крестами на фюзеляже. (Удивительная однотипность этих рисунков показывает, что делом воспитания нового поколения в Германии занимались настоящие профессионалы.) Другой распространенной версией была следующая: оружие возмездия представляет собой реактивные снаряды гигантских размеров, способные самостоятельно наводиться на выбранную цель. (Некоторые утверждали, что ими управляют пилоты, отобранные из подлежащего уничтожению человеческого ма-

териала, со вживленными в мозг специальными электродами.) Говорили, кроме этого, о лучах смерти, о газе, который поражает всех, кроме преданных партии и лично Адольфу Гитлеру (это, видимо, было чьей-то шуткой), о голубях с зажигательными бомбами, о смертельных радиоволнах и так далее.

Интерес здесь вызывает прежде всего позиция правоохранительных органов и министерства пропаганды. Гестапо, которое вполне могло стереть человека в пыль за невыход на добровольные сверхурочные работы по случаю дня рождения фюрера или его овчарки, которое вполне могло отправить в концлагерь за найденный в уборной клочок газеты с портретом Риббентропа, никак не реагировало на доносы по поводу слишком вольных рассуждений об оружии возмездия. Наоборот, после того как исчезло несколько десятков доносчиков, стало ясно, что такие разговоры негласно поощряются властями; патриоты сориентировались и стали доносить на нежелающих участвовать в обсуждении этой темы — и оклеветанный исчезал в течение трех дней.

Что касается официальной пропаганды, то она вела себя просто непостижимо. Оружие возмездия упоминалось буквально в каждой передовой; о нем пел берлинский хор мальчиков; защищая его тайну, слагали льняные полубоксы и польки киногерои из фильмов, которые Лени Рифтеншталь так и не успела доснять, — но прямо никак не объяснялось, что это за оружие. Ведомство Геббельса предпочитало использовать метафоры и аллегории, что вообще-то было для него характерно всегда, но только в качестве побочного приема, — а здесь ничего, кроме поэтических сравнений, не приводилось вообще, и пережидающий очередной налет обыватель, развернув в бомбоубежище газету, узнавал, что уже недалек тот день, когда, «подобно копью Вотана, оружие возмездия паразит врага в самое сердце»; прочитав это сообщение, он, по характерной для жителей фашистской Германии привычке вычитывать самое главное между строк, решал, что, должно быть, прав был давешний кондуктор в трамвае, говоривший о снарядах невероятной мощи и дальности действия. Но когда на следующий день на совещании ячейки НСДАП зачитывалась, среди прочего, информация о том, что «меч Зигфрида уже занесен над потоками азиатских орд», он решал, что оружие возмездия, без всякого сомнения, — бомба. Когда же в вечерней радиопередаче сообщалось, что «огнеглазые Вальки-

рии рейха вот-вот обрушат на агрессора свое священное безумие», он начинал склоняться к мысли, что это все же лучи или психический газ.

Когда немецкие «Фау-2» стали падать на Лондон, выяснилось, что оружие возмездия (при том, что «фау» — первая буква слова «фергельтунгсваффе», то есть «оружие возмездия») — это все-таки вовсе не ракеты, потому что сообщения о ракетных обстрелах печатались рядом с обычным набором поэтических образов, посвященных последней надежде Германии. Когда с берлинских аэродромов взлетали в небо первые реактивные «мессершмитты», стало ясно, что оружие возмездия — не реактивная авиация, потому что в одной из радиопередач новый истребитель был уподоблен верному ворону фюрера, высматривающему хищным взглядом место для будущего пира ярости. На смену отпавшим версиям приходили новые — так, некий районный фюрер объявил выстроенному для напутствия батальону фаустников, что оружие возмездия — это 14,9 миллиона зараженных чумой крыс, которые в специальных контейнерах обрушатся с неба на Москву, Нью-Йорк, Лондон и Иерусалим. Учитывая, что все районные фюреры фашистской Германии были людьми удивительно тупыми, трусливыми, подлыми и неспособными даже к простейшим умственным комбинациям — все это и служило негласным условием их выдвижения на должность, — можно предположить, что слухи о характере действия оружия возмездия распространялись централизованно; придумать такое (особенно цифру 14,9) сам районный руководитель не смог бы ни за что, а повторять в официальном сообщении болтовню парикмахера или шофера он никогда не решился бы.

Централизованность распространения этих слухов подтверждает еще одна провокация на городском уровне: в городе Оснабрюке лектор из Берлина объявил, что оружие возмездия — это секретный бравурный марш, существующий в англо- и русскоязычной версиях, который предлагается воспроизводить через мощную звукоусилительную машину прямо на передовой; услышав оттуда хотя бы один куплет, любой понимающий эти языки сойдет с ума от величия германского духа. (При этом с французами, болгарам, румынами и прочими предполагалось покончить с помощью обычных частей вермахта.)

Известно огромное число других версий.

Между тем развязка приближалась. Гибли дивизии и армии, сдавались города, и наступала обычная томительная предсмертная неразбериха. Последнее официальное упоминание об оружии возмездия относится к тому дню, когда по радио был зачитан приказ Гиммлера, в соответствии с которым любой немецкий солдат был обязан убить любого другого немецкого солдата, встретив его вдали от шума битвы. После этого приказа в эфир пошла обычная программа «Горизонты завтрашнего дня», в которой были названы сроки применения оружия возмездия: «еще до первых знойных дней, до первых майских гроз». Было также повторено — очевидно, в связи с попытками если не заключить перемирие с англичанами и американцами, то хотя бы задобрить их, — что оружие возмездия будет применено только против «азиатских жидобольшевиков». Через пять минут после этого, после последней в истории рейха трансляции «Лили Марлен», в здание берлинского радио попала комбинированная фугасно-агитационная бомба, содержащая три тонны тринитротолуола и пятьдесят тысяч листовок.

После капитуляции Германии разведки стран-участниц коалиции немедленно принялись за поиски секретных заводов и лабораторий — союзникам была хорошо известна вся официальная немецкая информация по поводу оружия возмездия, а также большое количество слухов, которые в последние годы тщательно собирала агентура. Балтийское побережье, где, как предполагалось, находились соответствующие исследовательские и производственные центры, было обшарено буквально метр за метром. По предварительным данным разведок особый интерес вызвали два места. В зоне американской оккупации обнаружили циклопические, площадью с большой поселок, железобетонные руины — незадолго до прихода американских войск там что-то было уничтожено таким количеством взрывчатки, что самыми ценными находками оказались немецкий военный сапог вместе с оторванной ногой (обрывок штанины был идентифицирован как форма СС) и четырехтональная губная гармошка фирмы «Целло» со следами зубов и пробоинами от осколков. Все остальное представляло собой месиво из бетонной крошки, арматуры и мелких металлических фрагментов.

Проведенные вскоре опросы местных жителей показали, что здесь проходило замороженное в 1942 году строительство

самого крупного в истории зоопарка, где для разных животных воспроизводилась естественная среда их обитания. (Один только участок «Иудейские горы» обошелся, как выяснилось из документов, в 80 миллионов рейхсмарок.)

На побережье советской зоны были найдены неясного назначения катакомбы, куда после оцепления местности опустились семеро агентов СМЕРШа. Ни один из них не вернулся, после чего катакомбы были взяты штурмом армейского подразделения. В помещении недалеко от входа обнаружили все семь трупов; там же был схвачен заросший длинной бородой мужчина в лохмотьях, вооруженный пожарным багром; он назвался профессором берлинского стоматологического института Авраамом Шумахером и утверждал, что скрывается здесь с 1935 года, питаясь дарами моря. (Способность человека провести десять лет в полной изоляции вызвала естественное недоверие проводивших допрос офицеров СМЕРШа, но, возможно, Шумахер, не лгал, так как впоследствии выяснилось, что он обладал необычайно высоким уровнем приспособляемости к неблагоприятным условиям; он умер в одном из дальних лагерей в 1957 году, став перед тем известным в уголовной среде лидером («паханом»); это тот самый Фикса-Живорез, о котором столько пишет в свих мемуарах народная артистка Коми АССР балерина Лубенец-Лупоянова.)

Остальная часть катакомб, расположенная ниже уровня моря, оказалась затопленной. Шумахер показал, что никаких строительных работ на его памяти здесь не велось. Однако, так как его искренность и, во всяком случае, психическое состояние не внушали доверия, было решено осмотреть затопленную часть помещений. Посланный на обследование водолаз исчез; шланг и сигнальный трос оказались оборванными или перекушенными. На вопрос, чем это могло быть вызвано, Шумахер ответил, что здесь, вероятно, набезобразничал некий Михель, которого он описал с помощью междометий и жестов, создав в итоге образ чего-то огромного и пугающего. Говорить об этом в нормальной манере и подробнее Шумахер отказался, мотивировав свою категоричность тем, что Михель наверняка услышит и придет. На этом допрос и исследование затопленных катакомб закончилось.

Таким образом, ни в одной из зон Балтийского побережья Германии не было обнаружено ничего похожего на научный институт или завод по производству оружия возмездия. Не



нашлось даже сколько-нибудь крупных строек: огромный котлован под Варнемюнде, как выяснилось, предназначался для гигантской скульптурной группы «Шахтеры империи». (Сами фигуры так и не были отлиты, но о предполагавшихся масштабах памятника можно судить по пяти двадцатиметровым отбойным молоткам из бронзы, обнаруженным в ангарах неподалеку от котлована.)

Подробное обсуждение вопроса об оружии возмездия произошло на Берлинской конференции. Был заслушан трехсторонний отчет о ходе поисков секретного немецкого оружия — к этому времени уже вся территория Германии была обследована, и специалисты констатировали, что никаких вещественных доказательств разработки и производства подобного оружия не имеется; не обнаружено ни одного документа, описывающего это оружие с технической стороны, как нет и бумаг, где такие документы хотя бы упоминались.

В обсуждении данного вопроса Сталин проявил характерные для него твердость и упорство. Он был уверен, что американцы уже обнаружили оружие возмездия, но держат это в тайне. Сталин, как вспоминают очевидцы, был настолько раздражен даже простой возможностью такого поворота событий, что впал в тяжелую депрессию и срывал свою злобу на всех, кто попадался ему под руку, — так, например, маршала Колюшенко, опоздавшего к началу вечернего совещания, вместо обычного в таких случаях штрафного стакана ждало следующее: его одели в рыцарские доспехи XIV века, стоявшие в одном из коридоров здания советской резиденции, и сбросили с крыши в декоративный пруд с карпами, после чего Сталин из окна произвел по нему несколько выстрелов из двустволки, а какой-то пьяный тип, державшийся со Сталиным за плечико, плюнул в маршала стальной оперенной иглой из духовой трубки; к счастью, игла отскочила от забрала. (После госпиталя маршал был награжден орденом Александра Невского и сослан на Дальний Восток; обходя этот эпизод молчанием, маршал в своих воспоминаниях неоднократно возвращался к низким боевым качествам немецких танков, что, на его взгляд, объяснялось недостаточной толщиной брони.)

Атмосфера на конференции стала критической. Перед одним из заседаний агент американской службы безопасности обратил внимание начальника президентской охраны на торчавшую у Сталина из-за голенища наборную рукоять ножа,

отчетливо выделявшуюся на фоне белой атласной штанины. После короткого совещания с английским премьером Трумэн, желая дать мыслям Сталина новое направление, сказал, что в США создана бомба огромной мощности со взрывным устройством размером всего с апельсин. По воспоминаниям секретаря американской миссии У. Хогана, Сталин спокойно заметил, что прятал бомбы в корзинах с апельсинами еще в начале века и что первый дилижанс с гальём раздрючили с его подмастырки еще тогда, когда Трумэн, верно, только учился торговать газетами. Вернувшись через некоторое время к этой теме, Сталин добавил, что, как считает советская сторона, если вместе прихват рисовали, то потом на вздержку брать в натуре запаadlo, и что когда он пыхтел на туруханской конторе, таких хавырок брали под красный галстук, и что он сам бы их чикнул, да неохота перо мокрить.

Поняв из перевода, что подписание запланированных соглашений оказалось под угрозой, Трумэн провел несколько напряженных часов со своими консультантами, в числе которых были и опытные специалисты по русской уголовной традиции. На следующее утро перед началом переговоров президент отвел Сталина в сторону и дал ему зуб, что американцы не скрывают абсолютно ничего касающегося оружия возмездия. То же сделал и английский премьер, после чего переговоры вошли в нормальное русло.

Вскоре участникам конференции были представлены показания высших чиновников рейха, захваченных в плен. Оказалось, что они большей частью слабо знакомы с вопросом, так как никогда не читали немецких газет, предпочитая им американскую бульварную прессу, но думают, что ведомство Геббельса называло так снаряды «Фау-2».

Тема оружия возмездия поднималась на Берлинской конференции еще раз, когда рассматривался вопрос о лаборатории реактивного оружия на Пенемюнде; был сделан предположительный вывод, что немцы называли оружием возмездия ракеты «Фау-1» и «Фау-2», возлагая на них большие надежды; когда же эти ракеты были применены, но не оказали ожидаемого воздействия на ход войны, аппарат Геббельса продолжал эксплуатировать воодушевлявшую людей идею.

Последовавшее вскоре применение атомного оружия, начавшее новую эпоху в жизни человечества, окончательно отбросило вопрос об оружии возмездия в область малопонят-

ных исторических загадок. С тех пор в большинстве исторических пособий под оружием возмездия понимаются те несовершенные и небезопасные в обращении ракеты, которые вермахт время от времени запускал через Ла-Манш; самое удивительное, что охотнее всех такую версию приняли сами немцы. Это, возможно, объясняется ее трезвостью, простотой и, если так можно выразиться, антимистичностью, чрезвычайно целительной для нации основательных прагматиков, потрясенной двенадцатилетним мистическим кошмаром, и вполне устраивающей социумы, так безоглядно погруженные в собственные мистические видения, что само существование мистики является в них государственной тайной и отрицается. Но отрицание пронизывающего жизнь и историю мистицизма само по себе есть очень тонкая и опасная форма мистики — тонкая потому, что становится невидимым краеугольный камень общественного устройства, отчего государственные институты и идеологии приобретают космическое величие реально существующих феноменов, а опасная потому, что даже крохотная угроза, объявленная несуществующей, может оказаться роковой.

Здесь уместно будет привести цитату из малоинтересной в целом работы некоего П. Стецюка «Память огненных лет».

*«...Молодой белобрысый немец с МГ-34 на плече считал себя не только культуртрегером, но и единственным защитником древней европейской цивилизации, оказавшейся на краю гибели. Ржание большевистской конницы и звон еврейского золота, сливающиеся в одну траурную мелодию, были для воспитанников Бальдура фон Шираха самыми реальными звуками на свете, хоть и раздавались только в тех местах, куда попадали уже наученные слышать их постоянно адепты... Для обученного необходимой методологии человека ничего не стоит придать реальность как еврейскому заговору, так и, например, троцкистско-зиновьевскому блоку, и хотя эта реальность будет временной, но на период своего существования она будет непоколебимой и вечной. Ведь все наши понятия — продукт общественного соглашения, не более... Поэтому в 1937 году в СССР действительно существовал троцкистско-зиновьевский блок, чего не отрицали даже его участники; этот заговор был настолько же реален, насколько реальны были Магнитка и Соловки, и таковым его делала общая убежденность в его существовании. В конце концов кому как не руководству*

*мирового коммунистического движения решать, является та или иная группа людей троцкистско-зиновьевским блоком или нет? Большого авторитета в этой области не существует, да и сама терминология не принята в других кругах. Предположим, что изобретатель языка эсперанто ввел специальное слово для обозначения какой-то группы людей. Эсперантисты будущего могут не употреблять этого слова, но кто из них скажет, что доктор Заменхоф лгал или ошибался?.. Реальность словам придают люди. Когда умрет последний марксист, исчезнет вся объективная реальность, и ничто не копируется и не сфотографируется ничьими чувствами, и ничто не дастся никому в ощущениях, существуя независимо, как не происходило этого ни в Древнем Египте, ни в Византийской империи. Сколько осиротевших демонов носится уже над ночной землей! Мир создает вера, а предметы создают уверенность в их существовании, и наоборот: мир создает веру в себя, а предметы убеждают в своей подлинности; без одного нет другого...»*

Конечно, развязный тон и неумные обобщения П. Стецюка возмутительны, чтобы не сказать — отвратительны, но некоторые из его мыслей заслуживают внимания. В частности, он почти точно раскрыл принцип действия оружия возмездия — не этих жалких пороховых болванок, падавших время от времени на лондонские кинотеатры, а настоящего, грозного оружия, заслужившего все процитированные реминисценции из «Кольца Нибелунгов».

Когда множество людей верит в реальность некоего объекта (или процесса), он начинает себя проявлять: в монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба, в африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги и так далее — примеров бесконечно много, потому что это основной механизм жизни. Если поместить перед зеркалом свечу, то в зеркале возникнет ее отражение. Но если каким-то неизвестным способом навести в зеркале отражение свечи, то для того, чтобы не нарушились физические законы, свеча обязана будет возникнуть перед зеркалом из пустоты. Другое дело, что нет способа создать отражение без свечи.

Принцип равновесия, верный для зеркала и свечи, также верен для события и человеческой реакции на него, но реакцию на событие в масштабах целой страны, особенно страны,

охваченной идеологической ревностью, довольно просто организовать с помощью подчиненных одной воле газет и радио, даже если самого события нет. Применительно к нашему случаю это значит, что с появлением и распространением слухов об оружии возмездия оно возникнет само — никому, даже его создателям, неизвестно, где и каким образом; чем больше будет мнений о его природе, тем более странным и неожиданным окажется конечный результат. И когда будет объявлено, что это оружие приводится в действие, сила ожидания миллионов людей неизбежно изменит что-то в истории.

Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более что они горьки и не новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой: пусть он встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору, выглянет наружу...

## РЕКОНСТРУКТОР (об исследованиях П. Стецюка)

Да, это верно: струи уходящей реки — они непрерывны, но не те же они, не прежние воды... Восемьдесят лет, прошедшие со дня окончания второй европейской войны, сделали ее, как это бывает с любой из войн, чем-то отстраненным: историческим эпизодом, архивной справкой, потенциальным набором желтых фотографий, вываливающихся на пол при перестановке буфета, детским криком «хальт!», доносящимся в невыносимо жаркий июльский полдень со двора, абрисом тяжелого танка, смутно угадываемым в косых боевых контурах мусорного контейнера, набором белых полос на выжженном небе, фонтанчиками пыли, несущимися за протекторами грузовика, набитого трехтомниками Пушкина, четырехмерной пошлостью детского рисунка, безымянной вспышкой салюта и, наконец, «гравюрой полустертой».

Настало время (если оно настало), когда ненужная правда прорывает прогнившую ткань умолчаний и слухов и ложится под наши безразличные взгляды — как всегда, слишком поздно... «Лучше поздно, чем никогда» — этому сомнительному императиву мы и обязаны появлением книги П. Стецюка «Память огненных лет». Разумеется, «поздно» — это то же самое, что «никогда». Но «никогда» — это далеко не то же самое, что «поздно».

Короче говоря, если читатель с помощью какого-нибудь подобного выверта убедит себя взяться за рецензируемую книгу, ему обеспечены три часа скуки — возможно, несколько иного рода, чем ежедневный позор его жизни. Пять минут ухмылок при разглядывании фотографий («Мы-то живы!») и полное забвение всего прочитанного к началу очередного «Клуба кинопосвящений» или радиосводки с Малоарабского

фронта. Читать эту книгу не стоит, как не стоит вообще читать книг; эту книгу не стоит читать в особенности, потому что мертвы герои, мертвы современники и, наконец, мертва тема...

Здесь впервые появляется нечто способное вызвать интерес. Приглядевшись, можно заметить, что эта тема мертва несколько интригующе. Так мертвы, к примеру, члены экипажа космической станции «Звездочка», сорок шестой год разлагающиеся в синем небе над нашими головами. Так мертв вампир, пытающийся пролезть безлунной ночью в слуховое окошко Моссовета. Другими словами, в ее мертвости ощущается неведомое движение, чья-то окаменелая воля — и это пугает.

Поэтому, несмотря на очевидную ненужность проделанной Стецюком работы, несмотря на пошлость его концепций и невыносимый привкус общепитовской похлебки, сверенной в одном из небольших украинских городов, — привкус, который останется во рту даже у самого благожелательного читателя, — прочесть эту книгу все-таки стоит. За фактами, за всей этой правдой иногда заметно что-то вроде тяжелых шагов, безжизненных перемещений и эволюций истории, которая здесь, на периферии взгляда, предстает в своем настоящем виде: бабы в платке, бессмысленно несущей плоское брюхо над ровным вечерним полем, топчущей цветы и идущей никуда.

Давно известно, что нет никаких книг — есть только история их написания. Получив доступ к рассекреченным архивам, Стецюк кинулся не к видеозаписям знаменитых икорных оргий в Министерстве культуры; когда все остальные исследователи, высунув языки, всматривались в танцы нагих функционеров, он разбирал секретнейшие отчеты Минского радиозавода.

Почему в 1928 году была засекречена — и не просто засекречена, а получила литеру «А-прим» — техническая документация на изготовление стальной трубки длиной в метр и диаметром чуть меньше сантиметра? Почему после изготовления этой трубки дирекция, рабочие и весь остальной персонал завода были расстреляны, а сам завод взорван? Только идиот может задаться сейчас такими вопросами. Но именно здесь Стецюк набрел на открытие, приведшее к появлению его книги.

В минских бумагах была ссылка на архивные документы группы «У-17-Б». В каталоге они не значились. В секретном

каталоге — тоже. Но Стецюку удалось выяснить, что архив «У-17-Б» в 1951 году был вывезен в город Николаев и уничтожен; те, кто занимался его ликвидацией, расстреляны; те, кто расстреливал, — тоже, и так около восьмидесяти раз до некоего полковника Савина, который лично убил двух предпоследних расстрельщиков в тамбуре ленинградской электрички в мае 1960 года.

Стецюку повезло: ему удалось найти правнука полковника Савина, живущего на одной из подмосковных маковых плантаций в древней даче, помнящей еще первых космонавтов. Дальше — одно из тех совпадений, которые бывают только в плохих романах и в жизни: на чердаке дачи был найден дневник полковника Савина, частично разодранный на самокрутки во время третьей гражданской, частично сгнивший, но давший импульс дальнейшим поискам.

Среди интимных излияний полковника-особиста (Бог с ними — все эти куры, трясогузки, да и сам полковник уже давно мертвы) неожиданно появляются злорадные нотки: полковник знает нечто такое, что переполняет его самодовольством мелкой сошки, разнюхавшей государственную тайну. Стецюк узнает, в чем дело: архив «У-17-Б» не уничтожен. Чрезмерная секретность операции привела к провалу. Возникла, как это часто бывает, бюрократическая путаница, и первая группа — та, которая должна была сжечь архив, оказалась расстрелянной раньше, чем успела это сделать; во время расстрела убиваемые кричали, что архив еще цел, но те, кто расстреливал их, предпочли выполнить свое задание и уже после сообщить об услышанном по инстанции. Однако сообщать не пришлось: они тоже были убиты. Голоса умирающих передавали убийцам эту тайну под грохот пистолетных и автоматных выстрелов несколько лет, по цепочке, как некую эзотерическую истину; до полковника Савина, разрядившего свой «макаров» в животы двух непримечательных граждан в кепках в электричке под Петродворцом, дошла уже, в сущности, легенда.

Это было последнее задание полковника, он был обижен скудной пенсией и предпочел молчать, чиня свою «Волгу», молчать, бегая за своими курами, — молчать до смерти. В 1961 году он утонул...

Из дневника Стецюк узнал, что грузовик с архивом, по словам двух последних мертвецов, так и остался в Николаеве



по адресу: тупик Победы, 18. Стецюк выезжает в Николаев; грузовик стоит на месте — военный номер и мумифицированный труп богатыря-шофера обеспечили сохранность машины во дворе, полном клумб, старушек и ползающих детей в течение без малого ста лет. (Впоследствии, правда, выяснилось, что еще в 1995 году грузовик был принят за памятник шоферам-фронтовикам, прекращен и окружен бронзовой цепью.)

В кузове в герметичных ящиках был найден совершенно целый архив «У-17-Б». Перевезя ящики в Москву и ознакомившись с их содержимым, Стецюк узнал такие вещи, которые потрясли его прикованное к прошлому воображение. Кстати сказать, выяснилась загадка стальной трубки с Минского радиозавода, так волновавшая нашего исследователя.

Здесь мы предоставим слово самому Стецюку — в погоне за эффектом он выпаливает все, что кажется ему сенсационным, в нескольких абзацах.

*«Многое известно про Сталина-политика (речь идет об Иосифе Андреевиче Сталине (1894-1953), правителе России — прим. ред.). Но почти ничего не известно о Сталине-человеке. Достоверно можно сказать только одно — Сталин не выносил пистолетного грохота. (Многочисленные ссылки на источники и архивы нами опущены — прим. ред.). Он не терпел шума и в 1926 году поручил группе конструкторов разработать оружие, которым он мог бы пользоваться совершенно бесшумно, не нарушая тишины подземных коридоров власти. Специально для него была разработана духовая трубка, которая стреляла отравленными иглами. Он никогда не выпускал ее из рук. Многие авторы мемуаров, видевшие настоящего Сталина, вспоминают об этом. Например: „Всё время обсуждения Сталин мягко ходил ко коврику, сжимая в руке трубку...“ (Маршал вооруженных сил Жуков.) Сотни подобных цитат рассыпаны по десяткам книг. Сейчас неопровержимо установлено, что Сталин никогда не курил. Речь идет именно об этой духовой трубке.*

*„Но ведь известно, спросит удивленный читатель (никто ничего не спросит — прим. ред.), множество фотографий Сталина, где он изображен с дымящейся курительной трубкой в руках?“*

*Здесь и скрывается удивительный факт: выяснено, что тот Сталин, который заснят на фотографиях или в хронике с трубкой в руках, — не настоящий.*

*Это не более чем подставное лицо, читавшее речь, проявлявшееся на трибунах, — так сказать, ширма.*

*Настоящий Сталин, долгие годы державший в руках рычаги управления страной (так и видишь эти рычаги — черные, с пластмассовыми круглыми набалдашниками — прим. ред.), никогда не показывался на людях. Он никогда не покидал подземелья. Больше того, я сказал: „Сталин“, а вернее было бы сказать: „Сталины“, потому что речь идет о нескольких людях, которых на поверхности представлял рыжий усач с меланхолическим взглядом...»*

Первым цитату. В книге Стецюка разобраны, причем подробно, биографии всех этих — их было семеро, а некоторое время трое одновременно — людей. Вот их имена: Николай Паклин (Сталин с 1924 по 1930), Михаил Сысоев (Сталин с 1930 по 1932), Сероб Налбандян (Сталин с 1932 по 1935), Тарас Шумейко, Андрей Белый, Семен Неплаха (Сталин с 1935 по 1947), Никита Хрущев (Сталин с 1947 по 1953).

Собственно, эти биографии малоинтересны и не заслуживали бы внимания, если бы не мрачная эстетика каменных штолен, стальных отравленных игл, удавок и страстей, пробивающаяся сквозь преподавательский говорок П. Стецюка. Взять хотя бы историю Семена Неплахи.

К 1935 году внешний Сталин и остальные правители — тоже двойники — получали указания уже от полностью автономного подземного комплекса, где находились настоящие Сталин, Берия (маршал внутренней службы) и другие. Роль двойников не сводилась только к имитации власти. Подобно живым шахматным фигурам, они повторяли наверху все перипетии борьбы за власть на двухсотметровой глубине. Идеально защищенный, гарантированный от проникновения заговорщиков, снабженный спецвахтами, где у посетителей отбирали все виды оружия, подземный мир оказался странным образом уязвимым. Семен Неплаха, сторож московского зоопарка, судимый ранее за кражи, при расчистке вольеры со слонами неожиданно провалился в замаскированную вентиляционную шахту. Придя в себя, он обнаруживает, что находится в прорубленном в скальных породах коридоре, пол которого покрыт ковровой дорожкой, а стены — проводами разных цветов. Все вокруг освещено яркими лампами, воздух стерилен и сух. Из-за угла навстречу Семену выходит только что закончивший совещание Сталин (Сероб Налбандян,

Сталин с 1932 по 1935). Увидев сторожа, он роняет трубку на ковер. Семен скорей от испуга, чем по злобе, убивает Сталина-Налбандяна лопатой, которой за несколько минут до этого разравнивал песок. Подняв трубку и сняв с шеи мертвого Сталина мешочек с отравленными иглами, он оказывается единственным вооруженным человеком в подземном городке. Тщательно охраняемая власть оказывается узурпированной за пять минут; все остальные члены правящей группы подчиняются. Новый Сталин поднимается на поверхность только один раз — чтобы завать вниз собутыльников: Белого и Шумейко (последний — контуженный артиллерист, ветеран первой европейской войны; именно этим объясняется известная сентенция внешнего Сталина по поводу артиллерии). Шахту заваливают, и начинается многолетняя пьянка, слушанье патефона, драки; трубка переходит из рук в руки; приказания, отдаваемые наверх, часто невняты — отсюда репрессии и индустриализация.

История Никиты Хрущева не менее интересна и заставляет вспомнить лучшие страницы «Графа Монте-Кристо». Придя к власти под землей, он приказал уничтожить внешнего Сталина и заменил его двойником под своим настоящим именем. Тщеславие погубило его — двойник оказался умнее бывшего повара — кладоискателя. Подземный центр власти в 1954 году был уничтожен, и власть перешла к двойнику, который и унес с собой в могилу тайну того, зачем в июне 1954 года сотни армейских бетономешалок нагнетали бетон в глубоко пробитые в тротуарах шурфы и в решетчатые вентиляционные башенки.

Интересно, пожалуй, взглянуть на бледные лица подземных правителей с фотоснимков из архива «У-17-Б». Интересно представить пустоты, образовавшиеся в бетоне от их истлевших тел. Интересно увидеть сквозь многометровую толщу земли и цемента желтые кости пальцев, сжимающих бесполезную и страшную трубку; но, заканчивая обзор книги, мне хотелось бы сказать о другом.

Полковник Савин был утоплен в 1961 году, когда подземного городка уже не существовало. Те, кто утопил его, были убиты, убившие их — тоже умерли насильственной смертью... Читатель уже догадался, что могут значить автоматные очереди, доносящиеся из леса, или вспышки лазеров вечером над рекой, — история продолжается, хоть никто не помнит уже первопричины.

Здесь появляется возможность для метафизических спекуляций — быть может, некий бог, демиург, замурован в космическом эквиваленте бетона; то, что у него вместо пальцев, сжимает то, что служило ему вместо духовой трубки, а созданный им когда-то мир по-прежнему вращает свои планеты вокруг звезд, движущихся по бесконечным спиральям внутри бледных и невообразимых галактик.

## ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

Водонапорная башня вполне может оказаться тем первым, с чего начнется все остальное, потому что предметы появляются тогда, когда становятся известны их названия, и происходящее за окном сразу приобретает смысл — солдаты заканчивают работу, выкладывая белым кирпичом число «1928» на толстой верхней части каменного цилиндра, и даже не догадываются, что кто-то следит за тем, что они делают, думая об этом почти без помощи слов, но очень серьезно: любая башня или даже труба сначала строится таким образом, будто должна подняться до самого неба, чем обязательно завершилось бы простое добавление новых кирпичных колец изо дня в день, если бы не решение строителей уйти, приводящее к тому, что какой-то кирпич обязательно становится последним, а я — единственным свидетелем остановки работ, потому что во всем доме напротив только я понимаю, что означают пустые леса, от вида которых возникает такое странное чувство, что взгляд сам собой переходит вправо, туда, где кончается деревянная коробка с землей, утыканной яблочными семечками, и обои чуть отстают от стены, приоткрывая другой слой обоев и желтый край газеты, еще дореволюционной, оставшейся с тех времен, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих, а Ленин со Сталиным стояли у окна и читали первый номер «Правды», предвидя все на свете и, может быть, даже то, как когда-нибудь на свет появлюсь я и бесконечно длинным летним днем буду наклеивать полоски сиреневой папиросной бумаги на узкие фанерные крылья, сидя на теткиной кровати, глядя за окно и поч-

ти не обращая внимания на ее путанные рассказы о том, как в село вошли белые, потом красные, потом опять белые, а потом какие-то непонятные «наши», которых почему-то представляешь себе мужиками в малиновых рубашках каждый раз, когда видишь справа от пыльного крыла ее фотографию и пытаешься сообразить, что это на самом деле значит — взять и умереть, как умерла она и как можем умереть мы все, если не останемся вечно жить в своих делах по способу Антонины Порфирьевны, даже протирающей после этих слов свои очки, отчего возникает короткая пауза в ее многолетнем рассказе о так называемых материках, возвышающихся над серыми пространствами океанов, где даже самый большой в мире линкор покажется крохотным, как спичка, если вдруг поглядеть на него из неба, заполненного летящими в Канаду журавлями, боевой авиацией и черными пятнами, возникающими от долгого наблюдения за солнцем, медленно меняющим свой цвет при приближении к воображаемой точке, где оно, уже красное и огромное, оказывается только в июне, чтобы на несколько минут коснуться шкафа, осветить его верхнюю половину и превратить его во что тебе хочется, начиная от бастиона Великой Стены и кончая скалою где-то в Америке — смотря куда ты переносишь свою жизнь из этих мест, хрюкающих на тебя всеми своими свиньями, когда ты идешь по грязной улице со своей коллекцией спичечных коробков и размазываешь по лицу соплю пополам с кровью, а тебе вслед орут все те, кто уверенно чувствует себя среди этих косых заборов, обещая вломить тебе завтра еще разок так же безнаказанно, как сегодня, потому что жаловаться все равно некому и для любого взрослого нет разницы между избивающими и избиваемыми детьми, раз те и другие в галстуках, с барабанами и горнами, оставив отцов допивать вонючее пиво, уходят в будущее даже тогда, когда просто стоят шеренгой перед пионерлагерными бараками и шурятся от бьющего в глаза света, глядя кто на ползущий вверх по шесту флаг, кто на кота, крадущегося по уже горячим жестяным листам на крыше столовой, чтобы прыгнуть в кусты, где вечером делят собранные за день окурки, курят, спорят о конструкции женских внутренностей и заедают синий дым зубным порошком, вкус которого остается во рту еще долго после отбоя, запоминаясь как приложение к истории о синем ногте в котлете и чекистах, которые приехали слишком поз-

дно только потому, что спустила шина, и пока в темном дворе меняют колесо, они сильно стучат в дверь, а потом уходят в такой спешке, что соседу приходится одеваться в коридоре, как раз напротив твоей замочной скважины, в которую он вполне мог бы напоследок ткнуть карандашом, раз до этого подсыпал битое стекло в сливочное масло и отравлял колодцы, чтобы ты пил из них тифозную воду и полгода лежал в кровати, глядя в окно и угадывая за пушистой завесой падающего снега очертания водонапорной башни, похожей на приставленного к городу часового, стерегущего твой покой и заодно тебя самого, чтобы ты случайно не скрылся в собственном будущем, воспользовавшись теплой весенней ночью, в которую появляется возможность, почти не касаясь земли, углубляться в черные заросли неизвестно откуда взявшегося леса и уже почти узнать то, к чему бежишь со всех ног, перед тем как проснуться и, поглядев на приоткрытую дверь, за которой слышны бодрые утренние голоса и свист примуса, подумать, что каждое утро к ней, как трап, придвигают забитый сундуками и комодами коридор, выход из которого ведет в тот единственный дневной мир, который тебе известен, и чем лучше ты с ним знаком, тем реже дверь твоей комнаты будет раскрываться куда-то еще, в места, названия которых ты не знаешь и не узнаешь никогда, потому что уже давно похож на человека, стоящего на подножке разгоняющегося трамвая и думающего, что чем быстрее тот едет, тем труднее будет спрыгнуть и пойти своей дорогой, пока слова «своя дорога» еще сохраняют некоторый смысл, а точнее — отблеск понятного когда-то смысла, иногда мелькающий в глазах стоящих рядом, но раз они все-таки едут дальше, то, наверно, на что-то надеются, а они думают то же самое, глядя на тебя, пока один разливает по чашкам водку, а другой пытается играть на гитаре, под которую так надежно затвердевает вокруг тот мир, который ты выбрал, не успев ни с чем его сравнить и поняв только, что все в нем случается крайне быстро, а время суровое и величественное, и хоть Утесов поет, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, люди пропадают целыми оркестрами, так и не дошагав туда, куда они шли, и все-таки попав именно туда, в чем нет ничего удивительного, раз страна движется от одного крутого перелома к другому, еще более крутому, и всё по линии партии, отточенной и прямой, как угол твоей ком-

наты, где стоит патефон с десятком пластинок, позволяющих тебе время от времени нелегально обнять утомленное солнце, вырезанное кем-то из последней на всю страну оранжевой картонки, и догадаться, что если уж ты простился с чем-то навсегда, то оно тоже простилось с тобой, и, обернувшись, ты увидишь на столе воблу на мятой «Правде», бутылочку пивка и больше ничего, потому что другого не положено на стол, и именно это, по всей видимости, и придется защищать, если завтра война, потому что никакая твоя защита не нужна ни качающейся за окном сирени, ни узкому лучу света, падающему на расщепляющее его стекло, за которым застыло красно-сине-желтое лицо Горького, большого приятеля нашей державы, так и не успевшего описать в своих книгах, как ты и такие как ты, в спортивных рубашках и белых кепках, с миллионов порогов улыбнутся ей и таким как она, в простых платьях из ситца в цветочках, и всё сразу прояснится, потому что все печальное и непонятное имеет свойство проходить, а жизнь содержит именно тот смысл, который ты придаешь ей сам, с ясной целью впереди сидя за всенародными брошюрами, недосыпая и рискуя навсегда опоздать на работу и сесть в тюрьму, к глупым блатным, еще не понявшим, что в стране, где на деньгах нарисован вглядывающийся в тревожное небо летчик, быть богатым просто невозможно, потому что даже целая армия этих летчиков в кармане не заставят замолчать раскрытый клюв репродуктора, который так страшно слышать даже не из-за смысла долетающих слов, а из-за неожиданной догадки, что с тобой сейчас говорит диктор, фокусник, зарабатывающий себе на жизнь умением заставить тебя на несколько секунд поверить, будто к тебе обращается что-то огромное и могущественное, готовое позаботиться о тебе, когда на самом деле ты и такие как ты нужны этому огромному, чтобы заботиться о нем и защищать, закрывая это неживое и непонятное, даже не догадывающееся о собственном существовании, той единственной попыткой, которой на самом деле является и твоя жизнь, и жизнь за стриженным затылком, в который ты глядишь, стоя в длинной толпе перед призывным пунктом и теряя мелькнувшую на секунду мысль, узнав в человеке впереди бывшего одноклассника, опять оказавшегося твоим товарищем, которого надо хотя бы оттащить в сторону, чтобы он не лежал у перевернутого грузовика ногами на дороге, а головой в еще дово-



енном подорожнике и муравьи не ползли по его лицу, которое вспоминается тебе, когда над головами гудят невидимые самолеты или когда мимо по платформе ведут очень похожего на него окруженца в мирных калошах, полезшего сдуру искать начальство, а потом сдуру побежавшего от конвоя и свалившегося в трех метрах от последнего вагона, уносящего тебя навстречу зиме, лыжам ленинградской фабрики и карнавалному маскхалату, в котором ты встречаешь Новый год, глядя из сугробов на две красные ракеты, блестящие в прозрачном ночном небе, как елочные шары, пока ты думаешь о том, что оставленный на минуту в покое человек может вдруг оказаться так далеко от оставивших его в покое, что те найдут на его месте кого-то другого, уже совершенно не желающего углублять окоп, а пытающегося вместо этого повернуться к стене и заснуть, позабыв, что никакой стены возле его койки нет, а есть два узких прохода, как раз подходящих для того, чтобы заново учиться сгибать и разгибать ноги, а потом стоять, ходить и бегать за притормаживающими грузовиками, катящими навстречу летнему солнцу, погоням на плечах и проходящему на веник с врезанной консервной банкой автомату, из которого ты ни разу не выстрелил за два года, потому что видел перед собой большей частью заваленную списками живых и мертвых поверхность то школьной парты, за которой когда-то сидел писавший фиолетовыми чернилами Чугунков Коля: «седьмой класс — дурак», то переделанного бильярда, сукно которого с такой скоростью впитывает вылившийся из опрокинутой гильзы бензин, что успеваешь поверить, что ты не опытный вредитель, как намекает взглядом товарищ Кожеуров, в просто сраный разгильдяй, твою мать, только тогда, когда уже неделю то на голодных детей, по-прежнему считающих его материалом для строительства снеговиков и крепостей, то на военкора, смотрящего на незнакомый город из-под черного эмалированного полукруга с таким видом, будто перед ним не несколько случайных трупов на мокрой обочине, а и впрямь заря победы с пограничными столбами, прочитав о которых во фронтовой газете, ты поймешь, что есть люди, старательно оформляющие местность, по которой ты в последний раз бежишь на пулемет, из-за чего им, наверно, приходится говорить между собой на особом языке, совсем как офицерам железнодорожных войск, обсуждающим какие-то кубометры и максималь-

ное число вагонов теплым майским вечером на игрушечной железнодорожной станции, каких у нас просто не бывает, потому что по эту сторону границы все наоборот: что-то железнодорожное есть в детских игрушках, и люди делают свои дома чуть похожими на тюрьмы, чтобы не было особого смысла отправлять их в настоящую тюрьму, зато уж внутри этих самых домов они всей толпой беззаветно штурмуют верхние нары, и нет ничего удивительного, что женщина, которой ты четыре года отправлял письма, каждый раз стараясь целиком поместиться в бумажном треугольнике, недоумевает, как это ты не привез ей из Германии вагон барахла, а раздобыл там только часы в стальном корпусе и старый фотоаппарат, который ты вешаешь на стену комнаты, где родился и вырос, пробивая гвоздем новые обои с такими же розовыми узорами, какими скоро покроется все вокруг, хотя пока они появляются только на сетчатке левого глаза после третьего стакана водки, от запаха которой она морщится, потому что не понимает, что человек должен уметь забывать прошлое, если хочет и дальше идти по жизни, где надо улыбаться наглой женщине из отдела кадров, надевать медали на экзамен и приносить домой несколько веток сирени, напоминающей не то о довоенных чернилах, не то о вечном салюте всем живым, если они, конечно, еще есть в этом городе, лучше приспособленном для грузовиков, чем для людей, особенно крошечных, которые дико орут всю ночь, лежа в своих кроватках и глядя то на ползущие по потолку квадраты света, то на лицо матери, разрисованное помадой и тушью, купленной у каких-то сволочей перед вокзалом, прямо на площади, где скользят небывалые, как из сна, голубые «Победы» и весело горят огни на домах, подтверждая, что уже никогда не повторится то, что было раньше, или, если сказать то же самое по-другому, все оказалось позади и от тебя осталось только то, на что ты надеваешь пиджак и брюки, когда идешь на работу, и переодеваешь в китайский лыжный костюм, приходя домой и плюхаясь в кровать рядом с крупнозадым человеком другого пола, настолько частым опытом многих, что даже есть специальное слово «жена» для описания того, что чувствуешь, видя завитые короткие волосы и вдыхая запах духов «Колхозница», пропитавший все до такой степени, что комната, где едят и дышат четверо человек, становится похожей на парикмахерскую в день погребения Сталина, отчаянного человека,

оставившего вся государственные и партийные посты ради самой обыкновенной смерти, после которой вдруг выяснилось, что в любую гранитную задницу можно без труда вбить кукурузный початок, а это, кстати, можно было бы понять еще очень давно, если бы было время задуматься, но только его нет даже у детей, похожих со своими ранцами на маленьких космонавтов, высадившихся на этой безобразной планете в самое спокойное за всю ее историю время и уже создавших вокруг себя какой-то непонятный мир, о котором ты никогда ничего не узнаешь, так что умнее было бы повернуться к тем радостям, которые еще может дать жизнь, и пореже смотреть вниз из окна, потому что добровольная смерть — удел слабых, а удел сильных — недобровольная, а сейчас как раз приходит возраст расцвета, когда внизу тебя ждет кремовая машина со взлетающим над капотом оленем, здоровье в полном порядке и со спины иногда еще долетают слова «молодой человек», потому что на затылке сохранились волосы, а кроме всего этого, ты очень нужен тем, ко дергает тебя за пальцы, называет папой и просит принести что-нибудь смешное с работы, где самое смешное — на бланках с грифом «секретно», а по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо все время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке, или от чувства полноты жизни, которое надо все время показывать самому, чтобы тебе все время демонстрировали его в ответ, то есть надо улыбаться, отпускать усы, махать в жэке справками и так далее, и тогда, может быть, найдутся два или три идиота, которые придут к тебе в гости и скажут, что ты живешь как король, после чего ты сможешь представить себе, что чувствует король, десятый год бегая трусцой по обсаженной сиренью аллее и видя людей, которые будут жить после того, как он последует за недавно оставившей этот мир королевой, а чтобы он ни с чем не перепутал это чувство, у него есть дети, уже прикидывающие, как они разменяют квартиру, собранную по частям из освобождающихся комнат, как из кубиков с фрагментами рисунка, в надежде, что сойдется, а когда все сошлось, страшно даже посмотреть на это, потому что догадываешься, какой рисунок вышел, и тебе приходится отсекать уже гниющие части мира, чтобы в узком коридоре смысла глядеть в телевизор и гадать, чувствуют ли они то же самое, и если да, то зачем они тогда так тщательно растягивают вдоль своих лысин последние остав-

шиеся пряди и обнажают в улыбках пластмассовые зубы, которые им, как и тебе, придется положить на ночь в специальный раствор, пахнущий сиренью, и долго стоять над плексигласовым стаканом, силясь вспомнить, о чем же напоминает этот запах, но вместо этого вдруг наткнуться на мысль, что догадываешься сейчас о существовании жизни так же, как когда-то догадывался о существовании смерти, отчего становится до того страшно, что делаешь одновременно три вещи: закуливаешь сигарету, включаешь телевизор и открываешь недавно купленную книгу, где сказано, что прошел о Нем слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их, и следовало за Ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана, откуда все громче доносится гневный голос арабского народа, обещающий кратковременные дожди и восемнадцать-двадцать градусов тепла — как раз то, что нужно для ритуального посещения дачи, где тебя встречают как неизбежное зло и из окна которой ты видишь выросший прямо у стены гриб, похожий не то на человечка, не то на крохотную водонапорную башню, что, в сущности, одно и то же, если вспомнить, что человек — это почти что двухметровый столб воды, способный самостоятельно перемещаться по поверхности земного шара, двигаясь к железнодорожной станции сквозь сгущающиеся сумерки и прислушиваясь к долетающей откуда-то музыке, совершенно не подходящей для того, чтобы разместить в ней хоть одно свое чувство, и поэтому чужой и оскорбительной, но все-таки прекрасной, раз вокруг полно тех, кому это удастся без всякого усилия с их стороны в те же дни, когда ты тайком, как другие пьют портвейн, крестишься в подъездах и лифтах, носишь откровенно предсмертное черное пальто и всерьез ищешь чего-то в приобретенной для смеху и интеллигентности книге, когда пытаешься дозвониться бывшим детям, чтобы услышать в трубке свой уверенный бодрый голос и лишний раз понять, что ты не нужен никому и ничему в мире, сужающемся с движением твоего взгляда по обоям навстречу просвету окна перед шторой, за которую ты держишься, надеясь, что на этот раз отпустит, если тебе удастся не поворачивать взгляд дальше вправо, потому что, когда человек начинает принимать треугольное слуховое окно на ма-

ленькой зеленой крыше за глаз, который глядел на него с роженья, уже не имеет никакого значения ни то, как именно он упадет на пол, ни то, что последним увиденным им на свете предметом окажется водонапорная башня.

*Слух обо мне пройдет,  
как вонь от трупа.*

Н. Антонов

## МАРДОНГИ

Слово «мардонг» — тибетское, и обозначает оно целый комплекс понятий. Первоначально так назывался культовый объект, который получался вот таким образом: если какой-нибудь человек при жизни отличался святостью, чистотой или, наоборот, представлял собой, образно выражаясь, «цвeток зла» (связи Бодлера с Тибетом только сейчас начинают прослеживаться), то после смерти, которую, кстати, тибетцы всегда считали одной их стадий развития личности, тело такого человека не зарывалось в землю, а обжаривалось в растительном масле (к северу от Лхасы обычно использовался жир яков), затем обряжалось в халат и усаживалось на землю, обычно возле дороги. После этого вокруг трупа и впри-тык к нему возводилась стена из сцементированных камней, так что в результате получалось каменное образование, в котором можно было уловить сходство с контуром сидящей по-турецки фигуры. Затем объект обмазывался глиной (в северных районах — навозом пополам с соломой, после чего был необходим еще один обжиг), затем штукатуркой и разрисовывался — роспись была портретом замурованного, но, как правило, изображенные лица неотличимы. Если умерший принадлежал к секте Дуг-па или Бон, ему пририсовывалась черная камилавка. После этого мардонг был готов и становился объектом либо исступленного поклонения, либо настолько же исступленного осквернения — в зависимости от религиозной принадлежности участников ритуала. Такова предыстория.

Второе значение слова «мардонг» широко известно. Так называют себя последователи Николая Антонова, так называл себя сам Антонов. Наш небольшой очерк не ставит себе

целью проследить историю секты — нас больше интересуют ранний срез ее идеологии и мысли самого Антонова; кстати, мы не согласны с появившейся недавно гипотезой, что Антонов — вымышленное лицо, а его труды — компиляция, хотя аргументы сторонников этой точки зрения часто остроумны. Надо всегда помнить, что «несуществование Антонова», о котором многократно заявляли сектанты, есть одна из их мистических догм, а вовсе не намек неким будущим исследователям. Согласиться с этой гипотезой нельзя еще и потому, что все сочинения, известные как антоновские, несут на себе ясный отпечаток личности одного человека. «Пять или шесть страниц, — пишет Жиль де Шарден, — и начинает казаться, что ваша нога попала в медленные челюсти некоего гада, и все сильнее нажим, и все темнее вокруг...» Оставим излишнюю эмоциональность оценки на совести впечатлительного француза; важно то, что работы Антонова действительно пронизаны одним настроением и стилистически обособлены от всего написанного в те годы — если уж предполагать компиляцию, то автор у подделок тоже должен быть один, и в таком случае под именем Николая Антонова нами понимается этот человек.

Начало движения относится к 1993 году и связано с появлением книги Антонова «Диалоги с внутренним мертвецом».

«Смерти нет» — так называется ее первая часть. Идея, конечно, не нова, но аргументация автора необычна. Оказывается, смерти нет потому, что она уже произошла, и в каждом человеке присутствует так называемый внутренний мертвец, постепенно захватывающий под свою власть все большую часть личности. Жизнь, по Антонову, — не более чем процесс вынашивания трупа, развивающегося внутри, как плод в матке. Физическая же смерть является конечной актуализацией внутреннего мертвеца и представляет собой, таким образом, роды. Живой человек, будучи зародышем трупа, есть существо низкое и неполноценное. Труп же мыслится как высшая возможная форма существования, ибо он вечен (не физически, конечно, а категориально).

Ошибка обычного человека заключается в том, что он постоянно заглушает в себе голос внутреннего мертвеца и боится отдать себе отчет в его существовании. По Антонову, ВМ (так обычно обозначается внутренний мертвец в изданиях нынешних антоновцев) — самая ценная часть личности, и вся

духовная жизнь должна быть ориентирована на него. Мы еще вернемся к этой мысли, получившей развитие в последующих работах Антонова, а пока перейдем ко второй части «Диалогов».

Она называется «Духовный мардонг Александра Пушкина». Уже здесь, помимо введения термина, обозначены основные практические методы прижизненного пробуждения внутреннего мертвеца. Антонов пишет о духовных мардонгах, образующихся после смерти людей, оставивших заметный след в групповом сознании. В этом случае роль обжарки в масле выполняют обстоятельства смерти человека и их общественное осознание (Антонов уподобляет Наталью Гончарову сковородке, а Дантеса — повару), роль кирпичей и цемента — утверждающаяся однозначность трактовки мыслей и мотивов скончавшегося. По Антонову, духовный мардонг Пушкина был готов к концу XIX века, причем роль окончательной раскраски сыграли оперы Чайковского.

Культурное пространство, по Антонову, является Братской Могилей, где покоятся духовные мардонги идеологий, произведений и великих людей; присутствие живого в этой области оскорбительно и недопустимо, как недопустимо в некоторых религиях присутствие менструирующей женщины в храме. Братская Могила, разумеется, — понятие идеальное (после выхода книги в издательство пришло много писем с просьбой указать ее местонахождение).

Существование духовных трупов в ноосфере, говорит дальше Антонов, способствует выработке правильного духовно-эмоционального процесса, где каждый шаг ведет к *«утрунению»* (один из ключевых терминов работы). Практические рекомендации, приведенные в «Диалогах», впоследствии получили развитие, поэтому будет правильно рассмотреть их по второй книге Антонова.

Книга «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (1995) представляет собой на первый взгляд бессвязный набор афоризмов и медитационных методик, однако адепты утверждают, что в этих высказываниях, а также в принципах их взаимного расположения зашифрованы глубочайшие законы Вселенной. За недостатком места мы не сможем рассмотреть эту сторону книги; отметим только, что последние исследования на компьютере установили несомненную структурную связь между повторяемостью в книге слова «гармония» и ритуалом приготовления вареной суки — национального блюда индейцев



наваху. (Легендарный факт съедения Антоновым в мистических целях своей собаки, предварительно якобы загризированной под Пушкина, никак не документирован и, по-видимому, является одним из многочисленных мифов вокруг этого человека; насколько известно, никакой собаки у Антонова не было.)

Практические техники, ведущие к «утрупнению», разнообразны. Еще в первой книге предложен «Разговор о Пушкине». (Утверждают, что в последние годы жизни Антонов открывал рот только для того, чтобы сделать очередное заявление о величии Пушкина; антоновцы комментируют это в том смысле, что мастер работал одновременно над двумя мардонгами — укреплял пушкинский и достраивал свой.) Эта практика среди антоновцев сейчас строго формализована: «Разговор о Пушкине» начинается с вводного утверждения о том, что поэт не знал периода ученичества, и кончается распеванием мантры «Пушкин пушкински велик» — регламентированы не только все произносимые слова, но и интонации. Можно допустить, что при жизни Антонова (антоновец бы поправил, сказав — при первосмертии) существовали отклонения от канона и в современной форме от сложился позднее.

Другой техникой утрупнения является изучение древнерусской культуры — разумеется, не ее самой, а ее мардонга. На этом пути Антонов высказал интересную мысль, благодаря которой к движению примкнула масса славянофилов. Антонов заявил, что найденный археологами под Киевом горшок VIII века является первым в истории мардонгом, а находящаяся в нем малая берцовая кость принадлежала девочке по имени Горухша — это слово написано на горшке. После такого патристического высказывания антоновцы получили государственную дотацию и их движение заметно укрепилось.

Кроме этих методик, Антонов рекомендует изучение какого-нибудь мертвого языка — например, санскрита, — а также лежание в гробу.

С момента возникновения секты быт ее членов был подвергнут тщательной ритуализации. Рассказывают, например, что Антонов не терпел, когда при нем огурцы вынимали из банки пальцами — по его мнению, мертвость овощей осквернялась живым прикосновением. Работа «Ежедневное чудо», где, может быть, рассмотрены эти вопросы, не сохранилась.

Книга «Майдан» (1998), при стилистическом единстве с остальными сочинениями, сдержанней и задумчивей и чем-то

напоминает суры мединского периода. В ней нет новых идей, но углублены и развиты ранее высказанные — например, появляется мысль о множественности внутренних трупов, которые как бы вложены один в другой наподобие матрешек (по Антонову, древнерусский символ мардонга), причем каждый последующий труп созерцает предыдущий и испытывает по нему ностальгию; первичный внутренний труп тоскует по окончательному, то есть по актуализированному мертвецу — круг замыкается.

В этой книге Антонов отрекается от тех своих последователей, которые идут на самоубийство, — он презрительно называет их «недоносками». (В системе Антонова убийство рассматривается как кесарево сечение, а самоубийство — как преждевременные роды. Смерть в юности уподобляется аборту.)

В 1999 году Антонов достигает актуализации. Его мардонг устанавливают на тридцать девятом километре Можайского шоссе, прямо у дороги.

Он и сейчас на этом месте, и в любое время там можно встретить антоновцев — это хмурые молодые люди в темных плащах, крашенные под блондинов, с перетянутыми резинками — чтобы трупно синели кисти — запястьями. У мардонга читают стихи — обычно Сологуба или Блока, отобранные по антоновскому принципу «максимума шипящих». Иногда читают стихи самого Антонова:

...А когда догорит свеча  
И во тьме отзвучат часы,  
Мертвецы ощутят печаль,  
На полу уснут мертвецы...

С шоссе открывается удивительный вид.

*Здесь мы можем видеть, что социализм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман.*

Людвиг Витгенштейн

## ДЕВЯТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Перестройка ворвалась в сортир на Тверском бульваре одновременно с нескольких направлений. Клиенты стали дольше засиживаться в кабинках, оттягивая момент расставания с осмелевшими газетными обрывками; на каменных лицах толпящихся в маленьком кафельном холле голубых весенним светом заиграло предчувствие долгожданной свободы, еще далекой, но уже несомненной; громче стали те части матерных монологов, где помимо Господа Бога упоминались руководители партии и правительства; чаще стали перебои с водой и светом.

Никто из вовлеченных во все это толком не понимал, почему он участвует в происходящем, — никто, кроме уборщицы мужского туалета Веры, существа неопределенного возраста и совершенно бесполого, как и все ее коллеги. Для Веры начавшиеся перемены тоже были некоторой неожиданностью — но только в смысле точной даты их начала и конкретной формы проявления, а не в смысле их источника, потому что этим источником была она сама.

Началось все с того, что как-то однажды днем Вера первый раз в жизни подумала не о смысле существования, как она обычно делала раньше, а о его тайне. Результатом было то, что она уронила тряпку в ведро с темной мыльной водой и издала что-то вроде тихого «ах». Мысль была неожиданная и непереносимая и, главное, ни с чем из окружающего не связанная — просто пришла вдруг в голову, в которую ее никто не звал; а выводом из этой мысли было то, что все долгие годы духовной работы, потраченные на поиски смысла, оказывались потерянными зря, потому что дело было, оказывается, в тайне. Но Вера как-то все же успокоилась и стала мыть дальше. Когда прошло десять минут и значительная

часть кафельного пола была уже обработана, появилось новое соображение — о том, что другим людям, занятым духовной работой, эта мысль тоже вполне могла приходиться в голову и даже наверняка приходила, особенно если они были старше и опытнее. Вера стала думать, кто это может быть из ее окружения, и сразу безошибочно поняла, что не надо ходить слишком далеко и надо поговорить с Маняшей, уборщицей соседнего туалета, такого же, но женского.

Маняша была намного старше. Это была худая старушка тоже неопределенных, но преклонных лет; при взгляде на нее Вере отчего-то — может быть, из-за того, что та сплетала волосы в седую косичку на затылке — вспоминалось словосочетание «Петербург Достоевского». Маняша была Вервиной старшей подругой; они часто обменивались ксерокопиями Блаватской и Рамачараки, настоящая фамилия которого, как говорила Маняша, была Зильберштейн; ходили в «Иллюзион» на Фасбиндера и Бергмана, но почти не говорили на серьезные темы; Маняшино руководство духовной жизнью Веры было очень ненавязчивое и не прямое, отчего у Веры никогда не появлялось ощущения, что это руководство существует.

Стоило Вере вспомнить о Маняше, как раскрылась маленькая служебная дверь, соединявшая оба туалета (с улицы в них вели разные входы), и Маняша появилась. Вера тут же принялась путано рассказывать о своей проблеме, Маняша не перебивая слушала.

— ...И получается, — говорила Вера, — что поиск смысла жизни — сам по себе единственный смысл жизни. Или нет, не так — получается, что знание тайны жизни, в отличие от понимания ее смысла, позволяет управлять бытием, то есть действительно прекращать старую жизнь и начинать новую, а не только говорить об этом — и у каждой новой жизни будет свой особенный смысл. Если овладеть тайной, то уж никакой проблемы со смыслом не останется.

— Вот это не совсем верно, — перебила внимательно слушавшая Маняша. — Точнее, это совершенно верно во всем, кроме того, что ты не учишь природу человеческой души. Неужели ты действительно считаешь, что, зная эту тайну, ты решила бы все проблемы?

— Конечно. Я уверена. Только как ее узнать?

Маняша на секунду задумалась, а потом словно на что-то решилась и сказала:

— Здесь есть одно правило. Если кому-то известна эта тайна и ты о ней спрашиваешь, тебе обязаны ее открыть.

— Почему же ее тогда никто не знает?

— Ну почему? Кое-кто знает, а остальным, видно, не приходится в голову спросить. Вот ты, например, кого-нибудь когда-нибудь спрашивала?

— Считаю, что я тебя спрашиваю,— быстро проговорила Вера.

— Тогда коснись рукой пола, — сказала Маняша, — чтобы вся ответственность за то, что произойдет, легла на тебя.

— Неужели нельзя без этих сцен из Мейринка? — недовольно пробормотала Вера, наклоняясь к полу и касаясь ладонью холодного кафельного квадрата. — Ну?

Маняша пальцем подозвала Веру к себе и, взяв ее за голову и наклонив так, что Верино ухо пришлось точно напротив ее рта, прошептала что-то не очень длинное.

И в эту же секунду за стенами раздался гул.

— Как, и всё? — разгибаясь, спросила Вера.

Маняша кивнула головой.

Вера недоверчиво засмеялась.

Маняша развела руками, как бы говоря, что не она это придумала и не она виновата. Вера притихла.

— А знаешь, — сказала она, — я ведь что-то похожее всегда подозревала.

Маняша засмеялась.

— Так все говорят.

— Ну что же, — сказала Вера, — для начала я попробую что-нибудь простое. Например, чтоб здесь на стенах появились картины и заиграла музыка.

— Я думаю, у тебя получится, — ответила Маняша, — но учти, что произойти в результате твоих усилий может что-то неожиданное, совсем вроде бы не связанное с тем, что ты хотела сделать. Связь выявится только потом.

— А что может произойти?

— А вот посмотришь сама.

Посмотреть удалось не скоро, только через несколько месяцев, в те отвратительные ноябрьские дни, когда под ногами чавкает не то снег, не то вода, а в воздухе висит не то пар, не то туман, сквозь который просвечивают синева милицейских шапок и багровые кровоподтеки транспарантов.

Произошло это так: в уборную спустились несколько праздничных пролетариев с большим количеством идеологического оружия — огромных картонных гвоздик на длинных зеленых шестах и заклиний на специальных листах фанеры. Справив нужду, они поставили двухцветные копыя к стене, заслонили писсуары своими промокшими транспарантами — на верхнем была непонятная надпись «Девятый трубоволоочильный» — и устроились на небольшой пикник в узком пространстве перед зеркалами и умывальниками. Сильней, чем мочой и хлоркой, запахло портвейном; зазвучали громкие голоса. Сначала доносился смех и разговоры, потом вдруг стало тихо, и строгий мужской голос спросил:

— Что ж ты, сука, на пол льешь специально?

— Да не специально я, — затараторил неубедительный тенор, — тут бутылка нестандартная, горлышко короче. А я тебя заслушался. Проверь сам, Григорий! У меня рука всегда автоматически...

Тут раздался звук удара во что-то мягкое и одобрительная матерная разноголосица, но после этого пикник как-то быстро сошел на нет, и голоса, гулко взыв напоследок с ведущей на бульвар лестницы, исчезли. Тогда только Вера решилась выглянуть из-за угла.

В центре кафельного холла сидел на полу мужичонка с расквашенной мордой и через равные интервалы времени плевал кровью на залитый портвейном кафель. Увидев Веру, он отчего-то перепугался, вскочил на ноги и убежал на улицу, под открытое небо. После него в холле осталась мокрая надломленная гвоздика и маленький транспарантик с кривой надписью: «Парадигма перестройки безальтернативна!» Вера совершенно не поняла, какой в этих словах заключен смысл, но долгий опыт жизни ясно говорил: началось что-то новое, и даже не верилось, что это новое вызвано ею. На всякий случай она подхватила гигантский цветок и транспарант и отнесла их в свою каморку, представлявшую собой две крайних кабинки, — перегородка между ними была убрана, и места было как раз достаточно, чтобы разместились ведра, швабры и стул, на котором можно было иногда передохнуть.

После этого все еще долго тянулось по-старому — да и что нового может быть в туалете? Жизнь текла размеренно и

предсказуемо, только количество пустых бутылок, которое приносил день, стало падать, а народ стал злее.

Но вот однажды в туалете появилась компания зашедших явно не по нужде. Они были в одинаковых джинсовых костюмах и темных очках, а с собой у них был складной метр и такая специальная штучка на треножном штативе — Вера знала, как она называется, — в которую какие-то люди на улицах часто глядят на особым образом разграфленную палку, которую держат другие люди. Гости обмерили входную дверь, озабоченно оглядели все помещение и ушли, так и не воспользовавшись своим оптическим приспособлением. Еще через несколько дней они появились в сопровождении человека в коричневом плаще и с коричневым портфелем — Вера знала его, это был начальник всех городских туалетов. Вели себя прибывшие непонятно — они ничего не обсуждали и не измеряли, как в прошлый раз, а просто прохаживались взад и вперед, задевая плечами спины переливающихся в писсуары (как зыбок мир!) трудящихся, и время от времени замирали, мечтательно заглядываясь на что-то, Вере и посетителям не видимое, но, очевидно, прекрасное: об этом можно было догадаться по улыбкам на их лицах и по тем удивительным романтическим положениям, в которых застывали их тела, — Вера не смогла бы выразить своих чувств словами, но поняла она все безошибочно, и на несколько мгновений перед ее глазами встала когда-то висевшая у них в детдоме репродукция картины «Товарищи Киров, Ворошилов и Сталин на строительстве Беломорско-Балтийского канала».

А еще через два дня Вера узнала, что теперь работает в кооперативе.

Обязанности остались, в общем, прежние, но невероятно изменилось все вокруг. Как-то постепенно и быстро, без остановки производственных мощностей, был сделан ремонт. Сначала бледный советский кафель на стенах заменили на крупную плитку с изображением зеленых цветов. Потом переделали кабинки — их стены обшили пластиком под орех; вместо строгих унитазов победившего социализма поставили какие-то розово-фиолетовые пиршественные чаши, а у входа установили турникет, как в метро, — только вход стоил не пять, а десять копеек.

В завершение этих изменений Вере подняли зарплату на целых сто рублей в месяц и выдали новую рабочую одежду: красную шапку с козырьком и черный полухалат-полушинель с петлицами — словом, все как в метро, только на петлицах и кокарде сверкала не буква «М», а две скрещенные струи, выбитые в тонкой меди. Две соединенные кабинки, где раньше можно было хотя бы поспать, теперь превратились в склад туалетной бумаги, куда уже было не втиснуться. Теперь Вера сидела возле турникетов в специальной будке, похожей на трон марсианских коммунистов из фильма «Аэлита», улыбалась, разменивала деньги; в ее жестах появилась счастливая плавность, совсем как у виденной однажды в детстве и запомнившейся на всю жизнь продавщицы из Елисейского — та, белокурая и женственно полная, резала семгу на фоне настенной фрески, изображавшей залитую солнцем долину, где прямо в полуметре от реальности висела прохладная виноградная кисть, — и было утро, и нежно пело радио, и Вера была девушкой в красном ситцевом платье.

В турникетах весело звенели деньги — за каждый день набегало полтора-два больших холщовых мешка. «Кажется, — смутно думала Вера, — Фрейд где-то сопоставил экскременты и золото. Все-таки умный мужик был, чего говорить... за что только его так люди ненавидят... вот тот же Набоков...» И она погружалась в привычные неторопливые мысли, часто состоявшие из одного только начала и так и не доползавшие до собственного конца, потому что им на смену приходили другие.

Жить постепенно становилось все лучше — у входа появились зеленые бархатные портьеры, которые посетитель должен был, входя, раздвинуть плечом, а на стене у входа — купленная в обанкротившейся пельменной картина, в какой-то странной перспективе изображавшая тройку — трех белых лошадей, впряженных в заваленные сеном сани, где, не обращая никакого внимания на бегущих следом сосредоточенных волков, сидели трое: два гармониста в расстегнутых полушубках и баба без гармонии (отчего гармонь казалась признаком пола). Единственным, что смущало Веру, был какой-то далекий грохот или гул, иногда доносившийся из-за стен, — она никак не могла взять в толк, что́ может так странно гудеть под землей, но потом решила, что это метро, и успокоилась.



В кабинках зашуршала настоящая туалетная бумага — не то что раньше. На умывальниках появились куски мыла, рядом — настенные электрические ящики для сушения рук. Словом, когда один постоянный клиент сказал Вере, что приходит сюда как в театр, она не удивилась сравнению и даже не особенно была польщена.

Новым начальником был румяный парень в джинсовой куртке и темных очках — он появлялся на месте редко и, как понимала Вера, курировал еще два-три туалета. Вере он казался очень загадочным и могущественным человеком, но однажды выяснилось, что заправляет всем вовсе не он.

Обычно румяный молодой человек, входя с улицы, раскидывал половинки зеленой бархатной портьеры коротким и властным движением ладони; затем появлялось его лицо с двумя черными стеклянными эллипсами вместо глаз, а потом раздавался тонкий голос. В тот раз все было наоборот — сначала Вера услышала его высокий заискивающий тенор, раздавшийся на лестнице, в ответ там же что-то снисходительное рявкнул бас, и портьера разошлась — но вместо ладони и черных очков появилась даже не согнутая, а какая-то сложившаяся джинсовая спина: это пятился и что-то на ходу объяснял Верин начальник, а вслед за ним шествовал пожилой толстый гном с большой рыжей бородой, в красной кепке и красной заграничной майке, на которой Вера прочла:

What I really need  
is less shit  
from you people

Гном был крошечный, но держался так, что казался выше всех. Быстро оглядев помещение, он открыл портфель, вынул связку печатей и приложил одну из них к листу бумаги, торопливо подставленному начальником Веры. После этого он дал какую-то короткую инструкцию, ткнул молодого человека в черных очках пальцем в живот, захохотал и исчез, Вера даже не заметила как. Стоял напротив зеркала — и нету, словно нырнул в какой-то только для гномов открытый подземный ход.

После развоплощения карлика с печатями Верин начальник успокоился, вырос в длину и сказал несколько ни к кому не обращенных фраз, из которых Вера поняла, что гном — на самом деле очень большой человек и заправляет всеми московскими туалетами.

— Ну и начальники теперь у нас, — бормотала себе под нос Вера, звякая монетами на стоящем перед ней блюде и выдавая одноразовые полотенца. — Прямо ужас.

Она любила делать вид, что воспринимает все происходящее так, как должна была бы воспринять его некая абстрактная Вера, работающая уборщицей в туалете, и старалась не думать о том, что сама разбудила эти подземные силы, и разбудила для смеха, для того, чтобы на стене повисла картина. Что касалось музыки, то она полагала, что ее желание уже воплотилось в двух нарисованных гармониях.

Вообще, насколько скучной и однообразной была раньше Верина жизнь, настолько теперь она стала значительной и интересной. Теперь Вера довольно часто видела разных удивительных людей — ученых, космонавтов и артистов, а однажды туалет посетил отец братского народа маршал Пот Мир Суп — ехал в Кремль, да не стерпел по дороге. С ним была уйма народу, и пока он сидел в кабинке, возле Вериной будки на длинных флейтах играли какую-то протяжную и печальную мелодию три волнующихся накрашенных пионера — так трогательно и хорошо, что Вера украдкой всплакнула.

Вскоре после этого случая Верин начальник принес с собой магнитофон и колонки, и уже на следующий день в сортире заиграла музыка. Теперь к Вериным обязанностям добавилась еще одна — переворачивать и менять кассеты. Утро обычно начиналось с «Мессы и Реквиема» Джузеппе Верди; первые взволнованные посетители появлялись обычно тогда, когда страстное сопрано из второй части уже успевало попросить Господа об избавлении от вечной смерти.

— Либера ме домини де морте азтерна, — тихонько подпевала Вера и в такт тяжелым ударам невидимого оркестра позвякивала медью на блюде. Потом обычно ставилась «Рождественская оратория» Баха или что-нибудь в этом роде, по-немецки и на духовные темы, и Вера, разбиравшая этот язык с некоторыми усилиями, прислушивалась, как далекие звонко-голосые дети весело уверяют в чем-то Господа, пославшего их в дольний мир.

— Так зачем Господь создал нас? — с сомнением спрашивало конвоируемое двумя скрипками сопрано.

— Затем, — убежденно отвечал хор, — чтобы мы его славили.

— Так ли это? — недоверчиво переспрашивало сопрано.

— Это несомненно так! — спешили подтвердить детские голоса из хора.

Потом, когда время подходило часам к двум-трем, Вера заводила Моцарта, и растревоженная душа медленно успокаивалась, скользя над холодным мраморным полом какого-то огромного зала, в котором, перебивая друг друга, дребезжали два минорных рояля.

А совсем близко к вечеру Вера ставила Вагнера, и летящие в бой валькирии несколько секунд никак не могли взять в толк, что это за кафельные стены и раковины мелькнули на миг возле их бешено несущихся коней.

Все было бы прекрасно, если б не одна странность, сначала почти незаметная и даже показавшаяся галлюцинацией. Вера стала замечать какой-то странный запах, а сказать откровенно — вонь, на которую она раньше не обращала внимания. По какой-то необъяснимой причине вонь появлялась тогда, когда начинала играть музыка, — точнее, не появлялась, а проявлялась. Все остальное время она тоже присутствовала — собственно, она была изначально свойственна этому месту, но до каких-то пор не ощущалась из-за того, что находилась в гармонии со всем остальным, — а когда на стенах появились картины да еще заиграла музыка, вот тут-то и стало заметно то особое непередаваемое туалетное зловоние, которое совершенно невозможно описать и о котором некоторое представление дает разве что словосочетание «Париж Маяковского».

Как-то вечером к Вере зашла Маняша, послушала увертюру к «Корсару» и вдруг тоже заметила вонь.

— Ты, Вера, никогда не задумывалась над тем, почему наши воля и представление образуют вокруг нас эти сортиры? — спросила она.

— Задумывалась, — ответила Вера. — Я давно над этим думаю и никак не могу понять. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь, что мы сами создаем мир вокруг себя и причина того, что мы сидим в сортире, — наши собственные души. Потом ты скажешь, что никакого сортира на самом деле нет, а есть только проекция внутреннего содержания на внешний

объект, и то, что кажется вонью, на самом деле просто экстериоризованная компонента души. Потом ты прочтешь что-нибудь из Сологуба...

— И мне светила возвестили, — нараспев перебила Маняша, — что я природу создал сам...

— Во-во, или еще что-нибудь в этом роде. Все верно?

— Не вполне. Ты допускаешь свою обычную ошибку. Дело в том, что в солипсизме интересна исключительно практическая сторона. Кое-что в этой области тобой уже сделано — вот, например, картина с тройкой или эти цимбалы — брень-брень! Но вот вонь — в какой момент и почему мы ее создаем?

— С практической стороны я могу тебе ответить, — сказала Вера, — что мне теперь несложно убрать вонь и сам сортир.

— Мне тоже, — ответила Маняша. — Я и убираю его каждый вечер. Но вот что наступит дальше? Ты действительно думаешь, что это возможно?

Вера открыла было рот для ответа, но вместо этого надолго закашлялась в ладонь.

Маняша высунула язык.

Прошло два-три дня, и вот зеленую штору на входе откинули несколько посетителей, сразу же напомнивших Вере тех первых, в джинсовых куртках, с которых все и началось. Только эти были в коже и еще румяней, а в остальном вели себя так же, как и те: медленно ходили по помещению, тщательно оглядывая все вокруг. И вскоре Вера узнала, что туалет закрывают и теперь здесь будет комиссионный магазин.

Ее так и оставили уборщицей, а на время ремонта даже дали оплачиваемый отпуск — Вера хорошо отдохнула и перечитала некоторые книги по солипсизму, до которых никак не доходили руки. А когда она в первый день вышла на новую работу, уже ничто не напоминало ей о том, что в этом месте когда-то был туалет.

Теперь справа от входа начинался длинный стеллаж, где продавались всякие мелочи; дальше — там, где раньше были писсуары, — помещался длинный прилавок с одеждой, а напротив — стойка с радиоаппаратурой. В дальнем конце зала висели зимние вещи — кожаные плащи и куртки, дубленки и женские пальто, и за каждым прилавком теперь стояла продавщица.

Работы стало намного меньше, а денег — просто уйма. Те-

перь Вера ходила по помещениям в новом синем халате, вежливо раздвигала толпящихся посетителей и протирала сухой фланелевой тряпочкой стекла прилавков, за которыми новогодней разноцветной фольгой («Все мысли веков! все мечты! все миры!» — тихонько шептала Вера) мерцали жевательные резинки и презервативы, отсвечивали пластмассовые клипсы и броши, мерцали очки, зеркальца, цепочки и карандашики.

Затем, во время обеденного перерыва, надо было вымести грязь, которую на своих башмаках принесли посетители, и можно было отдыхать до самого вечера.

Теперь музыка играла круглый день — иногда даже несколько музык, — а вонь исчезла, о чем Вера с гордостью сообщила зашедшей как-то через дверь в стене Маняше. Та поджала губы.

— Боюсь, все не так просто. Конечно, с одной стороны, мы действительно создаем все вокруг, но с другой — мы сами просто отражения того, что нас окружает. Поэтому любая индивидуальная судьба в любой стране — это метафорическое повторение того, что происходит со страной, а то, что происходит со страной, складывается из тысяч отдельных жизней.

— Ну и что? — не поняла Вера. — Какое отношение это имеет к разговору?

— А такое, — сказала Маняша, — ты же говоришь, что вонь пропала. А она не пропадала вовсе. И ты с ней еще столкнешься.

С тех пор как мужской туалет перенесли на Маняшину половину и объединили с женским, Маняша сильно изменилась — стала меньше говорить и реже заглядывать в гости. Сама она объясняла это достигнутой уравновешенностью Инь и Ян, но Вера в глубине души считала, что дело в большем объеме работ по уборке и в зависти к ее, Веринуму, новому образу жизни — зависти, прикрытой внешней философичностью. При этом Вера совсем не думала о том, кто научил ее всему необходимому для осуществления метаморфозы. Маняша, видимо, почувствовала изменение Вериного отношения к ней, но отнеслась к этому спокойно, как к должному, и просто реже стала заходить.

Вскоре Вера поняла, что Маняша была права. Произошло это так: однажды она, разгибаясь от витрины, краем глаза за-

метила что-то странное — вымазанного говном человека. Он держался с большим достоинством и двигался сквозь раздающую толпу к прилавку с радиоаппаратурой. Вера вздрогнула и даже выронила тряпку, но когда она повернула голову, чтобы как следует рассмотреть этого человека, оказалось, что с ней произошел обман зрения — на самом деле на нем просто была рыже-коричневая кожаная куртка.

Но после этого случая такие обманы зрения стали происходить все чаще и чаще. То Вере вдруг мерещилось, что на застекленном прилавке разложены мятые бумажки, и надо было несколько секунд внимательно глядеть на него, чтобы увидеть нечто другое. То ей начинало казаться, что дорогие — в три-четыре советских зарплаты каждый — флаконы со сказочными названиями, стоящие на длинной полке за спиной продавщицы, недаром находятся в том самом месте, где раньше бодро журчали писсуары; и само название «туалетная вода», выведенное красным фломастером на картонке, вдруг приобретало эфемический смысл. За стенами теперь почти все время что-то тихо, но грозно рокотало, как будто тихо шептал какой-то исполин: звук был негромким, но рождал ощущение невероятной мощи.

Вера стала присматриваться к новым посетителям. Сначала стали заметны странности с их одеждой: некоторые вещи, надетые на них, упорно выдавали себя за говно, или, наоборот, размазанное по ним говно упорно выдавало себя за некоторые вещи. Лица многих были вымазаны говном в форме черных очков; оно покрывало их плечи в виде кожаных курток и джинсами облегалo ноги. Все они были вымазаны в разной степени: трое или четверо были покрыты полностью, с ног до головы, а один — в несколько слоев; к нему народ подходил с наибольшим почтением.

Вокруг крутилось множество детей. Один мальчик очень напоминал Вере ее брата, когда-то утопленного в пионерлагере, и она внимательно следила за тем, что с ним происходит. Сначала он просто сообщал покупателям, у кого из обмазанных говном они могут купить ту или иную вещь, и даже сам подлетал ко входящим и спрашивал:

— Что нужно?

Вскоре он уже продавал какую-то мелочь сам, а однажды днем Вера, переставляя по полу ведро по направлению к прилавку с огромными черными кусками говна со строгими

японскими именами, подняла глаза и увидела его сияющее счастьем лицо. Посмотрев вниз, она увидела, что его ноги, на которых раньше были ботинки, теперь густо вымазаны тем же самым, чем было покрыто большинство стоящих вокруг. Чисто инстинктивным движением она провела по ним тряпкой, а в следующий момент мальчик довольно грубо отпихнул ее.

— Под ноги надо смотреть, дура старая, — сказал он и продемонстрировал ей вынутый из кармана кукиш, который после секундного размышления переделал в кулак.

И вдруг Вера поняла, что, пока она управляла миром, к ней пришла старость и впереди теперь — только смерть.

Уже давно Вера не видела Маняшу. Отношения между ними стали в последнее время значительно холоднее, и дверь в стене, ведущая на Маняшину половину, уже долго не отпиралась. Вера стала вспоминать, при каких обстоятельствах обычно появлялась Маняша, и оказалось, что единственной вещью, которую можно было сказать на этот счет, было то, что иногда она просто появлялась.

Вера стала вспоминать историю их отношений, и чем дольше она вспоминала, тем крепче становилось в ней убеждение, что во всем виновата именно Маняша, хотя чем было это «все», она вряд ли сумела бы сказать. Но она решила отомстить и стала готовить гостинец к встрече с Маняшей — так и называя то, что она приготовила, «гостинцем» и даже про себя не давая вещам настоящих имен, словно Маняша из-за стены могла прочесть ее мысли, испугаться и не прийти.

Видно, Маняша ничего из-за стены не прочла, потому что однажды вечером она появилась. Выглядела она усталой и неприветливой, что Вера автоматически объяснила про себя тем, что у Маняши очень много работы. Забыв до поры свои планы, Вера с недоумением и страхом рассказала про свои галлюцинации. Маняша оживилась.

— Это как раз понятно, — сказала она. — Дело в том, что ты знаешь тайну жизни, поэтому способна видеть метафизическую функцию предметов. Но поскольку ты не знаешь ее смысла, ты не в состоянии различить их метафизической сути. Поэтому тебе кажется, что то, что ты видишь, — галлюцинации. Ты пыталась объяснить это сама?

— Нет, — сказала, подумав, Вера. — Очень трудно понять.

Наверное, что-то такое превращает вещи в говно. Некоторые превращает, а некоторые — нет... А-а-а... Поняла, кажется. Самито по себе они не говно, эти вещи. Это когда они сюда попадают, они им становятся... Или даже нет — то говно, в котором мы живем, становится заметным, когда попадает на них...

— Вот это уже ближе, — сказала Маняша.

— Ой, Господи... А я-то думаю: картины, музыка... Вот дура. А вокруг на самом деле туалет, какая ж тут музыка может быть... А кто виноват? Ну, насчет говна понятно — вентиль коммунисты открыли...

— В каком смысле? — спросила Маняша.

— А и в том, и в этом... Нет, если кто и виноват, так это, Маняша, ты, — закончила вдруг Вера и нехорошо посмотрела на бывшую уже подругу, так нехорошо, что та даже сделала шагок назад.

— Почему же я? Я, наоборот, столько раз тебе говорила, что все эти тайны никакой пользы тебе не принесут, пока ты со смыслом не разберешься... Вера, ты что?

Вера, глядя куда-то вниз и в сторону, пошла на Маняшу; та стала пятиться от нее прочь, и так они дошли до неудобной узкой дверцы, ведущей на Маняшину половину. Маняша остановилась и подняла на Веру глаза.

— Вера, что ты задумала?

— А топором тебя хочу, — безумно ответила Вера и вытащила из-под халата свой страшный гостинец с гвоздодерным выростом на обухе. — Прямо по косичке, как у Федора Михайловича.

— Ты, конечно, можешь это сделать, — нервничая, сказала Маняша, — но предупреждаю: тогда мы с тобой больше никогда не увидимся.

— Да это уж я сообразить могу, не такая дура, — замахираясь, вдохновенно прошептала Вера и с силой обрушила топор на Маняшину седую головку.

Раздался звон и грохот, и Вера потеряла сознание.

Придя в себя от рокота за стеной, она обнаружила, что лежит в примерочной кабинке с топором в руках, а над ней в высоком, почти в человеческий рост, зеркале зияет дыра, контурами похожая на огромную снежинку.

«Есенин», — подумала Вера.

Самым страшным ей показалось то, что никакой двери в стене, как оказалось, не было, и непонятно было, что делать



со всеми теми воспоминаниями, где эта дверь фигурировала. Но даже это уже не имело никакого значения — Вера вдруг не узнала саму себя. Казалось, какая-то часть ее души исчезла — часть, которой она никогда раньше не ощущала и почувствовала только теперь, как это бывало с людьми, которых мучают боли в ампутированной конечности. Все вроде бы осталось на месте, но исчезло что-то главное, придававшее остальному смысл; Вере казалось, что ее заменили плоским рисунком на бумаге, и в ее плоской душе поднималась плоская ненависть к плоскому миру вокруг.

— Ну погодите, — шептала она, ни к кому особо не обращаясь, — я вам устрою.

И ее ненависть отражалась в окружающем — что-то содрогалось за стенами, и посетители магазина, или туалета, или просто подземной ниши, где прошла вся ее жизнь (Вера ни в чем теперь не была уверена), иногда отрывались от изучения размазанного по прилавкам говна и испуганно оглядывались по сторонам.

Какая-то исполинская сила давила на стены снаружи, что-то гудело и дрожало за тонкой выгибающейся поверхностью — как будто огромная ладонь сжимала картонный стаканчик, на дне которого сидела крохотная Вера, окруженная прилавками и примерочными кабинками, сжимала пока несильно, но в любой момент могла полностью сплющить всю Верину реальность.

И однажды, ровно в 19.40 (как раз тогда, когда Вера думала, что три одинаковых куска говна на полке секции бытовой электроники зелеными цифрами показывают год ее рождения), этот момент настал.

Вера с ведром в руке стояла напротив длинной стойки с одеждой, где вперемежку висели дубленки, кожаные плащи и похабные розовые кофточки, и рассеянно смотрела на покупателей, щупающих такие близкие и одновременно недостижимые рукава и воротники, когда у нее вдруг сильно кольнуло в сердце. И тут же гудение за стеной стало невыносимо громким; стена задрожала, выгнулась, треснула, и из трещины, опрокинув стойку с одеждой, прямо на закричавших от ужаса людей хлынул отвратительный черно-коричневый поток.

— А-ах! — успела выдохнуть Вера, а в следующий момент

ее подняло с пола, крутануло и сильно ударило о стену; последним, что сохранило ее сознание, было слово «Карма», написанное крупными черными буквами на белом фоне тем же шрифтом, каким печатают название газеты «Правда».

В себя она пришла от другого удара, уже слабого, о какие-то прутья. Путья оказались ветками высокого старого дуба, и Вера в первый момент не поняла, каким образом ее, только что стоявшую на знакомом до последней кафельной плитки полу, могло вдруг ударить о какие-то ветки.

Оказалось, что она плывет вдоль Тверского бульвара в черно-коричневом зловонном потоке, плещущем уже в окна второго или третьего этажа. Она оглянулась и увидела над поверхностью жижи что-то вроде горы, образованной бьющим снизу потоком точно в том месте, где раньше был ее подземный ход.

Течение несло Веру вперед, в направлении Тверской. Уровень жижи поднимался со сказочной быстротой — двух-трехэтажные дома по бокам бульвара были уже не видны, а огромный уродливый театр теперь напоминал гранитный остров — на его крутом берегу стояли три женщины в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер, из-под приставленной ко лбу ладони глядящий вдаль; Вера поняла, что там только что давали «Трех сестер».

Ее уносило все дальше. Мимо нее проплыла детская коляска с изумленно глядящим по сторонам младенцем в синей шапочке с большой пластмассовой красной звездой, потом рядом оказался угол дома, увенчанный круглой башенкой с колоннами, на которой двое жирных солдат в фуражках с синими околышами торопливо готовили к стрельбе пулемет, и, наконец, течение вынесло ее на почти затопленную Тверскую и повлекло в направлении далеких сумрачных пиков с еле видными рубиновыми пентаграммами.

Поток теперь несся намного быстрее, чем несколько минут назад; сзади и справа над торчащими из черно-коричневой лавы крышами виден был огромный, в полнеба, грохочущий гейзер; к его шуму присоединилось еле различимое стрекотание пулемета.

— Блажен, кто посетил сей мир, — шептала Вера, — в его минуты роковые...

Она увидела плывущий рядом земной шар и догадалась, что это глобус из стены Центрального телеграфа. Она подгребла к нему и ухватилась за Скандинавию. Видимо, вместе

с глобусом из стены Телеграфа вырвало и электромотор, который его крутил, и теперь он придавал всей конструкции устойчивость — Вера со второй попытки вскарабкалась на синий купол, уселась на выделенное красным государство трудящихся и огляделась.

Где-то вдалеке торчала Останкинская телебашня, еще были видны похожие на острова крыши, а впереди медленно наплывала как бы несущаяся над водами красная звезда; когда Вера приблизилась к ней, ее нижние зубья уже погрузились. Вера ухватила за холодное стеклянное ребро и остановила свой глобус. Рядом с его бортом на поверхности жижи покачивались две солдатские фуражки и сильно размокший синий галстук в мелкий белый горошек — судя по тому, что они почти не двигались, течение здесь было слабым.

Вера еще раз оглянулась по сторонам, удивилась было той легкости, с которой исчез огромный многовековой город, но сразу же подумала, что все изменения в истории, если они и случаются, происходят именно так — легко и как бы сами собой. Думать совершенно не хотелось — хотелось спать, и она прилегла на выпученную поверхность СССР, подсунув под голову мозолистый от швабры кулак.

Когда она проснулась, мир состоял из двух частей — предвечернего неба и бесконечной ровной поверхности, в сумраке ставшей совсем черной. Ничего больше видно не было; рубиновые пентаграммы давно ушли на дно и были теперь Бог знает на какой глубине. Вера подумала об Атлантиде, потом о Луне и ее девяноста шести законах, но все эти уютные старые мысли, внутрь которых вчера еще душа так приятно сворачивалась в калачик, теперь были неуместны, и Вера опять задремала. Сквозь дрему она вдруг заметила, как вокруг тихо, — заметила, потому что послышался тихий плеск; он долетел с той стороны, где над горизонтом возвышался величественный красный холм заката.

К ней приближалась надувная лодка, в которой стояла высокая и широкоплечая фигура в фуражке, с длинным веслом. Вера приподнялась на руках и подумала, вглядываясь в приближающегося, что она на своем глобусе похожа, должно быть, на аллегорическую фигуру, и даже поняла, на аллегорическую чего — самой себя, плывущей на шаре с сомнительной

историей по безбрежному океану бытия. Или уже небытия — но никакого значения это не имело.

Лодка подплыла, и Вера узнала стоящего в ней — это был маршал Пот Мир Суп.

— Вера, — сказал он с сильным восточным акцентом, — ты знаешь, кто я такой?

В его голосе было что-то ненатуральное.

— Знаю, — ответила Вера, — кой-чего читала. Я уже все поняла давно, только вот там было написано про туннель. Что должен быть какой-то туннель.

— Туннель? Можно.

Вера почувствовала, что часть поверхности глобуса, на котором она сидела, открывается внутри и она падает в образовавшийся проем. Это произошло очень быстро, но она все же успела уцепиться руками за край этого проема и стала яростно дрыгать ногами, стремясь найти опору, но под ногами и по бокам ничего не было — только темная пустота, в которой дул ветер. Над ее головой оставался кусок грустного вечернего неба в форме СССР (ее пальцы изо всех сил вжимались в южную границу), и этот знакомый силуэт, всю жизнь напоминавший чертеж бычьей туши со стены мясного отдела, вдруг показался самым прекрасным из всего, что только можно себе представить, потому что кроме него не оставалось больше ничего вообще.

Из прекрасного мимолетного мира, который уходил навсегда, донесся плеск, и тяжелое весло ударило Веру по пальцам сначала правой, а потом левой руки; светлый контур Родины завертелся и исчез где-то далеко внизу.

Вера почувствовала, что парит в каком-то странном пространстве, — это нельзя было назвать падением, потому что вокруг не было воздуха и, что самое главное, не было ее самой: она попыталась увидеть хоть часть собственного тела и не смогла, хотя там, куда она поворачивала взгляд, положено было находиться ее рукам и ногам. Оставался только этот взгляд, но он не видел ничего, хотя смотрел, как с испугом поняла Вера, сразу во все стороны, так что поворачивать его не было никакой необходимости. Потом Вера заметила, что слышит голоса, — но не ушами, а просто осознает чей-то разговор, касающийся ее самой.

— Тут одна с солипсизмом на третий стадии, — сказал как бы низкий и рокочущий голос. — Что за это полагается?

— Солипсизм? — переспросил другой голос, как бы высокий и тонкий. — За солипсизм ничего хорошего. Вечное заключение в прозе социалистического реализма. В качестве действующего лица.

— Там уже некуда, — сказал низкий голос.

— А в казаки к Шолохову? — с надеждой спросил высокий.

— Занято.

— А может, в эту, как ее, — увлеченно заговорил высокий голос, — военную прозу? Каким-нибудь двухабзацным лейтенантом НКВД? Чтоб только выходила из-за угла, вытирая со лба пот, и пристально вглядывалась в окружающих? И ничего нет, кроме фуражки, пота и пристального взгляда. И так целую вечность, а?

— Говорю же, все занято.

— Так что делать?

— А пусть она сама нам скажет, — пророкотал низкий голос в самом центре Вериного существа. — Эй, Вера! Что делать?

— Что делать? — переспросила Вера. — Как что делать?

Вокруг словно подул ветер — это не было ветром, но напоминало его, потому что Вера почувствовала, что ее куда-то несет, как подхваченный ветром лист.

— Что делать? — по инерции повторила Вера и вдруг все поняла.

— Ну! — ласково прорычал низкий голос.

— Что делать?! — с ужасом закричала Вера. — Что делать?! Что делать?!

Каждый из ее криков усиливал это подобие ветра; скорость, с которой она неслась в пустоте, становилась все быстрее, а после третьего крика она ощутила, что попала в сферу притяжения некоего огромного объекта, которого до этого крика не существовало, но который после крика стал реален настолько, что Вера теперь падала на него, как из окна на мостовую.

— Что делать?! — крикнула она в последний раз, со страшной силой врезалась во что-то и от этого удара заснула — и сквозь сон донесся до нее бубнящий монотонный и словно какой-то механический голос:

— ...место помощника управляющего, я выговорил себе вот какое условие: что я могу вступить в должность когда захочу, хоть через месяц, хоть через два. А теперь я хочу воспользо-

ваться этим временем: пять лет не видал своих стариков в Рязани — съезжу к ним. До свидания, Верочка. Не вставай. Завтра успеешь. Спи.

## XXVII

Когда Вѣра Павловна на другой день вышла изъ своей комнаты, мужъ и Маша уже набивали вещами два чемодана.

## ИВАН КУБЛАХАНОВ

Как только появилось время, он смутно припомнил, что нечто подобное уже случалось. Первый момент был подобен вечности — никаких событий за эту вечность не произошло, и она была заполнена чистым существованием, лишенным каких бы то ни было качеств. Второй момент тоже был бесконечным, но эта новая бесконечность оказалась уже чуть короче — хотя бы потому, что она была новой. Он понял, что дальше время будет постоянно убыстряться, пока не достигнет такой скорости и напора, что случится непоправимое. И хоть до этого было еще далеко, мысль о том, что ускоряющееся падение в шахту времени уже началось, вызвала у него странную тоску, словно бы связанную с каким-то воспоминанием.

Эта мысль не была оформлена в словах — никаких слов он не знал, но будь они ему известны, он, наверно, выбрал бы похожие. Его бессловесное понимание проникало прямо в суть происходящего, а поскольку единственными событиями во вселенной были его ощущения, все его стремительно растущее знание касалось только его самого. Когда он наконец свыкся со своей неясной судьбой, он был уже бесконечно стар и мудр и спокойно взирал на ускоряющийся поток времени.

И тут в его бытие ворвалось нечто невообразимое. Он вдруг осознал, что имеет границы. Что существует находящееся внутри него и за его пределами, а сам он заключен в некие рамки, за которые не в силах выйти. Это было непостижимо, но это было реальностью, тем новым законом, по которому ему предстояло существовать. А потом он ощутил, что кроме границ имеет еще и форму.

Самым удивительным было то, что всем этим неожиданностям просто неоткуда было браться — у них не было ни-

какого источника, никакого корня, — но они все равно вторгались в его жизнь. Зато привыкать к новому стало легче, потому что время успело сильно разогнаться и все случалось крайне быстро. Прежняя жизнь, начало которой терялось в невыразимом, была очень долгой, но в ней не было ничего такого, о чем можно было бы думать; теперь же происходило многое, но его сознание успевало только фиксировать изменения, которые стали слишком мимолетными, чтобы затронуть его настоящую основу, — поняв это, он понял и то, что у него есть настоящая основа, а осознать ее и значило проснуться.

Он пришел в себя и увидел главное: превращения происходили не с ним. На самом деле он никогда не покидал первого мига, за границей которого началось время, но, пребывая в вечности, он все же постоянно следил за той причудливой рябью, которую вздымало время на поверхности его сознания; когда же эта рябь стала больше походить на волны и порывы времени стали угрожать его покою, он ушел вглубь, туда, где ничто никогда не менялось, и понял, что видит сон — один из тех, что снились ему всегда.

Он часто впадал в это забытие и каждый раз принимал его за реальность. Для этого достаточно было просто перенести внимание на колышущуюся границу собственного сознания (забыв, что на самом деле ее просто нет — какая может быть у сознания граница?), и проходящая по ней дрожь немедленно захватывала все его существо до момента пробуждения.

Его сны становились все более запутанными и странными. В них он продолжал расширяться, и его форма усложнялась; желая познать окружающий мир, он послал в него длинные протуберанцы, которые вскоре наткнулись на препятствие, вынудившее их согнуться и сложиться. Оказалось, что мир его сновидений тоже имеет границу и его тюрьма — или крепость — довольно тесна.

Но самое странное ждало впереди. Однажды он заметил, что постепенно изменился сам способ, которым он ощущает мир своих снов. Точнее, не изменился, а появился — раньше никаких способов не было. А теперь он стал воспринимать разные качества мира разными частями сознания. Эта способность утончалась и разветвлялась, и постепенно прежнее простое присутствие оказалось расчлененным на ощущения от света, звука, вкуса и касания, которые были просто осколками прежней целостности.



Сон продолжал сниться, и в нем появлялось все больше деталей.

Он заметил, что висит в теплом океане, заполняя почти весь его объем. Иногда, от скуки и неосознанного желания изменить миропорядок, он начинал глотать его соленую воду; за это приходилось расплачиваться приступом мучительной икоты, и он нетерпеливо ожидал пробуждения, хотя проснуться в таком состоянии было очень сложно: любая форма возбуждения уводила только дальше в закоулки сна, а для бодрствования были нужны покой и отрешенность.

Иногда его заливало тусклое красноватое мерцание, и ему становилось страшно, потому что источник света и причина зрения находились за пределами всего, что он успел более или менее изучить в своих снах; там начиналось неизвестное, что-то такое, чему еще только предстояло развиваться. Пока его зрение было латентным, судить об этом чувстве он мог только по еле угадываемым узорам вен на своих недавно появившихся веках.

Но главным источником знаний о мире, который постепенно создавало вокруг него время, был никогда не стихавший шум. Часто бывало так, что резкий звон вдруг вырывал его из безмятежного бодрствования, где не было ни времени, ни пространства, ни прочей атрибутики его видений, и он обнаруживал, что опять вывалился из реальности в знакомое красноватое пространство сна, мокрое и тесное, чавкающее и стучащее сотнями разных звуков.

Справа и сверху раздавались никогда не стихающие удары огромного метронома; чуть ниже что-то с шорохом вздувалось и опало, а совсем рядом время от времени начинал бурлить невидимый водопад — но этот шум звучал в его сне постоянно, и он давно не обращал на него внимания. Интерес у него вызывали другие звуки, которые складывались в длинные красивые последовательности, иногда сопровождаемые глухим бубнением голосов. Впрочем, музыка нравилась ему не всегда, а иногда вызывала настоящую ненависть, особенно когда подолгу мешала проснуться.

Все это вместе — звуки, свет, претерпеваемые им толчки и собранный им опыт — привело, конечно, к тому, что у него сложилась безмолвная, но довольно ясная картина мироздания, которую в слова можно было облечь примерно так: он парит в центре мира, созданного его привычкой видеть сны,

и этот мир имеет некое устройство, а за близкой границей порядка и определенности царит хаос, откуда приходят свет и звуки. Сила, необходимая для существования мира — и того кокона, где живет он, и окружающего хаоса, — исходит из центра его живота через толстый мягкий канат, уплывающий куда-то ему под ноги.

Что ждет этот мир? Он чувствовал, что быстрое расширение его тела когда-нибудь прорвет оболочку, отделяющую его от хаоса, и тогда наступит катастрофа. Но эта катастрофа может наступить только со сном, а с ним самим ничего, разумеется, произойти не может, потому что настоящий он, покоящийся в вечности, и есть то единственное, что происходит.

Когда он понял, что может шевелить частями своего тела, то расценил это как свидетельство надвигающегося избавления от сновидений. Иногда он чувствовал мягкие удары и отвечал на них; тогда до него долетали рокошующие раскаты смеха, и какая-то сила снаружи поглаживала его кокон. В ее действиях была явная закономерность: стоило ему пнуть ногой упругую и теплую перегородку, отделявшую его от хаоса, и оттуда приходило эхо — мягкое нажатие, сопровождаемое густыми воркующими звуками, от которых слегка содрогался весь мир. Эти звуки сопровождали его с тех пор, как он стал слышать, и он научился отделять их от множества других, очень похожих, которые раздавались реже.

Ощущения сна не вызывали у него никакого неудовольствия, но однажды к ним добавилось новое. По всему его кокону несколько раз прошла волна сжатия, и он ощутил испуг — такого раньше не бывало. Вскоре все кончилось, и он проснулся, снова оказавшись у себя дома, там, где нет ничего, кроме него самого и его неопределимого блаженства. Но что-то тревожило его покой, что-то вытягивало его наружу, в сон, и когда он вывалился туда, первым, что он почувствовал, был ужас.

До этого он никогда не испытывал боли и не знал, что это такое. А сейчас он столкнулся с ней и понял, что эта сила способна сколь угодно долго удерживать его во сне и не пускать назад в реальность. Это качество боли было самым пугающим; кроме того, она была крайне неприятна сама по себе.

Боль исходила отовсюду, а ее причиной было растущее усилие, с которым на него давили мягкие стены его дома. Раньше ему казалось, что он будет бесконечно расширяться, пока не займет собой все существующее пространство, а те-

перь оказалось, что мир вокруг решил сдвинуть его в точку, вернуть все к тому моменту, когда сон, еще безвредный и непонятный, только начинался.

Но он уже не мог исчезнуть. Он был просто не в состоянии поддаться сдавившей его силе — он мог только страдать и ждать, когда страдание кончится. Страшные спазмы сминали и скручивали его; он уже решил, что вечность отныне и будет такой, когда рядом с той областью его тела, которой он слышал звуки и ощущал слабое красноватое мерцание, вдруг появился просвет, и он почувствовал, как вся вселенная с безжалостной силой выталкивает его туда.

Он никак не мог помешать или помочь происходящему; он просто чувствовал, что движется по какой-то мягкой упругой трубе, и, когда он изо всех сил захотел, чтобы это как можно быстрее кончилось, что-то пришло ему на помощь снаружи.

Страдание кончилось. Он чувствовал, что висит в пустоте и ничто больше не касается его рук и ног. Что-то осторожно подняло его в воздух, и он увидел вокруг себя ослепительные разноцветные пятна. Было очень холодно; открыв рот, он впустил в себя холодную пустоту, и сразу же в его уши ворвался резкий и тонкий звук; прошло довольно много времени, прежде чем он с изумлением понял, что издает его сам.

Вскоре он мирно лежал на какой-то твердой поверхности, защищенный от холода несколькими слоями тонких покровов. Время от времени он впускал в себя воздух и любовался сверкающими красками своего нового мира. Недавно пережитый страх успел исчезнуть без следа, и он почти ничего не боялся.

Когда вокруг наконец стало темно и тихо, он проснулся и понял, что его последний сон увел его от реальности слишком далеко — настолько далеко, что он чуть было не забыл о том, что же такое жизнь на самом деле. И это напугало его даже сильнее, чем только что прекратившийся кошмар. Он почувствовал, что может уснуть навсегда и решить, что снявшийся ему сон и есть явь; это было тем более легко, что все его сны были последовательными и как бы вырастали один из другого.

Но, рассмотрев эту мысль как следует, он успокоился и даже развеселился — ведь все, что он мог решить во сне, тоже было частью сна и не имело никакого отношения к его ненарушимому и вечному бытию. Разница между сновидением и реальностью была очень простой — просыпаясь и вспоминая, кто он, он испытывал ни с чем не сравнимую радость, а во

сне он осознавал не себя, а происходящее; при этом он забывал, что на самом деле с ним никогда и ничего не может случиться, и появлялся страх.

Его сны были прекрасным и увлекательным развлечением, тем более занимательным, что он даже забывал, кто, собственно, развлекается — он как бы переставал существовать, и вместо него на время возникало нечто непостижимо нелепое.

Он понял и причину, по которой ему снились сны, — это было просто выражение его безграничной власти над бытием.

Страдания и страха не существовало, но он создал фантомный мир, где они были главным, и изредка нырял в него, сам на время становясь фантомом и не оставляя себе никакой связи с реальностью; так он обнимал не только все сущее, но и то, чего на самом деле не существовало. Да и потом, бесконечное и ненарушимое счастье было бы довольно скучным, если бы он не мог вновь и вновь бросаться в него извне, каждый раз узнавая его заново. Ничто не могло сравниться по силе с радостью пробуждения, а чтобы испытывать ее чаще, надо было чаще засыпать.

Сон между тем развивался по своему собственному закону. В мельтешении световых пятен и звуков постепенно стали возникать закономерности; он научился различать причины и следствия, и вскоре поток бессмысленных раздражителей разделился на лица, голоса, небо и землю. Над ним часто склонялись двое, от которых исходила любовь и забота; они подолгу повторяли одни и те же звуки, и, складываясь из узнанных им слов, из хаоса выступил удивительный мир, населенный тенями, одной из которых был он сам.

Вскоре он сделал свои первые шаги по его поверхности и в совершенстве изучил волшебное искусство общения с тенями — для этого служили те же слова, из которых состоял мир.

Бодрствуя, он часто задавался вопросом, откуда берутся те, кто населяет иллюзорное пространство его снов. Они могут просто сниться ему. И еще они могут сниться кому-то другому — но кому? Однажды на пороге пробуждения у него даже возникла фантастическая мысль, что он в мире не один и существует еще кто-то, с кем он может встретиться только заснув, но проверить это никакой возможности не было — во сне он мог, например, посмотреть через плечо, нет ли кого-нибудь у него за спиной, но в том, что существует на самом деле, нет, конечно, ни возможности оглянуться, ни плеча, ни

спины, ни направлений, в которых можно было бы посмотреть.

Кроме того, все спутники, в обществе которых он наслаждался небытием, появлялись только тогда, когда их освещало его внимание, и не было никаких доказательств, что они существуют остальное время даже во сне. Конечно же, мысль о существовании других могла родиться только спросонья: бодрствующему сознанию было совершенно ясно, что понятие «другие» — такая же точно нелепица, как «пространство» и «время», и для их существования необходим фантазмагорический мир сна.

Была, правда, еще одна возможность: другие могли быть теми его снами, которых он не помнил; в таком случае статус их небытия несколько повышался. Но все это было не важно.

Короткие мгновения сна были насыщены событиями. Он уже успел узнать, как окружающие его тени объясняют причину его возникновения, и после очередного пробуждения отдал дань их inferнальному юмору. Одновременно тени объяснили, что ему рано или поздно придет конец — при этом они ссылались на свой опыт, что тоже было довольно забавно. Происходило и множество другого, но, проснувшись, он не особо об этом вспоминал.

Вскоре ему приснилось, что он стал совсем взрослым. Время к этому моменту успело настолько разогнаться, что вся его призрачная жизнь после рождения казалась намного короче тех бесчисленных и бесконечных снов, которые он видел в материнской утробе.

Размышляя о своих сновидениях, он пришел к выводу, что их истинная природа непознаваема — возможно, удивительная логика и стройность, которая была им свойственна, рождалась в его собственном сознании, безупречные зеркала которого образовывали калейдоскоп, способный создать симметричную картину из бесформенных осколков хаоса.

Но все же самым невообразимым атрибутом сна было имя, сочетание букв, которое выделяло его тень среди остальных. Просыпаясь, он любил размышлять над тем, что же именно обозначают эти слова — Иван Кублаханов. Получалось следующее.

Иван Кублаханов — просто мгновенная форма, которую принимает безымянное сознание, но сама форма ничего об этом не знает. А ее жизнь, как и у остального сонма теней, —

почти чистое страдание. Разумеется, это страдание ненастоящее и мимолетное, но таков же и сам Иван Кублаханов, ничего не знающий о своей иллюзорности — потому что знать некому.

Это был парадокс, неразрешимый и непреодолимый. По природе Иван Кублаханов — просто страдание, сложенное из атомов счастья, смерть, сложенная из атомов бессмертия; он не понимает, что он просто сон, не особо даже интересный, и часто ропщет на судьбу, чистосердечно считая, что у него есть судьба. Он подобен отсеку корабля, затопленному водой и изолированному от всех остальных отсеков. Кораблю это безразлично, да и никакого отсека отдельно от корабля, если вдуматься, не существует, но тот, кто плывет на корабле, забывает про это, стоит ему только войти в затопленный отсек: там он начинает воображать себя утопленником по фамилии Кублаханов и приходит в себя только выбираясь наружу — получалось, что все проведенные в затопленном отсеке секунды складываются в жизнь эфемерного существа.

Хоть Иван Кублаханов — всего лишь рябь сознания, но когда эта рябь возникает, она страстно хочет жить, искренне веря, что она есть на самом деле, и даже считая сознание, по поверхностности которого она проходит, одним из своих атрибутов.

Сон мчался вперед, и было ясно, что с его концом придет конец и Ивану Кублаханову. Ему никак нельзя было помочь. Для него не существовало пробуждения, потому что сном, от которого требовалось проснуться, был он сам. Пробуждение означало бесследное исчезновение Ивана Кублаханова, который больше всего в своей странной жизни боялся исчезнуть, хотя в нем не было ничего такого, что могло исчезать.

Но во сне было много красивого. Например, закаты так называемого солнца — иногда наблюдавший их Иван Кублаханов на время переставал думать о себе, и тогда оставалось только то, что он видел; эти моменты его жизни были ближе всего к реальности, меньше всего похожи на сон — тот, кому он снился, видел сквозь его глаза красные полосы над горизонтом, и никакого Кублаханова, переполненного смесью страдания и надежды, в это время не существовало. Был только закат и тот, кто смотрел на него, а Иван Кублаханов становился прозрачной призмой, расщепляющей реальность на краски удивительной красоты.

И вот однажды эта призма прекратила свое существование. Сон про Ивана Кублаханова перестал сниться — он по-

дошел к своему естественному концу, за которым началось нечто новое, такое же странное и захватывающее, как первые мгновения после рождения. Переход был очень похож на роды — опять пришлось перемещаться по какому-то тоннелю, опять снаружи пришла безымянная помощь, опять были яркие вспышки света, и опять невыносимая мука сменилась сначала покоем, а потом — радостью пробуждения. Начался новый сон, героем которого был уже кто-то другой, и память об Иване Кублаханове стала постепенно исчезать.

И все же тот, кому когда-то снился Иван Кублаханов, испытывал странную жалость к этому никогда на самом деле не существовавшему комку надежды и страха, верившему, что он будет жить вечно, но не понимавшему, что это значит. Ведь больше всего Иван Кублаханов боялся именно исчезновения, а оно и было главным условием вечности.

Хотя, если вдуматься, даже этот страх был лишен всяких оснований — ведь и раньше каждую ночь Иван Кублаханов полностью исчезал, а пробуждение того, кем он был на самом деле, представлялось ему чем-то вроде бездонной черной ямы, через которую он прыгает в свое новое солнечное утро.

## СССР Тайшоу Чжуань (китайская народная сказка)

Как известно, наша Вселенная находится в чайнике некоего Люй Дунбиня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньяни. Но вот что интересно: Чаньяни уже несколько столетий как нет, Люй Дунбинь уже давно не сидит на тамошнем базаре, и его чайник давным-давно переплавлен или сплюснулся в лепешку под землей. Этому странному несоответствию — тому, что Вселенная еще существует, а ее вместилище уже погребено — можно, на мой взгляд, предложить только одно разумное объяснение: еще когда Люй Дунбинь дремал за своим прилавком на базаре, в его чайнике шли раскопки развалин бывшей Чаньяни, зарастала травой его собственная могила, люди запускали в космос ракеты, выигрывали и проигрывали войны, строили телескопы и танкостроительные...

Стоп... Отсюда и начнем. Чжана Седьмого в детстве звали Красной Звездочкой. А потом он вырос и пошел работать в коммуну.

У крестьянина ведь какая жизнь? Известно какая. Вот и Чжан — приуныл и запил без удержу. Так, что даже потерял счет времени. Напившись с утра, он прятался в пустой рисовой амбар на своем дворе, чтобы не заметил председатель, Фу Юйши, по прозвищу Медный Энгельс. (Так его звали за большую политическую грамотность и физическую силу.) А прятался Чжан потому, что Медный Энгельс часто обвинял пьяных в каких-то непонятных вещах — в конформизме, перерождении — и заставлял их работать бесплатно. Спорить с ним боялись, потому что это он называл контрреволюционным выступлением и саботажем, а контрреволюционных саботажников положено было отправлять в город.

В то утро, как обычно, Чжан и остальные валялись пья-



ные по своим амбарам, а Медный Энгельс ездил на ослике по пустынным улицам, ища, кого бы послать на работу. Чжану было совсем худо, он лежал животом на земле, накрыв голову пустым мешком из-под риса. По его лицу ползло несколько муравьев, а один даже заполз в ухо, но Чжан не мог пошевелить рукой, чтобы раздавить их, — такое было похмелье. Вдруг издалека — от самого ямыня партии, где был репродуктор, — донеслись радиосигналы точного времени. Семь раз прогудел гонг, и тут...

Не то Чжану примерешилось, не то вправду к амбару подъехала длинная черная машина. Даже непонятно было, как она прошла в ворота. Из нее вышли два толстых чиновника в темных одеждах, с квадратными ушами и значками в виде красных флажков, а в глубине машины остался еще один, с золотой звездой на груди и усами как у креветки. Он обмахивался красной папкой. Первые двое взмахнули рукавами и вошли в амбар. Чжан откинул с головы мешок и, ничего не понимая, уставился на гостей.

Один из них приблизился к Чжану, три раза поцеловал его в губы и сказал:

— Мы прибыли из далекой земли СССР. Наш Сын Хлеба много слышал о ваших талантах и справедливости и вот приглашает вас к себе.

Чжан и не слышал никогда о такой стране. «Неужто, — подумал он, — Медный Энгельс на меня донос сделал, и это меня за саботаж забирают? Говорят, они при этом любят придуриваться...»

От страха Чжан аж вспотел.

— А вы сами-то кто? — спросил он.

— Мы — референты, — ответили незнакомцы, взяли Чжана за рубаху и штаны, кинули на заднее сиденье и сели по бокам. Чжан попробовал было вырваться, но так получил по ребрам, что сразу покорился. Шофер завел мотор, и машина тронулась.

Странная была поездка. Сначала вроде ехали по знакомой дороге, а потом вдруг свернули в лес и словно нырнули в какую-то яму. Машину трянуло, и Чжан зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что едет по широкому шоссе, по бокам которого стоят косые домики с антеннами, бродят коровы и

высятся плакаты с мясистыми лицами правителей древности и надписями, сделанными старинным головастиковым письмом. Все это как бы смыкалось над головой, и казалось, что дорога идет внутри огромной пустой трубы. «Как в стволе у пушки», — почему-то подумал Чжан.

Удивительно: всю жизнь он провел в своей деревне и даже не знал, что рядом есть такие места. Стало ясно, что они едут не в город, и Чжан успокоился.

Дорога оказалась долгой. Через пару часов Чжан стал клевать носом, а потом и вовсе заснул. Ему приснилось, что Медный Энгельс потерял партбилет и он, Чжан, назначен председателем коммуны вместо него и вот идет по безлюдной пыльной улице, ища, кого бы послать на работу. Подойдя к своему дому, он подумал: «А что, Чжан-то Седьмой небось лежит в амбаре пьяный... Дай-ка зайду посмотрю».

Вроде бы он помнил, что Чжан Седьмой — это он сам, и все равно пришла в голову такая мысль. Чжан очень этому удивился — даже во сне, — но решил, что раз его сделали председателем, то перед этим он, наверное, изучил искусство партийной бдительности, и это оно и есть.

Он дошел до амбара, приоткрыл дверь и видит: точно. Спит в углу, а на голове — мешок. «Ну подожди», — подумал Чжан, поднял с пола недопитую бутылку пива и вылил прямо на накрытый мешком затылок.

И тут вдруг над головой что-то загудело, завывало, застучало — Чжан замахал руками и проснулся.

Оказалось, это на крыше машины включили какую-то штуку, которая вертелась, мигала и выла. Теперь все машины и люди впереди стали уступать дорогу, а стражники с полосатыми жезлами — отдавать честь. Двое спутников Чжана даже покраснели от удовольствия.

Чжан опять задремал, а когда проснулся, было уже темно, машина стояла на красивой площади в незнакомом городе, и вокруг толпились люди; близко их, однако, не подпускал наряд стражников в черных шапках.

— Что же, надо бы к трудящимся выйти, — с улыбкой сказал Чжану один из спутников.

Чжан заметил, что чем дальше они отъезжали от его деревни, тем вежливее вели себя с ним эти двое.

— Где мы? — спросил Чжан.

— Это Пушкинская площадь города Москвы, — ответил

референт и показал на тяжелую металлическую фигуру, отчетливо видную в лучах прожекторов рядом с блестящим и рассыпающимся в воздухе столбом воды; над памятником и фонтаном неслись по небу горящие слова и цифры.

Чжан вылез из машины. Несколько прожекторов осветили толпу, и он увидел над головами огромные плакаты:

*«Привет товарищу Колбасному от трудящихся Москвы!»*

Еще над толпой мелькали его собственные портреты на шести. Чжан вдруг заметил, что без труда читает головастиковое письмо и даже не понимает, почему его назвали головастиковым, но не успел этому удивиться, потому что к нему сквозь милицейский кордон протиснулась небольшая группа людей: две женщины в красных, до асфальта, сарафанах, с жестяными полукругами на головах, и двое мужчин в военной форме с укороченными балалайками. Чжан понял, что это и есть трудящиеся. Они несли перед собой что-то темное, маленькое и круглое, похожее на переднее колесо от трактора «Шанхай». Один из референтов прошептал Чжану на ухо, что это так называемый хлеб-соль. Слушаясь его же указаний, Чжан бросил в рот кусочек хлеба и поцеловал одну из девушек в нарумяненную щеку, поцарапав лоб о жестяной кокошник.

Тут грянул оркестр милиции, игравший на странной формы цинах и юях, и площадь закричала:

— У-ррр-ааа!!!

Правда, некоторые кричали, что надо бить каких-то жинов, но Чжан не знал местных обычаев и на всякий случай не стал про это спрашивать.

— А кто такой товарищ Колбасный? — поинтересовался он, когда площадь осталась позади.

— Это вы теперь — товарищ Колбасный, — ответил референт.

— Почему это? — спросил Чжан.

— Так решил Сын Хлеба, — ответил референт. — В стране не хватает мяса, и наш повелитель полагает, что, если у его наместника будет такая фамилия, трудящиеся успокоятся.

— А что с прошлым наместником? — спросил Чжан.

— Прошлый наместник, — ответил референт, — похож был на свинью, его часто показывали по телевизору, и трудящиеся на время забывали, что мяса не хватает. Но потом Сын Хлеба узнал, что наместник скрывает, что ему давно отрубили голову, и пользуется услугами мага.

— А как же его тогда показывали по телевизору, если у него голова была отрублена? — спросил Чжан.

— Вот это и было самым обидным для трудящихся, — ответил референт и замолчал.

Чжан хотел было спросить, что было дальше и почему это референты все время называют людей трудящимися, но не решился — побоялся попасть впросак.

Скоро машина остановилась у большого кирпичного дома.

— Здесь вы будете жить, товарищ Колбасный, — сказал кто-то из референтов.

Чжана провели в квартиру, которая была убрана роскошно и дорого, но с первого взгляда вызвала у Чжана нехорошее чувство. Вроде бы и комнаты были просторные, и окна большие, и мебель красивая, но все это было каким-то ненастоящим, отдавало какой-то чертовщиной: хлопни, казалось, в ладоши посильнее, и все исчезнет.

Но тут референты сняли пиджаки, на столе появилась водка и мясные закуски, и через несколько минут Чжану сам черт стал не брат.

Референты засучили рукава, один из них взял гитару и заиграл, а другой запел приятным голосом:

Мы — дети Галактики,  
Но, самое главное, —  
Мы — дети твои, дорогая Земля!

Чжан не очень понял, чьи они дети, но они нравились ему все больше и больше. Они ловко жонглировали и кувыркались, а когда Чжан хлопал в ладоши, читали свободолюбивые стихи и пели красивые песни про то, как хорошо лежать ночью у костра и глядеть на звездное небо, про строгую мужскую дружбу и красоту молоденьких певичек. Еще была там одна песня про что-то непонятное, от чего у Чжана сжалось сердце.

Когда Чжан проснулся, было утро. Один из референтов тряс его за плечо. Чжану стало стыдно, когда он увидел, в каком виде спал, тем более что референты были свежими и умытыми.

— Прибыл Первый Заместитель! — сказал один из них.

Чжан увидел, что его латаная синяя куртка куда-то пропала; вместо нее на стуле висел серый пиджак с красным

флажком на лацкане. Он стал торопливо одеваться и как раз кончил завязывать галстук, когда в комнату ввели невысокого человека в благородных сединах.

— Товарищ Колбасный! — возвестил он. — Основа колеса — спицы; основа порядка в Поднебесной — кадры; надежность колеса зависит от пустоты между спицами, а кадры решают все. Сын Хлеба слышал о вас как о благородном и просвещенном муже и хочет пожаловать вам высокую должность.

— Смею ли мечтать о такой чести? — отозвался Чжан, с трудом сдерживая икоту.

Первый Заместитель пригласил его за собой. Они спустились вниз, сели в черную машину и поехали по улице, которая называлась Большая Бронная. И вот они оказались у дома вроде того, где Чжан провел ночь, только в несколько раз больше. Вокруг дома был большой парк.

Первый Заместитель пошел по узкой дорожке впереди; Чжан двинулся за ним, слушая, как спешащий сзади референт играет на маленькой флейте в форме авторучки.

Светила луна. По пруду плавали удивительной красоты черные лебеди, про которых Чжану сказали, что все они на самом деле заколдованные воины КГБ. За тополями и ивами прятались десантники, переодетые морской пехотой. В кустах залегла морская пехота, переодетая десантниками. А у самого входа в дом несколько старушек с лавки мужскими голосами велели им остановиться и лечь на землю, сложив руки на затылке.

Внутрь пустили только Первого Заместителя и Чжана. Они долго шли по каким-то коридорам и лестницам, на которых играли веселые нарядные дети, и наконец приблизились к высоким инкрустированным дверям, у которых на часах стояли два космонавта с огнеметами.

Чжан был перепуган и подавлен таким величием. Первый Заместитель открыл тяжелую дверь и сказал Чжану:

— Прошу.

Чжан услышал негромкую музыку и на цыпочках вошел внутрь. Он оказался в просторной светлой комнате, окна которой были распахнуты в небо, а в самом центре за белым роялем сидел Сын Хлеба, весь в хлебных колосьях и золотых звездах. Сразу было видно, что это человек необыкновенный. Рядом с ним стоял большой металлический шкаф, к которому он был присоединен несколькими шлангами; в шкафу что-то тихонько булькало. Сын Хлеба глядел на вошедших, но,

казалось, не видел их; влетающий в окна ветер шевелил его седые волосы.

На самом деле он, конечно, все видел — через минуту он убрал руки с рояля, милостиво улыбнулся и сказал:

— С целью укрепления...

Говорил он невнятно и как бы задыхаясь, и Чжан понял только, что будет теперь очень важным чиновником. Потом состоялся обед. Так вкусно Чжан никогда еще не ел. Сам Сын Хлеба не положил себе в рот ни кусочка. Вместо этого референты открыли в шкафу дверцу, бросили туда несколько лопат икры и вылили бутылку пшеничного вина. Чжан никогда бы не подумал, что такое бывает. После обеда они с Первым Заместителем поблагодарили правителя СССР и вышли.

Его отвезли домой, а вечером состоялся торжественный концерт, где Чжана усадили в самом первом ряду. Концерт был величественным зрелищем. Все номера удивляли количеством участников и слаженностью их действий. Особенно Чжану понравился детский патриотический танец «Мой тяжелый пулемет» и «Песня о триединой задаче» в исполнении Государственного хора. Вот только при исполнении этой песни на солиста навели зеленый прожектор, и лицо у него стало совсем труппным; но Чжан не знал всех местных обычаев. Поэтому он и не стал ни о чем спрашивать своих референтов.

Утром, проезжая по городу, Чжан увидел из окна машины длинные толпы народа. Референт объяснил, что все эти люди вышли проголосовать за Ивана Семеновича Колбасного — то есть за него, Чжана. А в свежей газете Чжан увидел свой портрет и биографию, где было сказано, что у него высшее образование и раньше он находился на дипломатической работе.

Вот так в восемнадцатом году правления под девизом «Эффективность и качество» Чжан Седьмой стал важным чиновником в СССР.

Потянулась новая жизнь. Дел у Чжана не было никаких, никто ни о чем его не спрашивал и ничего от него не хотел. Иногда только его призывали в один из московских дворцов, где он молча сидел в президиуме во время исполнения какой-нибудь песни или танца; сначала он очень смущался, что на него глядит столько народа, а потом подсмотрел, как ведут себя другие, и стал поступать так же — закрывать пол-лица ладонью и вдумчиво кивать в самых неожиданных местах.

Появились у него лихие дружки: народные артисты, ака-

демики и генеральные директора, умелые в боевых искусствах. Сам Чжан стал Победителем Социалистического Соревнования и Героем Социалистического Труда. С утра они всей компанией напивались и шли в Большой театр безобразничать с тамошними певичками и певцами — правда, если там гулял кто-нибудь более важный, чем Чжан, им приходилось поворачивать. Тогда они вваливались в какой-нибудь ресторан, и если простой народ или даже служилые люди видели на дверях табличку «Спецобслуживание», они сразу понимали, что там веселится Чжан со своей компанией, и обходили это место стороной.

Еще Чжан любил выезжать в Ботанический сад любоваться цветами; тогда, чтобы не мешали простолюдины, Сад оцепляли телохранители Чжана.

Трудящиеся очень уважали и боялись Чжана; они присылали ему тысячи писем, жалуясь на несправедливость и прося помочь в самых разных делах. Чжан иногда выдергивал из стопки какое-нибудь письмо наугад и помогал — из-за этого о нем шла добрая слава.

Что больше всего нравилось Чжану, так это не бесплатная кормежка и выпивка, не все его особняки и любовницы, а здешний народ, трудящиеся. Они были работающие и скромные, с пониманием; Чжан мог, например, давить их сколько хотел колесами своего огромного черного лимузина, и все, кому случалось быть при этом на улице, отворачивались, зная, что это не их дело, а для них главное — не опоздать на работу. А уж беззаветные были — прямо как муравьи. Чжан даже написал в главную газету статью: «С этим народом можно делать что угодно», и ее напечатали, чуть изменив заголовок: «С таким народом можно творить великие дела». Примерно это Чжан и хотел сказать.

Сын Хлеба очень любил Чжана. Часто вызывал его к себе и что-то бубнил, только Чжан не понимал ни слова. В шкафу что-то булькало и урчало, и Сын Хлеба с каждым днем выглядел все хуже. Чжану было очень его жаль, но помочь ему он никак не мог.

Однажды, когда Чжан отдыхал в своем подмосковном поместье, пришла весть о смерти Сына Хлеба. Чжан перепугался и подумал, что его теперь непременно схватят. Он хотел уже было удавиться, но слуги уговорили его повременить. И правда, ничего страшного не случилось. Наоборот, ему дали

еще одну должность: теперь он возглавил всю рыбную ловлю в стране. Несколько друзей Чжана арестовали, и установилось новое правление под девизом «Обновление истоков». В эти дни Чжан так перенервничал, что начисто забыл, откуда он родом, и сам стал верить, что находился раньше на дипломатической работе, а не пьянствовал дни и ночи напролет в маленькой глухой деревушке.

В восьмом году правления под девизом «Письма трудящихся» Чжан стал наместником Москвы. А в третьем году правления под девизом «Сияние истины» он женился, взяв за себя красавицу дочь несметно богатого академика; была она изящной, как куколка, прочла много книг и знала танцы и музыку. Вскоре она родила ему двух сыновей.

Шли годы, правитель сменял правителя, а Чжан все набирал силу. Постепенно вокруг него сплотилось много преданных чиновников и военных, и они стали тихонько поговаривать, что Чжану пора взять власть в свои руки. И вот однажды утром свершилось.

Теперь Чжан узнал тайну белого рояля. Главной обязанностью Сына Хлеба было сидеть за ним и наигрывать какую-нибудь несложную мелодию. Считалось, что при этом он задает исходную гармонию, в соответствии с которой строится все остальное управление страной. Правители, понял Чжан, различались между собой тем, какие мелодии они знали. Сам он хорошо помнил только «Собачий вальс» и большей частью наигрывал именно его. Однажды он попробовал сыграть «Лунную сонату», но несколько раз ошибся, и на следующий день на Крайнем Севере началось восстание племен, а на Юге произошло землетрясение, при котором, слава Богу, никто не погиб. Зато с восстанием пришлось повозиться: мятежники под черными знаменами с желтым кругом посередине пять дней сражались с ударной десантной дивизией «Братья Карамазовы», пока не были перебиты все до одного.

С тех пор Чжан не рисковал и играл только «Собачий вальс». Зато его он мог исполнять как угодно — с закрытыми глазами, спиной к роялю и даже лежа на нем животом. В секретном ящике под роялем он нашел сборник мелодий, составленный правителями древности. По вечерам он часто листал его. Он узнал, например, что в тот самый день, когда правитель Хрущев исполнял мелодию «Полет шмеля», над страной был сбит вражий самолет. Ноты многих мелодий были зама-



заны черной краской, и уже нельзя было узнать, что играли правители тех лет.

Теперь Чжан стал самым могущественным человеком в стране. Девизом своего правления он выбрал слова: «Великое умиротворение». Жена Чжана строила новые дворцы, сыновья росли, народ процветал, но сам Чжан часто бывал печален. Хоть и не существовало удовольствия, которого он бы не испытал, но и многие заботы подтачивали его сердце. Он стал сидеть и все хуже слышал левым ухом.

По вечерам Чжан переодевался интеллигентом и бродил по городу, слушая, что говорит народ. Во время своих прогулок стал он замечать, что, как ни плутай, все равно выходит на одни и те же улицы. У них были какие-то странные названия: Малая Бронная, Большая Бронная — эти, например, были в центре, а самая отдаленная улица, на которую однажды забрел Чжан, называлась Шарикоподшипниковская.

Где-то дальше, говорили, был Пулеметный бульвар, а еще дальше — Первый и Второй Гусеничные проезды. Но там Чжан никогда не бывал. Переодевшись, он или пил в ресторанах у Пушкинской площади, или заезжал на улицу Радио к своей любовнице и вез ее в тайные продовольственные лавки на Трупной площади. (Так она на самом деле называлась, но чтобы не пугать трудящихся, на всех вывесках вместо буквы «п» была буква «б».) Любовница, молоденькая балерина, радовалась при этом, как девочка, и у Чжана становилось полегче на душе, а через минуту они уже оказывались на Большой Бронной.

И вот с некоторых пор такая странная замкнутость окружающего мира стала настораживать Чжана. Нет, были, конечно, и другие улицы и вроде бы даже другие города и провинции — но Чжан, как давний член высшего руководства, отлично знал, что они существуют в основном в пустых промежутках между теми улицами, на которые он все время выходил во время своих прогулок, и как бы для отвода глаз.

А Чжан, хоть и правил страной уже одиннадцать лет, все-таки был человек честный, и очень ему странно было произносить речи про какие-то поля и просторы, когда он помнил, что и большинства улиц в Москве, можно считать, на самом деле нету.

Однажды днем он собрал руководство и сказал:

— Товарищи! Ведь мы все знаем, что у нас в Москве толь-

ко несколько улиц настоящих, а остальных почти не существует. А уж дальше, за Окружной дорогой, вообще непонятно что начинается. Зачем же тогда...

Не успел он договорить, как все вокруг закричали, вскочили с мест и сразу проголосовали за то, чтобы снять Чжана со всех постов. А как только это сделали, новый Сын Хлеба влез на стол и закричал:

— А ну, завязать ему рот и...

— Позвольте хоть проститься с женой и детьми! — взмолился Чжан.

Но его словно никто не слышал: связали по рукам и ногам, заткнули рот и бросили в машину.

Дальше все было как обычно — отвезли его в Китайский проезд, остановились прямо посреди дороги, открыли люк в асфальте и кинули туда вниз головой.

Чжан обо что-то ударился затылком и потерял сознание.

А когда открыл глаза — увидел, что лежит в своем амбаре на полу. Тут из-за стены дважды донесся далекий звук гонга, и женский голос сказал:

— Пекинское время — девять часов...

Чжан провел рукой по лбу, вскочил и, шатаясь, выбежал на улицу. А тут из-за угла как раз выехал на ослике Медный Энгельс. Чжан сдуру побежал, и Медный Энгельс со звонким цоканьем поскакал за ним мимо молчащих домов с опущенными ставнями и запертыми воротами; на деревенской площади он настиг Чжана, обвинил его в чжунгофобии и послал на сортировку грибов моэр.

Вернувшись через три года домой, Чжан первым делом пошел осматривать амбар. С одной стороны его стена упиралась в забор, за которым была огромная куча мусора, копившегося на этом месте, сколько Чжан себя помнил. По ней ползли большие рыжие муравьи.

Чжан взял лопату и стал копать. Несколько раз воткнул ее в кучу, и она ударила о железо. Оказалось, что под мусором — японский танк, оставшийся со времен войны. Стоял он в таком месте, что с одной стороны был заслонен амбаром, а с другой — забором, и был скрыт от взглядов, так что Чжан мог спокойно раскапывать его, не боясь, что кто-то увидит, тем более что все лежали по домам пьяные.

Когда Чжан открыл люк, ему в лицо пахнуло кислым запахом. Оказалось, что там большой муравейник. Еще в башне были останки танкиста.

Приглядевшись, Чжан стал кое-что узнавать. Возле казенника пушки на позеленевшей цепочке висела маленькая бронзовая фигурка-брелок. Рядом, под смотровой щелью, была лужица — туда во время дождей капала протекающая вода. Чжан узнал Пушкинскую площадь, памятник и фонтан. Мятая банка от американских консервов была рестораном «Макдональдс», а пробка от кока-колы — той самой рекламой, на которую Чжан подолгу, бывало, глядел, сжимая кулаки, из окна своего лимузина. Все это не так давно выбросили проезжавшие через деревню американские шпионы.

Мертвый танкист почему-то был не в шлеме, а в съехавшей на ухо пилотке; так вот, кокарда на этой пилотке очень напоминала купол кинотеатра «Мир». А на остатках щек у трупа были длинные бакенбарды, по которым ползало много муравьев с личинками, — глянув на них, Чжан узнал два бульвара, сходящих у Трупной площади. Узнал он и многие улицы: Большая Бронная — это была лобовая броня, а Малая Бронная — бортовая.

Из танка торчала ржавая антенна; Чжан догадался, что это Останкинская телебашня. Само Останкино было трупом стрелка-радиста. А водитель, видимо, спасся.

Взяв длинную палку, Чжан поковырял в муравьиной куче и отыскал матку — там, где в Москве проходила Мантулинская улица и куда никогда никого не пускали. Отыскал Чжан и Жуковку, где были самые важные дачи, — это была большая жучья нора, в которой копошились толстые муравьи длиной в три цуня каждый. А окружная дорога — это был круг, на котором вращалась башня.

Чжан подумал, вспомнил, как его вязали и бросали головой вниз в колодец, и в нем проснулась не то злоба, не то обида; в общем, развел он хлорку в двух ведрах да и вылил ее в люк.

Потом он захлопнул люк и забросал танк землей и мусором, как было. И скоро совсем позабыл обо всей этой истории. У крестьянина ведь какая жизнь? Известно.

Чтобы его не обвинили в том, будто он оруженосец японского милитаризма, Чжан никогда никому не рассказывал, что у него возле дома японский танк.

Мне же эту историю он поведал через много лет, в поезде, где мы случайно встретились. Она показалась мне правдивой, и я решил ее записать.

Пусть все это послужит уроком для тех, кто хочет вознестись к власти; ведь если вся наша Вселенная находится в чайнике Люй Дунбиня, что же такое тогда страна, где побывал Чжан! Провел там лишь миг, а показалось — прошла жизнь. Прошел путь от пленника до правителя, а оказалось — переполз из одной норки в другую. Чудеса, да и только. Недаром товарищ Ли Чжао из Хуачжоусского крайкома партии сказал: «Знатность, богатство, высокий чин, могущество и власть, способные сокрушить государство, в глазах мудрого мужа немногим отличны от муравьиной кучи».

По-моему, это так же верно, как и то, что Китай на севере доходит до Ледовитого океана, а на западе — до Франкобритании.

Со Лу-Тан

## ВСТРОЕННЫЙ НАПОМИНАТЕЛЬ

— Вибрационализм, — сказал Никсим Сколповский, обращаясь к нескольким пожилым женщинам, по виду — работницами фабрики «Буревестник», непонятно как оказавшимся на авангардной выставке, — это направление в искусстве, исходящее из того, что мы живем в колеблющемся мире и сами являемся совокупностью колебаний.

Женщины испуганно притихли. Никсим поправил непрозрачные очки с узкими прорезями и продолжил:

— Но простое отражение этой концепции в артефакте еще не приведет к появлению произведения вибрационалистического искусства. Чистая фиксация идей неминуемо отбросит нас на исхоженный пустырь концептуализма. С другой стороны, возможность вибрационалистической интерпретации любого художественного объекта приводит к тому, что границы вибрационализма оказываются размытыми и как бы несуществующими. Поэтому задача художника-вибрационалиста — проскочить между Сциллой концептуализма и Харибдой теоретизирования постфактум.

Женщины сделали по крохотному шажку друг к другу, и стало казаться, что их чуть меньше, чем на самом деле. Никсим вынул из нагрудного кармана расшитой серебряными вестниками робы маленький штангенциркуль, чуть раздвинул его губки и поглядел сквозь щель на тускло-розовый свет лампы смерти.

— Дифракция, — объяснил он женщинам, пряча инструмент. — Одно из явлений, лежащих в основе вибрационализма. И свет, и тень, и штангенциркуль являются колебаниями, но относятся к разным частотным областям. Дифракция — то есть огибание светом препятствий — с точки зрения чистого

вибрационализма равнозначна интерференции, как иногда называют наложение колебаний друг на друга. Вибрационализм разгромил догмы так называемой физики, по которым складываться могут только колебания одной частоты. Человек, например, — результат сложения самых грубых, медленных колебаний, дающих физическое тело (Никсим провел выкрашенным в красный цвет пальцем по своему животу), с более тонкими и быстрыми, составляющими то, что раньше называлось душой. Самые тонкие из доступных людям вибраций как раз и являются идеей вибрационализма, поэтому неудивительно, что он как направление человеческой мысли появился только сейчас и доступен немногим.

Женщины, и так не особо высокого роста, казались теперь гораздо ниже; какая-то горечь появилась в складках у их губ.

— Но что же является задачей вибрационалистического искусства? Какой художественный принцип должен лежать в его основе? Объясню. То, что человек — продукт наложения и взаимопроникновения вибраций самых различных частот, незаметно именно потому, что спектр этих колебаний крайне широк. Но если выделить две узких полосы вибраций, относящихся к разным частотным областям, и наложить из друг на друга, мы получим — как в случае со штангенциркулем и светом — необычайный результат. Полоска света между сведенными почти вплотную губками кажется гораздо шире, чем на самом деле. Но это физический эффект. А задачей вибрационализма является поиск подобных эстетических и магических эффектов путем экспериментального наложения друг на друга колебаний разных частот.

Женщины, до этого изредка оглядывавшиеся на входную дверь, теперь словно с чем-то смирились и уже не отрывали взгляда от стека-указки, которым Никсим похлопывал себя по ноге.

— Пример вибрационалистического произведения искусства — перед вами!

Никсим стремительно повернулся, задев тяжелой саблей какую-то картонную коробку с фиолетовыми кругами на гранях, и указал стеклом на стоящую у стены грубую человекоподобную фигуру, собранную из множества случайных предметов, стянутых тонкими проволочками, — все проволочки, сплетаясь, сходились к голове, где среди загадочных стеклянных шариков виднелся небольшой электромотор и узкий диск пилы.

— Это одноразовый вибрационалистический манекен с дистанционным ликвидатором и встроенным напоминателем о смерти. Здесь, в соответствии с принципами вибрационализма, соединена узкая полоса низкочастотных вибраций абсолютного — то есть металлический корпус, — и полоса вибрации той частоты, которая относится уже к идеальному миру — радиоуправляемая конечность бытия. Сама по себе конечность бытия является очень широким поддиапазоном смысловых вибраций, и, чтобы сузить ее до четкой линии, подобной по ширине полосе частот, составляющей каркас, она уменьшена до размеров управляемости по радио. Если вы вдумаетесь в это, то поймете всю глубину использованной символики. Кроме радиоуправляемого ликвидатора, манекен снабжен встроенным напоминателем о смерти — звончком, который включится одновременно с началом работы электропилы. Напоминание о приближающемся распаде тому, кто не в состоянии этого осознать, — то есть вибрационалистическому манекену — и является источником морально-эстетического эффекта.

Женщины были почти не видны, и об их существовании напоминала только тихая песня по радио. Звякая коньками о кафельный пол, Никсим подошел к одному из стоявших вдоль стены лиловых сундуков, вытащил из него маленький зеленый ящичек со сделанной из вилки антенной и нажал кнопку.

В голове у манекена зажужжало — завертелся диск пилы, и тонкие проволочки стали рваться одна за другой. Почти одновременно тонко и жалобно запел звонок, напомнив всем звук забытого в песках будильника, добросовестно сработавшего в срок, хоть хозяин его уже далеко и неизвестно, жив ли, а единственные безразличные слушатели — муравьиные львы да их маленькие коричневые клиенты. В зале повеяло тоской.

Все больше проволочек разрывалось под зубьями стального диска, и конечности манекена, мелко дрожа, ослабевали и подгибались. Вот отпала левая кисть, за ней — выполненное в виде ладони ухо; потом из сердечной сумки вывалился мешочек с сухими растениями, увлекая за собой сделанный из длинной цепи кишечник; покатались по полу гнилые дыни легких и, наконец, с октябрьским утренним грохотом рухнул тяжелый каркас. Звонок стих; умолк и мотор, на ось которого намоталось толстое проволочное веретено.

— Sic! — сказал Никсим, нагибаясь к полу, чтобы разглядеть своих слушательниц. — Встроенный напоминатель предупредил о надвигающейся смерти, но мог ли манекен услышать его звон? А если и мог, то понял ли он его значение? Над этим и предлагает задуматься вибрационализм.

На полу что-то мелко зашевелилось и пискнуло. Никсим вынул из-за пазухи кипарисовую метелку и замел все, что там оставалось, на маленький серебряный свечок. Затем поднялся, подошел к столу, взял валявшийся среди разбросанных манифестов пустой конверт и ссыпал туда то, что было на совке. Кинув конверт в сундук, он скрестил руки на груди и вздохнул. Ни одного интересного посетителя сегодня не было. К тому же с самого утра — а если точно, с девяти пятнадцати — ужасно болел дырявый коренной зуб, отчего противно звенело в голове и было совершенно невозможно думать о вибрационализме.



*За гладкими каменными лицами этих истуканов нередко скрываются лабиринты трещин и пустот, в которых селятся разного рода птицы.*

Джозеф Лэвендер,  
«Остров Пасхи»

## ЗИГМУНД В КАФЕ

На его памяти в Вене ни разу не было такой холодной зимы. Каждый раз, когда открывалась дверь и в кафе влетало облако холодного воздуха, он слегка ежился. Долгое время никто не появлялся, и Зигмунд успел впасть в легкую старческую дрему, но вот дверь снова хлопнула, и он поднял голову.

В кафе вошло двое новых посетителей — господин с бакенбардами и дама с высоким шиньоном.

Дама держала в руках длинный острый зонт.

Господин нес небольшую женскую сумочку, отороченную темным блестящим мехом, чуть влажным из-за растаявших снежинок.

Они остановились у вешалки и стали раздеваться — мужчина снял плащ, повесил его на крючок, а потом попытался нацепить шляпу на одну из длинных деревянных шишечек, торчавших из стены над вешалкой, но промахнулся, и шляпа, выскочив из его руки, упала на пол. Мужчина что-то пробормотал, поднял шляпу, повесил ее все-таки на шишечку и засуетился за спиной у дамы, помогая ей внять шубу. Освободясь от шубы, дама благосклонно улыбнулась, взяла у него сумочку, и вдруг на ее лице появилась расстроенная гримаса — замок на сумочке был раскрыт, и в нее набился снег. Дама укоризненно покачала шиньоном (мужчина виновато развел рукавами бархатного пиджака), вытряхнула снег на пол и защелкнула замок. Затем она повесила сумочку на плечо, поставила зонт в угол, отчего-то повернув его ручкой вниз, взяла своего кавалера под руку и пошла с ним в зал.

— Ага, — тихо сказал Зигмунд и покачал головой.

Между стеной и стойкой бара, недалеко от столика, к ко-

торому направились господин с бакенбардами и его спутница, был небольшой пустой закуток, где возились хозяйские дети — мальчик лет восьми в широком белом свитере, усеянном ромбами, и девочка чуть помладше, в темном платье и полосатых шерстяных рейтузах.

Недалеко от них на полу лежал полуспушенный резиновый мяч.

Вели себя дети на редкость тихо. Мальчик возился с горой больших кубиков с цветными рисунками на боках — он строил из них дом довольно странной формы, с просветом в передней стене; постройка все время рушилась, потому что просвет выходил слишком широким, и верхний кубик проваливался в щель между боковыми. Каждый раз, когда кубики рассыпались, мальчик некоторое время горестно ковырял в носу грязным пальцем, а потом начинал строительство заново. Девочка сидела напротив, прямо на полу, и без особого интереса следила за братом, возясь с горкой мелких монет, — она то раскладывала их по полу, то собирала в кучку и запиховала под себя. Вскоре ей наскучило это занятие, она оставила монеты в покое, наклонилась в сторону, схватила за ножки ближайший стул, подтянула его к себе и стала двигать им по полу, слегка подталкивая мяч его ножками. Один раз толчок вышел слишком сильным, мяч покатился в сторону мальчика, и его шаткое сооружение обрушилось на пол в тот самый момент, когда он собирался водрузить на его вершину последний кубик, на сторонах которого были изображены ветка с апельсинами и пожарная каланча. Мальчик поднял голову и погрозил сестре кулаком, в ответ на что она открыла рот и показала ему язык — она держала его высунутым так долго, что его можно было, наверное, рассмотреть во всех подробностях.

— Ага, — сказал Зигмунд и перевел взгляд на мужчину с бакенбардами и его даму.

Им уже подали закуски. Господин глотал устриц, уверенно раскрывая их раковины маленьким серебряным ножичком, и говорил что-то своей спутнице, которая улыбалась, кивала и отправляла в рот шампиньоны — она по одному цепляла из блюда двузубчатой вилкой и внимательно разглядывала, перед тем как обмакнуть в густой желтый соус. Затем господин, звякая горлышком бутылки о край стакана, налил себе белого вина, выпил его и пододвинул к себе тарелку с супом.

Подошел официант и поставил на стол блюдо с длинной жареной рыбой.

Поглядев на рыбу, дама вдруг хлопнула себя ладонью по лбу и стала что-то говорить своему кавалеру. Тот поднял на нее глаза, послушал ее некоторое время и недоверчиво скривился, затем выпил еще один стакан вина и стал аккуратно заправлять сигарету в конический красный мундштук, который он держал между мизинцем и безымянным пальцем.

— Ага! — сказал Зигмунд и устался в дальний угол зала, где стояли хозяйка заведения и кряжистый официант.

Там было темно — вернее, темней, чем в остальных углах: под потолком перегорела лампочка. Хозяйка глядела вверх, уперев в бока полные руки — из-за этой позы и фартука с разноцветными зигзагами она походила на античную амфору. Официант уже принес длинную стремянку, которая теперь стояла возле пустого стола. Хозяйка проверила, крепко ли стоит стремянка, задумчиво почесала голову и что-то сказала официанту. Тот повернулся и подошел к стойке бара, вернулся за нее, наклонился и некоторое время совсем не был виден. Через минуту он выпрямился и показал хозяйке какой-то вытянутый блестящий предмет. Хозяйка энергично кивнула, и официант вернулся к ней, держа найденный фонарик в поднятой руке. Он протянул его хозяйке, но та отрицательно помотала головой и показала пальцем на пол.

В полу возле пустого столика был большой квадратный люк. Он был почти незаметен из-за того, что его крышка была выложена паркетными ромбами, как и весь остальной пол, и догадаться о его существовании можно было только по двойному бордюру из тонкой меди, пересекавшему замысловатые паркетные узоры, и по утопленному в дереве медному кольцу.

Аккуратно подтянув брюки на коленях, официант сел на корточки, взялся за кольцо и одним сильным движением открыл люк. Хозяйка чуть поморщилась и переступила с ноги на ногу. Официант вопросительно поглядел на нее — она опять энергично кивнула, и он полез вниз. Видимо, под полом была короткая лестница, потому что он погружался в глубину черного квадрата короткими рывками, каждый из которых соответствовал невидимой ступени. Сначала он сам придерживал крышку, но когда он спустился достаточно глубоко, хозяйка пришла ему на помощь — наклонясь вперед, она

взялась за нее двумя руками и напряженно уставилась в темную дыру, где исчез ее напарник.

Через некоторое время белая куртка официанта, уже изрядно испачканная паутиной и пылью, снова возникла над поверхностью пола. Выбравшись наружу, он решительно закрыл люк и шагнул к стремянке, но хозяйка жестом остановила его и велела повернуться. Тщательно отряхнув его куртку, она взяла у него лампочку, подышала на ее стеклянную колбу и несколько раз нежно провела по ней ладонью. Шагнув к стремянке, она поставила ногу на ее нижнюю ступеньку, подождала, пока официант крепко ухватится за лестницу сбоку, и полезла вверх.

Перегоревшая лампочка располагалась внутри узкого стеклянного абажура, висевшего на длинном шнуре, так что лезть надо было не очень высоко. Поднявшись на пять или шесть ступенек, хозяйка просунула руку внутрь абажура и попыталась вывернуть лампочку, но та была ввинчена слишком прочно, и абажур стал поворачиваться вместе со шнуром. Тогда она зажала новую лампочку во рту, осторожно обхватив ее губами за цоколь, и подняла вторую руку, которой ухватила абажур за край; после этого дело пошло быстрее. Вывернув перегоревшую лампочку, она сунула ее в карман своего фартука и стала вворачивать новую.

Сильными руками сжимая лестницу, официант завороченно следил за движениями ее пухлых ладоней, время от времени проводя по пересохшим губам кончиком языка. Вдруг под матовым абажуром вспыхнул свет; официант вздрогнул, зажмурился и на секунду ослабил свою хватку. Половинки лестницы стали разъезжаться; хозяйка взмахнула руками и чуть не полетела на пол, но в самый последний момент официант успел удержать лестницу; с неправдоподобной быстротой преодолев три или четыре ступеньки, бледная от испуга хозяйка спрыгнула на паркет и обессиленно замерла в успокаивающем объятии напарника.

— Ага! Ага! — громко сказал Зигмунд и уставился на пару за столиком.

Дама с шиньоном успела перейти к десерту — в ее руке была продолговатая трубочка с кремом, которую она понемножку обкусывала с широкой стороны. Когда Зигмунд поднял на нее глаза, дама как раз собралась откусить порцию побольше — засунув трубку в рот, она сжала ее зубами, и гус-

той белый крем, прорвав тонкую золотистую корочку, выдавился из задней части пирожного. Господин с бакенбардами мгновенно среагировал, и вырвавшийся из пирожного кремовый протуберанец, вместо того чтобы шлепнуться на скатерть, упал в его собранную лодочкой ладонь. Дама расхохоталась. Господин поднес ладонь с кремовой горкой ко рту и в несколько приемов слизнул ее, вызвав у своей спутницы еще один приступ смеха — она даже не стала доедать пирожное и отбросила его на блюдо со скелетом рыбы. Слизав крем, господин поймал над столом руку дамы и с чувством ее поцеловал, а та подняла стоявший перед ним бокал с золотистым вином и отпила несколько маленьких глотков. После этого господин закурил новую сигарету — вставив ее в свой конический красный мундштук, он сделал несколько быстрых затяжек, а потом принялся пускать кольца.

Несомненно, он был большим мастером этого сложного искусства. Сначала он выпустил одно большое сизое кольцо с волнистой кромкой, а затем — кольцо поменьше, которое пролетело сквозь первое, совершенно его не задев. Помахав перед собой в воздухе, он уничтожил всю дымовую конструкцию и выпустил два новых кольца, на этот раз одинакового размера, которые повисли одно над другим, образовав почти правильную восьмерку.

Его спутница с интересом наблюдала за происходящим, машинально тыкая тонкой деревянной шпилькой в лежащую на тарелке голову рыбы.

Еще раз набрав полные легкие дыма, господин выпустил две тонкие длинные струи, одна из которых прошла сквозь верхнее, а другая сквозь нижнее кольцо, где они соприкоснулись и слились в мутный синеватый клуб. Дама заплодировала.

— Ага! — воскликнул Зигмунд, и господин, повернувшись, смерил его заинтересованным взглядом.

Зигмунд снова стал смотреть на детей. Видно, кто-то из них успел сбегать за новой порцией игрушек — теперь, кроме кубиков и мяча, вокруг них лежали растрепанные куклы и бесформенные куски разноцветного пластилина. Мальчик по-прежнему возился с кубиками, только теперь он строил из них не дом, а длинную невысокую стену, на которой через равные промежутки стояли оловянные солдатики с длинными красными плюмажами.

В стене было оставлено несколько проходов, каждый из которых сторожило по три солдата — один снаружи, двое внутри. Стена была полукруглой, а в центре отгороженного ею пространства на аккуратно устроенной подставке из четырех кубиков помещался мяч — он опирался только на кубики и не касался пола.

Девочка сидела к брату спиной и рассеянно покусывала за хвост чучело небольшой канарейки.

— Ага! — беспокойно крикнул Зигмунд. — Ага! Ага!

На этот раз на него покосился не только господин с бакенбардами (он и его спутница уже стояли у вешалки и одевались), но и хозяйка, которая длинной палкой поправляла шторы на окнах. Зигмунд перевел взгляд на хозяйку, а с хозяйки — на стену, где висело несколько картин: банальная марина с луной и маяком, пейзаж с сумрачной расщелиной между двух холмов, и еще одно огромное, непонятно как попавшее сюда авангардное полотно — вид сверху на два открытых рояля, в которых лежали мертвые Бунюэль и Сальвадор Дали, оба со странно длинными ушами.

— Ага! — изо всех сил закричал Зигмунд. — Ага! Ага!! Ага!!!

Теперь на него смотрели уже со всех сторон — и не только смотрели. С одной стороны к нему приближалась хозяйка с длинной палкой в руке, с другой — господин с бакенбардами, в руке у которого была шляпа. Лицо хозяйки было как всегда хмурым, а лицо господина, напротив, выражало живой интерес и умиление. Лица приближались и через несколько секунд заслонили собой почти весь обзор, так что Зигмунду стало немного не по себе и он на всякий случай сжался в пушистый комок.

— Какой у вас красивый попугай, — сказал хозяйке господин с бакенбардами. — А какие он еще слова знает?

— Много всяких, — ответила хозяйка. — Ну-ка, Зигмунд, скажи нам еще что-нибудь.

Она подняла руку и просунула кончик толстого пальца между прутьев.

— Зигмунд молодец, — кокетливо сказал Зигмунд, на всякий случай передвигаясь по жердочке в дальний угол клетки, — Зигмунд умница.

— Умница-то умница, — сказала хозяйка, — а вот клетку свою всю обгадил. Чистого места нет.

— Не будьте так строги к бедному животному. Это ведь его клетка, а не ваша, — приглаживая волосы, сказал господин с бакенбардами. — Ему в ней и жить.

В следующий момент он, видимо, ощутил неловкость от того, что беседует с какой-то вульгарной барменшей. Сделав каменное лицо и надев шляпу, он повернулся и пошел к дверям.

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ

Когда над головой захлопнулся люк и голоса оставшихся наверху людей стали глуше, Чарльз Дарвин осторожно пошел вниз по лестнице, держась одной рукой за отполированный множеством ладоней поручень, а другой сжимая подсвечник с толстой восковой свечой. Сойдя с последней скрипучей ступеньки, он отпустил поручень и осторожно пошел вперед.

Пол уже отмыли. Свеча давала достаточно света, чтобы разглядеть ободранные доски стены, липкую на вид бочку, несколько валяющихся на полу картофелин и длинные ряды одинаковых ящиков, которые уходили в постепенно сгущающийся мрак, — ящики стояли с обеих сторон прохода в несколько рядов и были прикреплены к стенам толстыми канатами. Через несколько шагов из тьмы выплыли несколько винных бочек и груда сложенных у стены мешков. Проход стал шире. Впереди, казалось, произошло какое-то движение. Дарвин вздрогнул и попятился назад, но сразу же понял, в чем дело: из темноты прилетал сквозняк, пламя свечи подрагивало, и вслед за ним колебались тени, отчего и казалось, что впереди что-то шевелится.

Когда ящики по бокам кончились, Дарвин оказался в довольно просторном помещении, углы которого были загромождены разным хламом — обрывками парусины, закопченными котлами и беспорядочно сваленными досками. Прямо перед его лицом слегка покачивался кусок каната. Дарвин поднял подсвечник и поглядел на потолок — в его грубые доски был ввинчен массивный крюк, к которому и был привязан обрывок. Осторожно обойдя канат, Дарвин сделал несколько шагов по покачивающемуся полу и остановился возле стоящих у стены стола и скамьи.



Вокруг пахло плесенью и мышами, но этот запах не был неприятен и скорее создавал подобие уюта. У стены стояли длинная палка и прикрытая плетеной крышкой корзина — они остались на тех же местах, где он оставил их вчера вечером. Откинув длинные полы сюртука, Дарвин присел на лавку, поставил свечу на стол и задумчиво уставился во тьму.

«Не в таком ли точно сумраке, — подумал он, оглядывая выступающие из темноты углы предметов и их тени, — блуждает человеческий разум? Не так ли точно и мы выхватываем из мрака неведения немногие доступные нашему рассудку соответствия, на которые потом и пытаемся опереться в своем понимании мира? Вот бочка, вот стоящий рядом ящик, но из того, что я сейчас их вижу, вовсе не следует, что такие же бочки и ящики будут стоять повсюду, куда я ни пойду... Только при чем тут ящики? Ящики тут ни при чем, и дело вовсе не в них, а в том, что Ламарк механически переносит на природу одну из функций человеческого сознания. Он говорит о некоем абстрактном движении жизни к самосовершенствованию. Но если бы оно действительно было главной причиной развития и изменения живого мира, как это утверждает Ламарк, то в равной мере совершенствовались бы все живые существа. Но ведь мы видим совсем иное! Один вид уступает место другому, а потом на его место приходит третий... Вчера мы установили, что именно условия, в которых существует жизнь, оказывают на нее определяющее влияние. Но каким образом? Почему один вид гибнет, а другой размножается? Что управляет этим величественным процессом? Какая сила заставляет жизнь приобретать новые формы? И как разглядеть гармонию в том, что на первый взгляд представляется полным хаосом?..»

Брежет в кармане тихо прозвенел несколько нот из увертюры к «Роберту-дьяволу», и Дарвин пришел в себя. Как всегда, мысли увели его далеко, так далеко, что, открыв глаза, он не сразу понял, где он находится и для чего он здесь оказался.

«За работу, — подумал он. — Начнем с того, на чем мы остановились вчера».

Встав, он шагнул к стене, взял палку, поднял ее над головой и три раза сильно ударил в потолок. Прошла секунда, и оттуда ответили три таких же удара. Тогда Дарвин ударил еще раз и поставил палку на место. Сняв сюртук, он аккуратно положил его на стол. На нем остался черный жилет из

толстой кожи, густо усеянной короткими стальными шипами. Ослабив шнуровку на груди, Дарвин отошел от стола и принялся махать руками и подпрыгивать на месте, чтобы как следует разогреть мышцы перед опытом. Но времени на гимнастику у него почти не осталось — из темноты донесся скрип открываемого люка, угрожающие голоса и глухое ворчание; на секунду в проход, из которого он недавно вышел, упал свет, но люк сразу же захлопнулся, и опять стало темно и тихо.

Прошло несколько минут, в течение которых Дарвин неподвижно стоял у стола и вслушивался. Наконец за пределами освещенного пространства раздалась скребущие звуки — там передвигали что-то тяжелое. Потом долетел скрип досок, послышалось нечто отдаленное похожее на смех, и из прохода прямо под ноги Дарвину быстро покатила бочка. Дарвин усмехнулся и шагнул в сторону. Бочка пронеслась мимо, врезалась в мешки с мукой и остановилась.

Опять наступила тишина. Вдруг твердый предмет ударил Дарвина в грудь и отскочил. Дарвин отпрыгнул в сторону и увидел упавшую на пол большую картофелину. Из-за ящиков вылетела другая картофелина и попала ему в плечо. Дарвин шагнул вперед, широко расставил ноги в тяжелых сапогах, нагнулся и громко свистнул. В проходе показалась неясная фигура — она взмахнула длинной рукой, и еще одна картофелина пролетела совсем рядом с его ухом. Дарвин поднял одну из картофелин с пола, прицелился и изо всех сил швырнул ее в самый центр размытого силуэта.

Из темноты донеслось обиженное верещание, перешедшее в тихие всхлипывающие звуки, и навстречу Дарвину двинулась огромная мохнатая тень. Угрожающе рыча, она шагнула вперед и замерла на краю освещенного пространства. Теперь она была полностью видна. Хоть это зрелище и было для Дарвина довольно привычным, он непроизвольно шагнул назад.

Перед ним, упершись длинными руками в пол, стоял старый орангутан. Его заостренная на макушке голова с выступающей вперед мордой напоминала голову уродливого ребенка, набившего в рот слишком много пищи; губы были морщинистыми и вздутыми, нос — плоским и темным, а совершенно человеческие глаза глядели презрительно и лениво. Выше пояса он напоминал огромного оплывшего завсегда эдинбургских пабов, любителя пива, снявшего рубаху из-за жары. На его почти безволосой груди выделялись мощные

складки, похожие на отвислые женские груди, — это сходство подчеркивали крупные темные соски, но Дарвин знал, что на стальных мышцах животного нет ни одной унции жира. Что-то женское было и в длинных рыжеватых косичках, в которые сплетались длинные пряди шерсти, росшие на боках мощного тела, в широких крепких бедрах и сильно выступающем вперед животе.

Орангутан оторвал от пола руки и слегка стукнул обоими кулаками в пол. Дарвин в ответ топнул ногой, еще раз свистнул и двинулся навстречу. Их глаза встретились, и Дарвин почувствовал, что обезьяна отлично все понимает. Он не знал, в каких образах ее примитивное восприятие отражает суть происходящего, но ощущал, что, как и он сам, она готова к последней схватке, к яростной и беспощадной битве за существование в этом жестоком мире. Дарвин понимал это по признакам, абсолютно ясным для его натренированного глаза.

Короткая шея самца вздрагивала, и покрывавшие ее глубокие складки то и дело растягивались — как всегда в момент высшего возбуждения, орангутан раздувал свой горловой мешок. Иногда он на секунду прикрывал веки, выпускал тихий звук, похожий на «о-о», и перебирал ногами — вес его тяжелого тела покоился на упертых в пол руках. Медленно приближаясь в орангутану, Дарвин глядел именно на руки, и, когда они оторвались от пола, он резко присел.

Огромная лапа пронеслась над его головой, но не поймала ничего, кроме пустоты. Дарвин был уже совсем рядом. Он резко выпрямился и, не дожидаясь, пока самец опять попытается схватить его, с выдохом толкнул его в грудь. Орангутан на секунду потерял равновесие, неловко взмахнул руками, и Дарвин коротким и точным ударом обрушил кулак на его плоский темный нос.

Орангутан грохнулся на пол, но сразу же вскочил.

— О-о, — промычал он.

Дарвин свистнул, и самец запрыгал вокруг него, избегая, однако, подходить слишком близко. Перемещался он опираясь на пол руками и закидывая далеко вбок короткие волосатые ноги. Дарвин с холодной улыбкой следил за ним, поворачиваясь вокруг своей оси так, чтобы все время стоять к орангутану лицом. Орангутан остановился, оторвал лапы от пола и сильно ударил себя по животу продолговатыми серыми кистями.

— О-о, — опять провыл он и развел руки в стороны.

Дарвин стремительно прыгнул ему на грудь, и они вместе повалились на пол. Пальцы Дарвина сжали морщинистое горло самца, а полусогнутые ноги цепко обхватили его выпирающий живот. Орангутан попытался вывернуться и несколько раз сильно дернулся под ним, но Дарвин удержался наверху и сжал пальцы еще сильнее. Некоторое время лапы самца беспорядочно и несильно хлопали его по бокам, а потом вдруг вцепились ему в бакенбарды — видимо, обезьяна тоже хотела схватить его за горло, но Дарвин предусмотрительно прижал подбородок к груди. Орангутан крепче вцепился в бакенбарды и потянул их на себя, почти прижав лицо Дарвина к своей морде.

Некоторое время человек и обезьяна лежали неподвижно, и тишину нарушало только их быстрое хриплое дыхание.

«В сущности, — думал Дарвин, морщась от зловонного запаха из звериной пасти, — природа едина. Это один огромный организм, в котором разные существа и виды выполняют функции разных органов или клеток. И то, что при поверхностном взгляде может показаться непримиримой борьбой за жизнь, по сути не что иное, как самообновление этого организма, процесс, подобный тому, который происходит в любом живом существе, когда старые клетки отмирают и как бы выталкиваются прочь новыми, возникающими на их месте... Что такое отдельное бытие с точки зрения вида? Что такое бытие вида с точки зрения всего живого? Мнимость...»

Два тела не шевелились, и одна пара глаз смотрела в другую. Два существования встретились, сплелись в подобии любовного объятия, и только одно из них могло победить, только одно должно было продолжиться дальше, а второе, как менее приспособленное и потому недостойное быть, должно было погибнуть и стать пищей мириадом других существ, больших, маленьких и совсем невидимых глазу, которым тоже предстояло вступить в смертельную борьбу за каждую частицу мертвой плоти.

«Итак, — набираясь сил для последнего усилия, думал Дарвин, — даже самая яростная борьба двух живых существ — просто взаимодействие двух атомов бытия, своеобразная химическая реакция. На самом деле мы едины, мы клетки одного бессмертного существа, непрерывно пожирающего самого себя, имя которому — Жизнь. Природа не различает индивидуу-у-у...»

Орангутан дернулся, выгнул спину, и два ненавидящих стона слились в один протяжный, исполненный страдания и любви к жизни рев. На несколько мгновений возникло как бы одно четырехрукое и четырехногое тело — уже нельзя было сказать, где чье туловище и конечности. Кисть вжалась в горло; пальцы рванули клочок волос; один содрогающийся торс вдавился в другой. Хрустнули ребра, заскрипели зубы, обнажились клыки. Запузырилась слюна, заклокотал воздух в горле, быстро застучали в пол пятки. Каждая клетка одеревеневших в напряжении мышц вступила в смертельный бой и стремилась отдать всю накопленную в ней силу, словно ощущая, что такое возможности может не представиться больше никогда. Поджались к паху могучие бедра, выпятился таз; заелозили друг вдоль друга икры; волосатое колено вдавилось в податливый живот; расширились ноздри, и вывалился наружу синий пупырчатый язык.

Две противоположные воли некоторое время дрожали в равновесии, но дело было уже решено — одна из них дрогнула, поддалась, отступила и рассыпалась под натиском другой; прошло несколько секунд, и два глаза из четырех, подернувшись дымкой безразличия, стали медленно стекленеть.

Дарвин вновь осознал себя, помотал головой, разжал пальцы на мохнатом горле и медленно поднялся на ноги. Все тело гудело; болел сорванный ноготь на правой руке, ныло ушибленное колено, но все это не шло ни в какое сравнение с чувством, которое поднималось из глубины сердца и постепенно осознавалось рассудком. Подрагивающей рукой Дарвин стряхнул с груди прилипший мусор.

«Надо всегда видеть торжество бытия за оскаленной личиной страдания и смерти, — подумал он. — В сущности, никакой смерти нет, а есть только родовые схватки, сопровождающие рождение обновленного и более совершенного мира. Вот тут Ламарк безусловно прав».

Он огляделся по сторонам. Все составные части окружающего хлама — ящики, мешки, валяющиеся на полу картофелины — приобрели какое-то новое качество; каждый предмет был омыт восторгом победы и целомудренно открывал теперь таившуюся в нем красоту, словно дева, снимающая с лица покрывало перед завоевавшим ее воином. Мир был прекрасен.

На негнущихся от недавнего напряжения ногах Дарвин медленно вернулся к столу, на котором горела свеча, и сел на

лавку. Некоторое время ему в голову не приходило никаких новых мыслей. Потом он поглядел на свой расцарапанный волосатый кулак и вспомнил о Ламарке.

«Но все же, — подумал он, — дело вовсе не в осознанном стремлении природы к совершенству. Мы видим, что происходит отбор и менее приспособленный уступает место тому, кто приспособлен лучше. Поэтому один вид и вытесняет другой, расселяясь в его ареале. Но возникает вопрос — что именно определяет степень приспособленности? Сила?»

Он еще раз осмотрел свой кулак. На тыльной стороне кисти была татуировка, изображавшая три схематичные короны и лежащую между ними раскрытую книгу, на страницах которой синели крупные слова «Dominus illuminatio mea». Между «Dominus» и «illuminatio» под кожей быстро пульсировала синеватая жилка.

«Нет, — подумал Дарвин. — Если бы это была просто физическая сила, тогда Землю населяли бы одни слоны и киты. Безусловно, дело в другом. Но в чем? В чем? Иногда я бываю так близко к разгадке...»

Обхватив руками могучий череп, он надолго ушел в раздумья. Огонек свечи на столе чуть подрагивал, трещал воск и пищали невидимые мышцы. Дарвин думал долго. Его величественная фигура была совсем неподвижной и походила на памятник.

Наконец он пошевелился, встал, взял стоящую у стены палку и четыре раза стукнул в потолок. Оттуда сразу же донеслось четыре ответных удара, и Дарвин стукнул в потолок еще один раз. Положив палку на место, он нагнулся к корзине, поднял плетеную крышку и вынул оттуда два зеленых банана. Сунув их в карманы широких черных штанов, он окончательно распусти стягивающую жилет тесемку, стянул его через голову и кинул на стол рядом с сюртуком.

Когда невидимый люк хлопнул и из прохода между ящиками донесся скрип досок под мягкими, но тяжелыми шагами, Дарвин уже был наготове. На этот раз никаких картофелин в него не полетело — новый гость вел себя без всякой суеты. Он шел не касаясь руками пола и двигался неторопливо и уверенно.

В пятне света появилась огромная горилла, равномерно покрытая короткой черной шерстью — только лицо и кисти были голыми, и поэтому она напоминала одетого в темное трико гиганта. Дарвин вдруг ощутил себя маленьким и сла-

бым — хоть его плечи были почти такой же ширины, он был на голову ниже.

«Итак, — подумал он, сглатывая слюну и крепко упираясь ногами в покачивающийся пол, — дело не в грубой силе. Но что же тогда определяет выбор природы? Быть может, приспособленность к условиям существования? Умение лучше использовать возможности среды?»

Он сделал шаг навстречу горилле. Ее небольшие глаза, глубоко вдавленные в череп, смотрели из-под надбровных дуг настороженно, но без страха, а нос походил на уродливый шрам; только уши, одно из которых Дарвин увидел, когда горилла повернула голову, чтобы посмотреть на труп своего предшественника, были совсем человеческими.

Вид мертвого тела подействовал на гориллу возбуждающе. Она тихо, совсем по-собачьи зарычала, обнажила огромные желтые клыки и перевела взгляд на Дарвина. Нельзя было медлить ни секунды.

Дарвин сделал два быстрых шага вперед, изо всех сил оттолкнулся от пола и в прыжке схватился за свивающийся с потолка канат. Подобно огромному маятнику, его тело качнулось вперед, и, когда до испуганно отшатнувшейся гориллы осталось не больше ярда, он молниеносно поджал ноги к животу и ударил ее обоими каблуками прямо в широкую бесстрастную морду — в последний момент обезьяна попыталась было заслониться, но не успела.

Удар был страшен. Горилла отшатнулась, потеряла равновесие и грузно повалилась на пол. Видимо, она была оглушена — после падения она осталась неподвижно лежать. Дарвин мягко прыгнул на пол и шагнул к ней.

«Так что же такое приспособленность? — подумал он. — Что определяет степень готовности существа к жизни в той или иной среде? Способность выжить? Но тогда получается замкнутый круг. Приспособленность определяет способность к выживанию, а способность к выживанию определяет приспособленность. Нет. Я потерял какое-то логическое звено...»

Он отвел ногу для удара, но в этот самый момент горилла открыла глаза, оттолкнулась от пола передними лапами, и ее челюсти сомкнулись на левом сапоге Дарвина. К счастью, тот успел отдернуть ногу, и зубы животного впились в каблук, перекусив толстую стальную подкову. Дарвин рванулся назад, и его нога выскочила из сапога. Горилла одним прыж-

ком оказалась на ногах и, работая руками и челюстями, за несколько секунд превратила оставшийся у нее сапог в бесформенный ком рваной кожи. Отбросив его в сторону, она шагнула к ученому, зарычала, протянула вперед лапы, и волнистая шерсть на ее голове встала дыбом.

«Так, — подумал Дарвин, — а может быть, дело в том, что законы природы, хотя и всеобщие, проявляются в жизнедеятельности каждого вида с разной интенсивностью? То есть происходит как бы взаимодействие разных паттернов, совокупность которых и определяет результат естественного отбора!»

— Р-р-р-р! — закричал он.

Горилла отпрыгнула на шаг.

Дарвин выхватил из кармана банан, покрутил его перед мордой гориллы и подкинул к потолку. Обезьяна задрала голову, вскинула руки вверх, пытаясь поймать банан, но в этот момент Дарвин с размаху ударил ее пяткой босой ноги в незащищенный живот. Горилла всхлипнула и согнулась, и тут же мощный хук справа швырнул ее обратно на пол — она упала на грудь, и Дарвин, не теряя времени, повалился ей на спину и обхватил ее горло рукой.

«Интеллект, — подумал он, смыкая стальной зажим сильнее и сильнее, — или даже то, что предшествует интеллекту, — вот фактор, который способен увеличить шансы менее приспособленного в физическом отношении вида в борьбе за существование...»

Но борьба за существование еще только начиналась. Оправившись от потрясения, вызванного падением на пол, горилла зарычала и попыталась перевернуться на спину. Дарвин широко раскинул ноги, чтобы увеличить площадь опоры, и удвоил усилия. В горле у гориллы что-то забулькало, а потом она завела свою огромную лапу назад — Дарвин увидел мелькнувшую у самого лица морщинистую кисть со средними пальцами, соединенными кожистой перепонкой, — и схватила его за косичку, в которую были сплетены волосы на затылке. У Дарвина в глазах потемнело от боли, и он ослабил свою хватку. Горилла сразу же воспользовалась этим и сильным рывком перевалилась на бок. Теперь Дарвину приходилось напрягать все свои силы, чтобы удержать ее на месте — стоило ей еще чуть-чуть повернуться, и он оказался бы совершенно беззащитным перед ее страшными зубами.

Дарвин застонал и почувствовал, что теряет сознание. Пе-



ред его глазами задрожала красноватая рябь, а потом он вдруг ясно, как на раскрашенной гравюре, увидел стоящее на высоком берегу реки трехэтажное здание, заросшее плющом почти до самой крыши, — дом в Шрусбери, где прошло его детство. Он увидел свою комнату, полную коробок с коллекциями раковин и птичьих яиц, а потом — самого себя, маленького, в узком неудобном сюртучке бредущего в час отлива по берегу моря, рассматривая вынесенных волнами моллюсков и рыб. Потом он ясно увидел вдохновенное лицо профессора Гранта, своего первого учителя, говорящего о личиночных формах пиявок и мшанок, а затем замелькали другие лица, виденные только на портретах, но странно живые — дедушки Эразма, умершего за семь лет до его рождения, Карла Линнея, Жана-Батиста Ламарка, Джона Стивенса (и сразу же вспомнилась подпись под рисунком редкого жука из его книги о британских насекомых — «пойман Ч. Дарвином»). И все эти лица с надеждой глядели на него, все они ждали, что он найдет в себе силы, победит и продолжит начатое ими дело, все они через тьму годов и миль посылали ему свою помощь и поддержку.

«У меня нет права на смерть, — подумал Дарвин, — я еще не знаю главного... Я не могу умереть сейчас».

Сверхчеловеческим усилием он напряг все мышцы своего большого тела, подвернул под себя сжавшую горло обезьяны руку и услышал тихий хруст шейных позвонков. Горилла сразу обмякла в его мощном объятии, но некоторое время Дарвин не мог разжать своего захвата и лежал на ней, восстанавливая дыхание.

«Да, — подумал он, — не только интеллект, но и воля. Воля к жизни. Все это надо спокойно обдумать».

Встав, он медленно подошел к столу, накинул на плечи сюртук и взял в руку подсвечник с догорающей свечей. Кроваоточила расцарапанная грудь, болела нога, ныла перенапряженная шея — но Дарвин был счастлив. Истина стала ближе еще на несколько шагов, и ее торжественный свет, еще не яркий, но уже явственно видный, осенял его душу. Дарвин перешагнул через мертвую гориллу, обошел непристойно раскинувшего ноги орангутана и пошел к выходу.

Когда ведущий на палубу люк распахнулся, Дарвина ослепил солнечный свет. Некоторое время он напряженно моргал, держась за перила, а потом несколько почтительных рук пришли ему на помощь и помогли подняться на палубу.

Дарвин прикрыл лицо ладонью. Когда глаза немного привыкли к свету, он разлепил веки и увидел безбрежную яркосинюю гладь океана, над которой висели белые галочки птиц. Вдали за невысокой стеной борта сквозь редкую сетку уходящих вверх снастей виднелся зеленый берег какого-то неизвестного острова — он то уходил чуть вниз, то поднимался вверх.

— Сэр Чарльз, вы в порядке? — раздался над ухом голос капитана.

— Не называйте меня «сэр», — пробормотал Дарвин. — Ради Бога.

— Поверьте, — торжественно сказал капитан, — и для меня, и для всей команды брига «Бигль» — огромная честь сопровождать вас в этом путешествии.

Дарвин слабо махнул рукой. Как бы подтверждая слова капитана, на носу грохнуло орудие, и над водой вытянулся длинный клуб белого дыма. Дарвин поднял глаза. Вдоль борта ровной шеренгой стояли матросы — здесь была почти вся команда. Десятки глаз влюбленно смотрели на него, и, когда помощник капитана, в парадном кителе стоявший перед строем, взмахнул палашом, над палубой и морем понеслось раскатистое «ура».

— Я же просил, — сказал Дарвин. — Мне, право, неловко.

— Вы гордость Британии, — сказал капитан. — Каждый из этих людей будет рассказывать о вас своим внукам.

Дарвин, смущенно и хмуро косясь на строй моряков, пошел по палубе. Рядом, стараясь не отставать, шел капитан, а следом спешил боцман в белых перчатках, держащий в руках ведро с замороженным шампанским. Влажный ветер, распахнувший полы сюртука, приятно охлаждал голую грудь Дарвина, и он чувствовал, что к нему быстро возвращаются силы.

— О чем вы сейчас думаете? — спросил капитан.

— Я думаю... О Боже, да скажите им, чтобы перестали вопить...

Капитан сделал знак рукой, и раскатистое «ура» стихло.

— Я думаю о своих исследованиях, — сухо сказал Дарвин.

— Сэр Чарльз, — сказал капитан, — поверьте, когда я представляю себе те высоты и бездны, где странствует ваша страшная мысль, мне становится не по себе. Я знаю, что ваши идеи могут оказаться недоступными простому офицеру Ее Величества, но все же я не считаю себя полным невеждой. В свое время я тоже учился в Оксфорде...

Капитан быстрым движением задрал рукав сюртука и показал Дарвину татуировку — три расплывшиеся синие короны и раскрытую между ними книгу со знакомой надписью. Взгляд Дарвина подобрел.

— Я учился в Кембридже, — сказал он, — но дело не в этом. Я думаю о существовании. Существовать — это ведь так прекрасно, не правда ли? Но только борьба способна сделать эту радость ощутимой. Беспощадная, жестокая борьба за право дышать этот воздух, смотреть на это море и этих чаек. Понимаете?

Он поднял глаза на капитана. Капитан вдумчиво кивал головой, как человек, который еще не понимает смысла долетающих до него слов, но старательно запоминает их, чтобы осознать их значение позже, много раз в одиночестве повторив их про себя. Их взгляды встретились, Дарвин поднял руку, чтобы положить ее собеседнику на плечо, и вдруг глаза капитана словно выцвели — восхищенное внимание в них сменилось почти физически ощутимым страхом. Дарвин грустно улыбнулся и опустил руку. В который уже раз он ощутил стену, отделившую его от остальных людей, светлых обитателей повседневности, среди которых так тяжело было жить, принадлежала вечности и истории.

Чтобы не смущать капитана, Дарвин перевел взгляд на длинные ряды стоящих на корме клеток. Из них на него без выражения глядели десятки огромных обезьян — некоторые держались лапами за прутья, некоторые по-турецки сидели на полу, иные вяло шевелились.

Сунув руку в карман, Дарвин нащупал что-то липко-мокрое и вытащил раздавленный в кашу банан, к которому прилипло несколько черно-рыжих шерстинок. Он швырнул банан за борт и повернулся к капитану.

— Часа через два запускайте новых, — сказал он, — я думаю, еще двух на сегодня хватит. А сейчас..

— Шампанского? — спросил справившийся с собой капитан.

— Благодарю, — сказал Дарвин, — благодарю, но мне надо поработать. И, если честно, у меня ужасно болит голова.

## БУБЕН НИЖНЕГО МИРА

Раз уж так вышло, что читатель — или читательница, что мне особенно приятно — набрел на этот небольшой рассказ, раз уж он решил на несколько минут довериться тексту и впустить в свою душу некое незнакомое изделие, мы просим его как следует запомнить словосочетание «Бубен Нижнего Мира» и попросить прощения за то, что ниже будут встречаться ссылки на словари и размышления о предметах, на первый взгляд не относящихся прямо к теме; все это получит свое объяснение. Да и потом, что значит — относящийся к теме, не относящийся к теме? Ведь связь, не видимая рассудком, может существовать на ассоциативном уровне, где происходят самые тонкие духовные процессы.

На память приходит случай, описанный в недавно изданных во Франции воспоминаниях доктора Чазова: как-то, прогуливаясь с ним по пустой Третьяковской галерее, Брежнев с испугом спросил, что это за мужчина в сером костюме, что так странно глядит на него сквозь предсмертный туман. Чазов осторожно ответил, что впереди зеркало. Брежнев некоторое время задумчиво молчал, а затем — видимо, под влиянием возникшей ассоциации — перевел разговор на ленинскую теорию отражения, которая, по словам генсека, любившего иногда приоткрывать своим приближенным мрачные тайны марксизма, была на самом деле секретной военной доктриной, посвященной одновременному ведению боевых действий на суше, на море и в воздухе. Мы видим, как странно преломляется в инфернальной коммунистической психике термин, не допускающий, казалось бы, никакой двоякости в своем толковании; удивительно также, что важная смысловая линия /зеркало/ неожиданно появляется в нашем рассказе в

связи с Брежневым, который не имеет к Бубну Нижнего Мира вообще никакого отношения.

Впрочем, мы слишком увлеклись примером, призванным всего лишь показать, что возникающие в нашем сознании смысловые связи часто неуловимы для нас самих, хоть все и лежит, если вдуматься, на поверхности. Вернемся к нашему Бубну Нижнего Мира. Полагаем, что после приведенного выше примера читатель не удивится, если перед разговором о собственно Бубне Нижнего Мира речь пойдет о лучах — тем более что причина такого скачка скоро станет ясна.

«Луч... 2. *мн. ч.* лучи, -ей. *Физ.* Направленный поток каких-л. частиц или энергии электромагнитных колебаний, а также линия, определяющая направление потока».

Таково одно из определений, даваемых четырехтомным словарем русского языка, выпущенным Академией наук СССР. Интересно, что даже в небольшом объеме процитированного текста намечено много смысловых ветвлений. Лучом может быть поток частиц, электромагнитные колебания и чистая абстракция: линия. В числе прочего из этого определения можно выудить и такую концепцию: лучи — это направленный поток энергии.

Складывается интересная ситуация. Дав определение одному слову, мы оказываемся перед необходимостью определять составляющие первое определение термины. Подобно тому как свет, проходя сквозь прозрачный объект, имеющий специальную конфигурацию /призма/, расслаивается и разделяется, заключенное в одном слове значение оказывается размазанным в нескольких словах, и для выделения интересующего нас смыслового спектра оказывается необходимой обратная операция, эквивалентная действию, которое оказал бы на расщепленный свет другой оптический объект /обратная призма/. Попробуем все же разобраться с употребленными в определении выражениями.

Что такое энергия? Упомянувшийся выше словарь предлагает такое объяснение: «Энергия — способность какого-л. тела, вещества и т. п. производить какую-л. работу или быть источником той силы, которая может производить работу». Приводится пример: «Он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтоб получить дешевый бурый уголь. *Шишков, Угрюм-река*».

Надо сказать, что мы носимся с несколько иной мыслью.

Нас посещают самые разные идеи; позднее мы поделимся некоторыми из них. А пока вернемся к обсуждению понятия «энергия», от которого нас отвлекла наша глупая привычка говорить сразу обо всем на свете. Легко видеть, что под приведенное определение подпадает самый широкий круг феноменов; присутствие сокращения «и т. п.» показывает, что энергией могут обладать не только тела и вещества, но и все способное воздействовать, в том числе события, совпадения, идеи, искусство — стоит ли продолжать этот перечень? А сама энергия и есть способность воздействовать, измеряемая, когда воздействие произведено.

Мы уже почти приблизились к Бубну Нижнего Мира и просим еще немного терпения у читателя, уже, вероятно, до смерти уставшего от нашей болтовни.

Устать до смерти... Как все же странна наша идиоматика — бытовое состояние переплетено в ней с самым страшным, что ждет человека. Как примирить наш дух с неизбежностью смерти? Этим вопросом традиционно озабочены лучшие умы человечества, что легко подтвердить хотя бы фактом нашего обращения к данной теме. Еще раз раскроем цитированный словарь:

«Смерть... 2. Прекращение существования человека, животного».

Первого определения мы не приводим, потому что там встречается одно пугающее нас слово /гибель/. Как заметил албанский юморист Гайдур Джемалия, даже существо, победившее смерть, оказывается совершенно беззащитным перед гибелью. Здесь, кстати, возникает интересная проблема — откуда берется страх? Возникает ли он в наших душах? Или, наоборот, душа — всего лишь опосредствующее образование /своеобразный отражатель/, перенаправляющий объективно существующий в мире ужас, поворачиваясь к нему под таким углом, что его адское мерцание, отразившись от чего-то в нашем сознании, проникает в самые глубокие слои психики? Как знать. Особенно угнетает то, что мы можем не распознать этих моментов и понести в себе незаметные, но незаживающие и смертельные раны; бывает ведь так, что вдруг портится настроение и человека охватывает депрессия, хотя поводов к тому, казалось бы, никаких; так же и со смертью, наступающей изнутри.

Да, смерть — это прекращение существования человека. Но вот вопрос: где проходит реальная граница между жизнью и

смертью? В какой временной точке ее искать? Тогда ли, когда в бессознательном теле останавливается сердце? Тогда ли, когда исчезает сознание? Ведь личности после этого уже не существует. Тогда ли, когда, пропитываясь окружающим нас ядом, трансформируется душа и на месте одного человека постепенно вызревает другой? Ведь при этом исчезает прежняя личность. Тогда ли, когда ребенок становится юношей? Юноша — взрослым? Взрослый — стариком? Старик — трупом? Не является ли слово «смерть» обозначением того, что непрерывно происходит с нами в жизни? Не является ли жизнь умиранием, а смерть — его концом? И вот еще: нельзя ли сказать, что событие, в сущности, происходит тогда, когда становится необратимым?

В свое время по всем этим поводам великолепно высказался Мишель де Монтень; высокая энергия мысли и изящество удивительным образом переплетаются в его словах.

/«...Если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже».

«Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы».

«Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец»./

Впрочем, отсылаем интересующихся этим и подобными вопросами к первоисточнику, где на каждой странице встречается тот же способ компоновки идей /прозрачная диалектическая спираль/, что и в процитированных отрывках. Вернемся наконец к нашему Бубну Нижнего Мира — но перед этим сделаем еще одно, последнее, отступление.

Допустим, кому-то в голову придет создать лучи смерти. Из предыдущего анализа видно, что для этого надо построить аппарат, направленно посылающий ведущее к смерти влияние. Традиционный путь — технический. При этом придется долго возиться с паяльником и перебирать разные детальки, одна из которых /глядящая в душу дырочка ствола/ вообще не выпускается. Этот путь не для нас.

Но не подойти ли к задаче по-другому? Почему излучение должно обязательно исходить от тривиального электроприбора? Ведь информация — тоже способ направленной передачи

различных воздействий. Нельзя ли создать ментальный лазер смерти, выполненный в виде небольшого рассказа? Такой рассказ должен обладать некоторыми свойствами оптической системы, узлы которой удобно выполнить с помощью их простого описания, оставив подсознательную визуализацию и сборку читателю. Рассказ должен обращаться не к сознанию, которое может его вообще не понять, а к той части бессознательного, которая подвержена прямой суггестии и воспринимает слова вроде «визуализация» и «сборка» в качестве команд. Именно там и будет собран излучатель, ментальная оптика которого для большей надежности должна быть отделена от остальных психоформ наклонными скобками.

В качестве рабочего тела для этого виртуального прибора удобно воспользоваться чьими-нибудь глубокими и эмоциональными мыслями по поводу смерти. Ментальный лазер может работать на Сологубе, Достоевском, молодом Евтушенко и Марке Аврелии; подходит также «Исповедь» Толстого и некоторые места из «Опытов» Монтеня. Очень важным является название этого устройства, потому что психическая энергия, на которой он работает, будет поступать из осознающей части психики через название, которое должно надежно закрепиться в памяти. На наш взгляд, словосочетание «Бубен Нижнего Мира» годится в самый раз — есть в нем что-то таинственное; да и потом, его почти невозможно забыть.

И последнее. Проницательный читатель без труда угадает, когда именно включится собранный в его подсознании ментальный самоликвидатор.

Менее проницательному подскажем, что это произойдет в тот момент, когда он где-нибудь наткнется на слова «луч смерти сфокусирован», забранные в кавычки.

Впрочем, в течение некоторого времени действие лучей смерти обратимо. Лицам, интересующимся тем, как демонтировать Бубен Нижнего Мира, предлагаем перевести одну тысячу долларов (можно в рублях по биржевому курсу на день перевода) на счет АО «Бубнимир-финанс» и указать свой адрес.

Принимающим все это за шутку мы рекомендуем поставить простой опыт: засечь по часам время и попробовать не думать о Бубне Нижнего Мира ровно шестьдесят секунд.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Омон Ра. Роман</b> .....	5
<b>Бубен Нижнего Мира. Рассказы</b> .....	111
Хрустальный мир .....	113
Спи .....	135
Онтология детства .....	152
День бульдозериста .....	162
Ухряб .....	188
Музыка со столба .....	199
Вести из Непала .....	213
Миттельшпиль .....	231
Откровение Крегера .....	258
Оружие возмездия .....	265
Реконструктор .....	276
Водонапорная башня .....	283
Мардонги .....	292
Девятый сон Веры Павловны .....	297
Иван Кублаханов .....	317
СССР Тайшоу Чжуань .....	326
Встроенный напоминатель .....	339
Зигмунд в кафе .....	343
Происхождение видов .....	350
Бубен Нижнего Мира .....	362

**Виктор Олегович  
ПЕЛЕВИН**  
**СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ**  
**Т О М 1**

*Редактор В. Орлов*  
*Художественный редактор И. Марев*  
*Технический редактор Г. Шитоева*  
*Корректор В. Плотицкое*  
*Оператор верстки В. Гаркуша*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.  
Подписано в печать 15.04.96 г. Уч.-изд. л. 20,78. Цена 20 100 р.

Издательский центр «ТЕРРА».  
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Scan Kreyder - 21.08.2018 - STERLITAMAK

